

ПАВЕЛ БЕЙЛИН

ЧУВСТВО ДОЛГА

(У ПОСТЕЛИ БОЛЬНОГО)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО УССР

КИЕВ 1949

«Чувство долга» (у постели больного) — это записки, очерки и рассказы врача о советских медицинских работниках, об их героических подвигах на фронтах Великой Отечественной войны, трудовых и творческих подвигах в послевоенные годы.

Автор, хирург-клиницист, известен читателю по книгам «Четыре операции», «Новеллы», «Человек живет однажды», (записки врача), «Записки полевого хирурга».

В настоящую книгу включен, помимо лучших из уже опубликованных произведений автора, ряд новых рассказов, очерков, записок.

В Вельке Бжестовице в годы войны я посетил одного местного врача. Он проживал на главной улице в особнячке с верандой.

Открыла дверь мне жена врача в длинном восточном халате и домашних туфлях.

— Вы к доктору? Прошу подождать, он завтракает.

Через минуту в дверях показался человек лет сорока пяти, гладко выбритый, с прилизанными редкими волосами. Краем салфетки, заправленной за воротник, он вытирал губы.

— Прошу! — доктор гостеприимно распахнул двери кабинета.

В кабинете пахло карболкой, ксероформом и еще какими-то аптечными снадобьями. Стоял белый стеклянный шкаф с инструментами, гинекологическое кресло; на письменном столе небрежно лежали видимо недавно сброшенные резиновые перчатки, несколько пестрых коробочек с патентованными средствами, книги.

— Чем могу служить?

Я объяснил причину прихода: в наш госпиталь обращается много больных и раненых из числа местного населения. Мы, как могли, помогали им. Теперь же, покидая город, мы просим его, врача этого города, принять на себя бремя лечения больных и раненых.

Он неопределенно ответил:

— В городе нет средств, которые необходимы для открытия стационара.

Жена озабоченно добавила:

— У мужа ночью был приступ грудной жабы...

Вечером я вновь посетил доктора. Мне понадобился анатомический атлас.

За столом мы разговорились. Доктор был со мной откровенен. Раздавливая сахар в стакане ложечкой, он говорил, улыбаясь:

— Больше больных — больше денег... Мы должны лечить больных. О, да! Это наш долг, но предупреждать заболевания мы не обязаны. Заболел человек, значит, так суждено. Нам не дано менять предначертания. Нельзя противиться воле божьей... Разве не случается, что человек в болезни находит свое физическое и моральное исцеление? Это своего рода чистилище. Как врачу, вам должно быть известно, что после болезни организм иногда обновляется. Я понимаю, вы возражаете: некоторые умирают. Ну, что ж! Покоримся судьбе. Слабое должно умереть. Будем откровенны: мы живы болезнями. Я обучался врачеванию только для того, чтобы жить, обеспечивать свою семью, своих детей. Смешно и неразумно подпиливать сук, на котором сидишь.

Я слушал доктора с широко открытыми глазами. Сначала цинизм доктора казался мне наигранным, до того это не вязалось с нашими взглядами и убеждениями и просто с честностью и человечностью. Но потом я понял, что таков его принцип, жизненное правило. Бже-стовицкого доктора кормят болезни. Мягкосердечие продается, это не потребность души, а предмет торговли. Я тебе — сочувствие и внимание, ты мне — деньги. Больше сочувствия — больше денег. Врач, таким образом, изображает сочувствие, но не сочувствует. Душа его мертва и опустошена.

Врач буржуазного общества, свидетельствует венский профессор Тандлер, «лавочник, мелкий предприниматель, который торгует здоровьем тех, кто к нему обращается за советом. По существу, в силу материальных интересов врач является противником здоровья своих больных». Вдумайтесь только в то, что сказал Тандлер: коренные интересы врача не совпадают с процветанием и благополучием общества. Крепкое здоровье пациента возбуждает в таком враче неутолимую тоску по... гонорару.

Врачей с такими взглядами я позднее встречал в Германии. Одни из них были более откровенны, дру-

гис — менее. Когда я, возмущаясь, горячо обрушивался на них, некоторые были искренне удивлены, они не понимали, как может быть иначе. Каждый хочет зарабатывать, это его право. Вас окружают не доброжелатели, а волки. В обществе человек человеку — волк. Зарабатывают люди друг на друге. Честно, если вы заработали, но что значит честно зарабатывать? Когда вы располагаете средствами, вы всегда правы. Наша профессия такова, что мы вынуждены зарабатывать на больных, на слабых. Они не умеют защищаться.

Две книги, вышедшие в свое время во Франции, обращают на себя особое внимание: это произведения Луи Фердинанда Селина и Генриеты Вале. Первый — врач, вторая — больная. Селин ненавидит больного, Вале ненавидит врачей. Селин говорит, что ему противны эти горбатые, хромые люди, дети с раздутыми животами от чрезмерного употребления картофеля, все эти искалеченные, пахнущие мочой и калом. А Вале о врачах говорит: они ведут свободную беседу над моей постелью о литературе, о театре, когда меня уродует судорога боли. Они не понимают моих страданий. Для них я — вещь, больничный инвентарь...

Одно время Селину было тяжело. Но это не склонило его к борьбе за преобразование общества. Напротив, он еще более возненавидел людей. Не строй общества, а его жертвы. Он дрался поэтому с жертвами, а не с тем, что вызвало эти жертвы. Он завидовал всем, кого мутная волна жизни выбросила на берег благополучия.

У врача в буржуазном обществе есть хозяин. Врач служил не больному, а хозяину. В Детройте на автомобильном заводе Форда работают врачи. По закону, если несчастный случай происходит по вине производства, Форд выплачивает пострадавшему за увечье определенную сумму. Поэтому Форда устраивают только те врачи, которые лучше других способны доказать, что в увечье повинен сам рабочий. Какие они бестактные, эти рабочие! Они преднамеренно становятся инвалидами, чтобы том самым материально обременить хозяина. Зачем рабочим руки и ноги? Им нужны деньги, доллары Форда! Врачи Форда поэтому позаботились о том, чтобы примерно 70% травм признавалось происшедшими по вине самих рабочих.

Юристы также служат Форду. За расположением

Форда следует доллар. Что из того, что на стороне рабочего правда? Правда без кошелька, ею не расплачиваются в магазинах.

Врач из Бжестовиц возмутился. Он сказал, обращаясь ко мне:

— Чем вы хвастаете? Где доказательства тому, что именно ваша медицина лучшая в мире? Разве Пастер не родился во Франции, Кох — в Германии, Листер — в Англии?

Я, конечно, не оспаривал достоверность того, что Пастер родился во Франции, а Листер — в Англии. Я напомнил только ему еще имена Павлова, Сеченова, Мечникова, Пирогова, Бехтерева. Потом уточнил: не хвастаем, а гордимся. Медицина, доктор, это — не Пастер. Медицина — это не только наука, медицина — это отношение врача к больному. Дело, следовательно, в том, как эта наука служит народу. У вас — торговля, купля и продажа. У нас — стремление помочь человеку. Я хочу вас спросить, доктор, гордится ли Селин своим соотечественником Пастером? И как выглядит наука Пастера, которая служит народу через душу Селина, этого «путешественника на край ночи»? О нем можно сказать словами известного афоризма: «после врача бойся смерти...»

В Нью-Йорке есть больницы для негров, в которых работают врачи — белые. Это не проявление национальной солидарности, дружбы народов. Негры здесь получают бесплатную медицинскую помощь. Но это также не доказательство того, что Форды гуманны. Негры здесь не платят за лечение врачам, но зато врачи платят за то, что они оперируют негров, хозяину больницы. Врачи, таким образом, практикуют на неграх, они совершенствуют здесь свою хирургическую технику, и негры для них лишь больничный материал, учебное пособие. Это ведь «низшая раса!...»

Материал! Вот именно, материал. То, что я однажды увидел сам своими глазами, нельзя забыть. В апреле 1945 года я был в Германии, в Бранденбурге. Я посетил глазное отделение немецкого госпиталя. Офицеры лежали на кроватях в своем обмундировании, видимо, их готовили к эвакуации. В кабинете мы застали начальника отделения, пожилого врача. У него была отталкивающая внешность: продолговатое лицо, длинный мяси-

стый нос, свисающий над верхней губой, торчащие в стороны уши и неподвижный взгляд маленьких стеклянных глаз.

Он был любезен, вел себя, как человек науки, врач. В перевязочной он не без профессионального увлечения демонстрировал раненых, которым успешно производилась пересадка роговицы.

На другой день пришлось арестовать этого начальника отделения. Явилась к нам санитарка-полька и рассказала, что он лично энуклеировал глаза у советских военнопленных, чтобы пересадить роговицу немцам.

Трупы трех советских военнопленных и одного английского мы нашли в подвале здания.

Человека превратили в сырье, материал. Человек — ничто, нужны его ткани, его кровь. Нужны его мышцы, его физическая сила. Одна цепочка взглядов связывает и «мирного» врача из захолустных Бжестовиц, и хозяйина негритянской больницы, и белых врачей этой больницы, и откровенного, убежденного арийского волка из Бранденбурга.

...Мы, советские люди, открыли новый мир, светлую страницу счастья. Мы пришли в этот мир не с другой планеты. Сизая пыль дорог покрывала наши ноги.

Мы начали сами строить свой дом. Сначала еще зияли оконные проемы. Вместо мебели возвышались груды строительных материалов. Сквозняки еще гуляли в незастекленных комнатах. Мы строили свой дом. Великий Зодчий руководил этим строительством. И в этом строящемся доме мы — не слуги, не лакеи, на цыпочках спущенные перед господами, а хозяева.

Мое поколение — поколение авралов, тревог, субботников, мобилизаций. Мы не пришли в новый просторный мир, кем-то построенный, мы пришли на пустырь, на строительную площадку, и строить начали сами. В строительстве этом формировались наши взгляды, наша идеология.

Мы верили в наше дело, все наше должно побеждать. Это не была слепая вера в победу, это была вера, от которой прозревали даже слепые.

Советский врач — дитя талантливого, одаренного народа. Ленин вышел из этого народа. Не Уатт первый, а русский механик Иван Ползунов изобрел и испытал

паровую машину. Не Фултон, а Калиба изобрел самоход, прообраз современного парохода. Не Маркони, но Попов открыл беспроволочный телеграф. Лобачевскому принадлежит открытие неевклидовой геометрии, Менделееву — открытие периодической системы химических элементов.

Одаренность народа не только в том, что он дерзал в науках. Честность и любовь к Родине — это также дарование. В беде, в несчастье они проявляются особенно ярко. И как не вспомнить рассказ профессора Лодера, участника Отечественной войны 1812 года. Он писал: «Многие достали изнурительную лихорадку, нервные припадки и были притом изнурены голодом, при суровости осенней погоды и т. д. И при всем том: никого не слышал я ропщущего или отчаявшегося в спасении Отечества».

Внуки и правнуки их первые открыли двери в светлый День Будущего.

Советский врач служит народу. К больному он идет только с одной мыслью — помочь. Он идет не торговать своими знаниями, а применять их. Его знания — инструмент жизни, а не наживы. Кто-то заметил: в буржуазном обществе врач, если он лечит нищего, он вор, если служит богатому — лакей. Эгоистическая буря конкуренции со всей силой разражается и у изголовья умирающего, больного, холодит его и без того гаснущее дыхание.

У нас нет ночи, на край которой путешествовал Селин. Когда Селин говорит о человеке, он зажимает нос руками. В Селине клокочет чувство омерзения. Он морщится и плюется. Селин «делает» деньги из болезней. Он не лечит, он зарабатывает. Писатель ли он? Но разве можно назвать писателем человека, который проповедует ненависть, злобу, преступления?

Медицинская помощь у нас бесплатна. Мы не зарабатываем на страданиях.

Гуманизм советского врача не похож на «гуманизм» врача буржуазного. Буржуазные врачи любят говорить: «перед смертью все равны: и царь, и чистильщик сапог. Мы не спрашиваем, кто ты — палач или труженик, мы хотим знать, есть ли хрипы в твоих легких».

Под плащом аполитичности эти врачи прячут свою сытенькую, алчную трусость: они хотят в равной мере

дружить с убийцей и жертвой, им безразлично, от кого получать гонорар.

Советский врач наделен упрямой непримиримостью к смерти, прекрасной неуступчивостью. Эта черта нашла яркое выражение в отношении к «безнадежным» больным. Не уступать! Бороться! Нет безнадежных больных! Скажут: подчас медицина бессильна. Есть два рода врачей: одни до последней минуты не бросают оружия, другие сразу же предпочитают сложить его. Медицина не бессильна, но есть врачи, бессильные в медицине.

Англичанина Эдуарда Карпентера я видел только на фотографии. Лицо у него, повидимому, желтое, пергаментное — кожа мумии, глаза глубоко сидят в глазницах и в сумерки кажутся слепыми. Он вообще против медицины. Он хочет, чтобы она была бессильной. Он восклицает: в смерти есть что-то священное, что безусловно достойно уважения. Он поэтому, против «непрощенного вмешательства врачей». Он возмущен: вместо того, чтобы оставить в покое несчастного, его до последней минуты мучают разными операциями, прививками и прочими выдумками.

Наш врач у постели больного не опускает глаз, подобно застенчивой девушке, не склоняет головы, подобно рабу. Священное — не в смерти, священное — в жизни. Мы не оставляем в покое больного, мы только тогда спокойны, когда боремся. Покой в борьбе, не в бездействии.

Гуманизму нельзя обучить, как ремеслу. Это — не квалификация, не специальность. Гуманизм, прежде всего, в нашей непримиримости к социальным несправедливостям. Гуманизм — в нашей революционности, в системе взглядов. Поэтому гуманизм у нас — это потребность души, это воздух, которым мы дышим. Когда мы добры к больному — это не одолжение и не оплаченная услуга, это наши взгляды на жизнь. Разве нужно учить сердце биться, а легкие дышать!

Советский врач — жизнелюб. Он ненавидит немощ. Ржавчина философа Карпентера не разъедает наши души. Эта чужестранка не привилась у нас и не потому, что ее не впускают: просто худосочное, уродливое растение гибнет на нашей почве.

Нигде еще не было такого единения врача и больного, как у нас. Это особенно проявилось в Отечественную войну.

Раненый глубоко уважал врача. После войны каждый из нас, врачей, хранит связки писем от тех, кого мы спасли. За скупыми, порой неловкими строками я всегда вижу улыбку танкиста, которого встретил на дороге под Столбцами: «Спасибо, доктор, воюю!» Я вижу Глуценко, не верившего в свое выздоровление: «Вы не дорожите своим временем... Все равно мне уже ничто не поможет». А одессит Каневский, который убеждал меня в том, что на передовой раны заживают быстрее, чем в госпитале? «Лучшее лекарство — вид убегающего немца».

Неправду говорят: на войне жизнь ни во что не ставится. Война — уничтожение жизни. И раз все на войне служит смерти, то и врачи черствеют, грубеют их сердца.

Неправда все это! Воюют два лагеря. Пушки, минометы, автоматы — все это убивает. Оружие слепо. И дело не в том, что оружием этим уничтожают людей. Главное, в чьих руках это оружие. Одни им утверждают жизнь, другие — смерть. В наших руках оружие жизни. Поэтому и врачи наши не бессильны и не жестоки.

На войне мы еще горячее и самоотверженнее дрались за жизнь. Мы доказали, что настоящие люди, люди вышедшие из народа, свободные от вольных предрассудков старого мира, не могут очерстветь.

Мы — молодое, новое формирование людей. Не каждого еще можно назвать вполне советским человеком. Мы не возникли из ничего. Суровый лед пережитков еще не растаял в наших душах, но он тает потому, что вокруг не морозная стужа человеконенавистничества, а солнечный свет ленинской идеи.

Не самохвальство и не самолюбование подсказывают нам: нет врачей благороднее и самоотверженнее советского врача.

На одной окраине села шел бой, на другой — в крестьянской избе хирурги оперировали комиссара. Фронт партизан протягивался от автомата к ножу хирурга. Выстрелы то приближались, то отдалялись. У самого порога хаты закипала борьба. Безопаснее было бы покинуть хату. Но раненому еще не все сделано. Пульс мягок и робок. Нужно перелить кровь. И хирург Дашков вскрывает себе вену. С помощью «воронки», сделанной из отломанного горлышка бутылки, комиссару

переливают кровь. Потом его укладывают на подводу и увозят в лес.

Ничего не добавишь к этому: врач и раненый скрепили свою дружбу кровью.

...Два мира — два полюса, два разных мировоззрения. На одном полюсе врач-продавец своих знаний, на другом — благородный друг общества.

I. ЗАПИСКИ ПОЛЕВОГО ХИРУРГА

1

Нас на дороге встретила девушка в военной форме.

— А я вас давно жду. Мне поручили проводить вас к начальнику госпиталя. Здесь недалеко.

— Вы работаете в этом госпитале? — спросил я.

— Умгу! — она сосала конфету. — Зовут меня Любой. Младшая операционная сестра.

Люба производила впечатление легкомысленной девушки.

— А вас назначили ведущим хирургом. — Потом она перчаткой показала в сторону моего спутника: — а вас фельдшером. Я все знаю. Я знаю об этом уже целый месяц.

Анатолий Гажала, мой спутник, рассмеялся.

— А мы об этом узнали только вчера.

Люба удивленно повела плечами.

— Странно!

— Мы тоже думаем, что странно, — иронический огонек вспыхнул в глазах Гажалы, — может быть, вы тогда скажете, в каком году я родился и какой цвет волос у моего дедушки со стороны матери?

— Честное слово! А вы не верите?

— Не верю, — убежденно и ласково сказал Гажала, — месяц тому назад в этой армии никто не предполагал даже о нашем существовании.

...Начальника в палатке не оказалось, он выехал на станцию Скуратово в полевой эвакуационный пункт. Нам навстречу из глубины палатки вышел коренастый, белесый человек, безбровый, с обветренным, красноватым лицом.

12

— Комиссар госпиталя, старший лейтенант Каршин. Мы также представились. Люба, наш проводник, тихо спросила:

— Можно итти?

Мне показалось, что она обратилась ко мне. Я ответил:

— Да, пожалуйста.

Люба щелкнула каблуками и вышла.

Каршин искоса посмотрел на меня и недовольная улыбка тронула уголок его рта.

— У вас гражданская манера разговаривать с сестрами.

Я ответил, не оспаривая его замечания:

— Такова уж специфика врачебных отношений.

— Как это понимать? На войне существует только одна специфика — военная.

— Это так, — объяснил я, — но все же, согласитесь, смешно выглядит сестра, которая с решительностью бравого сержанта повторяет приказ врача: «есть, сделать впрыскивание!». Так можно прийти к выводу, что и раненые должны не рассказывать, а рапортовать, например, о болях в животе или о плохом аппетите.

— Это ваше личное мнение. Надеюсь, вы не собираетесь его нам навязывать.

Я поторопился согласиться.

— Конечно!

Каршин присел на зеленый упаковочный ящик, постучал карандашом по ладони, прищурился.

— Я хотел бы, чтобы не было причин портить наши отношения. Крайности всегда смешно выглядят. Во всех военных учреждениях, каково бы ни было их назначение, должен быть воинский порядок. Впрочем, забудем об этом разговоре. Я очень рад вашему приезду.

Я вынул из планшетки предписание и передал комиссару. Каршин читал вслух, бегло, отрывками.

— Я был вчера в Управлении. Мне рассказывали о вас. Вы вышли из окружения?

— Да, под Ельцом.

— Вместе с фельдшером?

— Вместе. В числе целого партизанского подразделения.

Каршин положил предписание на стол, расправил ребром ладони складки на бумаге.

13

Потом поднял на нас прищуренные глаза и тихо, раздельно сказал:

— Наша армия в ближайшее время начинает наступление. Начальника госпиталя вызвали в Полевой эвакуационный пункт. Может быть, прикажут сегодня же развернуться. Позавтракайте, потом я познакомлю вас с людьми.

В десять часов возвратился начальник. Он сообщил, что уже вечером придут первые раненые.



...На опушке леса в землянках стоял полк противотанковой артиллерии. Ночью полк снялся и мы воспользовались его землянками. Для нас это была счастливая находка; села вокруг были сожжены, всюду торчали обгоревшие черные трубы. В каждой землянке можно разместить по шестнадцать раненых. Теперь оставалось отеплить землянки и оборудовать их.

Ко мне явилась операционная сестра Нина Павловна Савская и доложила, что место для размещения операционного блока уже найдено и что санитары приступили к работе.

Запахнувшись в кожаную и расправив на коленях валенки, мы покинули палатку.

Ветер поднимал снежную колючую пыль, низко, над самым лесом, проплывали быстрые, разорванные тучи.

Интендант Квасов, сухопарый и долговязый, спотыкаясь, бегал по лесу и кричал неизвестно кому:

— Куда едешь? Поворачивай налево! Где бочки?

С сестрой Савской мы подошли к площадке, где устанавливали палатки для операционного блока. Площадка была защищена со всех сторон стеной столетних елей. Толстый слой снега на ветках выглядел, как естественная белая их тень. Ели скрипели под ветром. Черные вороны камнями падали на землю, совсем близко подходили к человеку, голод и холод подавлял в них страх.

Сестры и санитары очищали от снега площадку. Обнажалась примерзшая земля с небольшими ямками, выкопанными льдом, — замерзшие с осени лужицы, из которых торчали веточки, еловые иглы, шишки, камешки. С большим трудом выкопали ямы для стояков, вбили в землю колья. Порывы ледяного колючего ветра рвали брезент и, казалось, это парус лодки, которая на-

половину погрузилась в снежную волну. Подобно белым медведям, облепленные снегом, копошились на площадке люди, отыскивали концы, кричали, подгоняли друг друга.

— Сестра Савская, берегите руки. Где ваши варежки?

— Ах, да, варежки! — вспомнила сестра. Она торопливо потянула варежки, прищурив заснеженные ресницы, и потянула конец веревки к колку на противоположную сторону площадки. Я пошел помочь ей, мы ухватились вместе за веревку. Брезент плохо поддавался нашим усилиям, — замерзший, он был твердым, как листовое железо. Стыли колени, болели щеки и лоб на морозе.

— У меня нет печек для палаток, — волновался озлобленный интендант.

— Печи? Ну, это очень просто, — ответил я.

Интендант Квасов возмущился.

— В Москве, где есть центральное отопление?

— Нет, почему же. И в лесу, если есть... вдохновение.

Напряженнее всех работал Гажала. Он собрал на пепелищах кирпичи, а потом из них сложили в палатках фундаменты для печей. Полы в палатках он предложил покрыть еловыми ветками. А печи мы сделали из бензиновых бочек, из кровельного железа, оставшегося после пожаров. Были эти печи длинные, дымучие, как паровозы. Когда стало тепло, девушки украсили как могли землянки и палатки занавесочками, ковриками, неизвестно как сохранными в сутолоке военных переходов.

К вечеру прибыли первые раненые. Сказать «прибыли» — ничего не сказать. «Автосанитарки» с бойцами застревали в пути в сугробах, их заметало снегом. Те, кто мог ходить, шли, поддерживая раненые руки, набычив головы, сопротивляясь ветру. Через каждые несколько шагов они останавливались, прячась за ствол сосны, чтобы передохнуть и защитить рану. Тех, кто не мог ходить, перекладывали из машин на сани. Лошади плелись медленно, низко опустив головы, будто вынюхивая дорогу. Но дорога была заметена снегом и ее угадывали лишь по высоким тонким палкам, на концах которых были привязаны пучки соломы. Лошади

проваливались часто по самое брюхо в сугробы, ломали оглобли, рвали упряжь.

Но вот, наконец, бойцы прибыли в госпиталь. Они приехали на «островок жизни», на теплый огонек в лесу. Огонек! Тепло! Как это много значит для бойца в такую холодину.

Теперь они лежат в «сортировке», их измученные лица сияют. Они скручивают «козьи ножки», дымят, плотным кольцом окружают железную печку. Они ни о чем не просят, ничего больше не хотят. Но сестры приносят водку и кипяток, хлеб с маслом и сахар. Раненые молча протягивают руки за едой, их глаза светятся благодарностью.

— Может, еще чайку? — щебечет Лида Червякова, наша повариха, живая, с задорно вздернутым носом.

— Наливай, девушка, наливай, голубка, — торопит раненый, приподнимаясь на локтях.

— Водочки бы подбавить, — улыбается моряк Сергей Павлов, лежащий с перевязанной головой в углу на носилках.

— С тобой, девушка, не пропадешь, — твердо выговаривая «о», замечает лейтенант, греющий над печкою руки.

Улыбаясь, Лида с увлечением кормит раненых. Вид у нее торжественный и праздничный. Казалось, она считает, что пироги и бутерброды — все это ее личные свойства и к продуктам отношения не имеют.

Я пришел к раненым, когда они уже согрелись, отдохнули. Кое-кто уже успел заснуть и мирно храпел, другие громко, с увлечением рассказывали о последнем бое, о немцах, о разведке, о новых минометах.

Пока сестры стерилизуют материал, отбирают инструменты, а Гажала «выписывает аптеку», я познакомлюсь с бойцами в «сортировке».

Раненый с перевязанной рукой в это время рассказывает:

— А как шел Сергей, товарищи! Ну, просто танк! Одно слово: моряк. Во весь рост идет, улыбается. Потом свет на него упал, а он даже не пригнулся. Дальше пробежал, споткнулся, видит, а это Николаев у него под ногами, мертвый. Тогда он сбросил с себя бушлат, в тельняшке одной остался, крикнул: «Ребята, бей нем-

цев! Эи мной, ребята!» Ну, тут мы все и бросились за ним.

Моряк Сергей Павлов приподнял кончиками пальцев край бинта, напозавший на глаза. Бросив усталый взгляд в сторону рассказчика, он сказал:

— Я кричу «за мною», а он вперед проскочил, обогнал меня, чорт...

— Что ж, раненого нетрудно было обогнать...

Павлов указал рукой на кучерявого парня, прислонившегося спиной к стояку.

— Вот пусть Антипенко расскажет, как он «языка» привел...

— Когда в разведку ходил?

— Точно.

— Тяжелый был, проклятуший, как слон! Я взял с собой две палочки, нож и гранату. Палочками раздвинул колючую проволоку, как распорку поставил, и пролез. А конструкция у меня, видите какая, незаметная. Ползу и вдруг проваливаюсь в ход сообщения. Не заметил его. Слышу, кто-то рассмеялся в блиндаже. Ну, думаю, попался, это они смеются, что заметили меня, дурак, мол, в ловушку попал. А это они в блиндаже в карты играли. — Антипенко перевел дыхание. — Не заметили меня, значит. Я тогда приободрился. Даже шапку на голове поправил, чтобы звездочкой наперед была. Оглянулся, вижу на краю хода сообщения немец сидит за нужным делом на корточках, спиной ко мне. Ну, значит, дело ясное. Я подкрался к нему потихонечку, стукнул по башке, рукавицей рот заткнул и поволок назад, в часть к себе. Так и доставил его по месту назначения без штанов. Подходящий был «язык», ответственный.

Антипенко помолчал с минуту, отбросил всей ладонью на затылок волосы и спросил:

— А кто знает, куда наши теперь продвинулись?

— Говорят, Молохово взяли, — сказал лейтенант, гревший руки над печкой.

Сержант Пайкидзе, раненый в руку и ногу, разъяснил:

— Немец в клетка сидит. Наша часть повернул ключ в замок.

...Червякова закончила раздавать пищу и вышла. Тогда я обошел ряды и назначил очередь в операционную.

Первым внесли Сергея Павлова, потом Антипенко, потом Пайкидзе...

Осматриваю руку Пайкидзе. Как поступить с ней? Второй и третий пальцы шевелятся, пульс на лучевой артерии прощупывается. Значит, кровообращение не нарушено. Но как разбиты кости! Лечение будет длительным — год, полтора. Но ведь это же правая рука!

Я вспомнил рассказ моего учителя: он получил строгий выговор от начальства в русско-японскую войну. «Вы обременяете государственную казну излишними расходами, — сказали ему, — если ампутировать руку солдату его можно выписать из госпиталя через шесть недель. Не сохраняйте солдатам конечности, если это связано с длительным лечением и тратой материалов».

Начинаю старательно «складывать» косточки, иссекаю омертвевшие ткани, раскрываю «карманы». Осматриваю сосудистые и нервные пучки, потом укладываю предплечье в лонгету, наглухо гипсую руку. Она будет спасена.

Мы знали каждого раненого по фамилии, знали их раны, их подвиги. Я знал, что моряк Сергей Павлов в разгар боя сбросил бушлат, чтобы наступать в тельняшке, а тельняшка — паспорт моряка. Я все знал о разведчике Антипенко, о сержанте Пайкидзе и о многих других.

2

В это время наша армия пыталась форсировать речку Зуша под Мценском. Бой разгорелся жестокий. Штурм продолжался восемь дней.

Мы не отходили от операционного стола: сестра Савская, фельдшер Гажала, старенький терапевт Бельский, ставший ассистентом хирурга, и я. Первые двое суток мы держались крепко, подбадривая друг друга. Бельский был человеком мягкой и чуткой души. Сестры приходили к нему всегда за советами. Он мог ответить на любой вопрос. Он знал, конечно лишь теоретически, как приспособиться в необжитой местности, корни какого растения можно есть, как определить местонахождение по звездам ночью. Кроме того, он имел репутацию изобретателя, хотя в изобретательском порыве иногда выдумывал вещи, использование которых осложняло дело.

Санитары приносили одних раненых и уносили других. Ночь и день сливались в одну ровную однотонную линию. Круглые сутки в операционной горел свет, и мы не следили за часами; где-то по ту сторону замаскированных окон операционной день сменялся ночью, а ночь — днем, но это было где-то там, по ту сторону плащоток. Электрический свет вытеснил понятие о смене времени, и только металлический привкус во рту подчас напоминал о том, что накопилась усталость. Это привкус бессонных ночей, будто вы коснулись языком контактов слабого аккумулятора.

Есть такое состояние, когда нельзя проложить грань между сном и действительностью. Линия становится неуловимой, темнеет, теряется в мерцающих сумерках дремоты, расплывается в мутных водах сна. И вы уже не различаете: все, что вспомнили, произошло во сне или наяву. Так случается, когда очень устанешь, когда нет уже ясности восприятия, когда часто от усталости все делаешь по инерции.

На пятые сутки было уже невыносимо тяжело. Болела голова, туманились мысли, исчезала уверенность в движениях. Но раненые прибывали и прибывали, и нужно было выиграть время; в этом секрет помощи хирурга. Угадать время, действовать в первые минуты, в первое мгновение. Ты должен приспособиться к ходу времени, угадать именно то мгновение в плавном его течении, которое принесет победу. Иначе угаснет дыхание раненого, остановится пульс, замолкнет голос сердца, и тогда будет поздно, непоправимо поздно...

Мы должны были преодолевать сон, гнать его прочь. Когда произошла небольшая заминка в подаче раненых, неожиданно исчез мой ассистент Бельский. В обычное время он страдал от бессонницы, но теперь, когда нужно было не спать, вынужденная бессонница утомляла его больше чем других. Он вышел в рентгеновский кабинет, чтобы уточнить местоположение осколка в бедре раненого, присел за шкафом и уснул.

Более двух часов искали его санитары. Он сидел в странной позе. На полу лежал рентгеновский снимок и врач нагнулся, протянув к нему руку: пальцы были собраны в расслабленный кулачок, и только большой и указательный готовились захватить пленку. Бельский, видимо, уронил снимок, потянулся за ним, и в эту минуту

его настиг сон, оборвав движение. Его разбудили, но страшная головная боль не позволила ему продолжать работу.

Мы насторожились. Я серьезно начал думать о смене. Но нужно было держаться, и мы держались. Полстакана красного вина немного подбодрили нас.

Перед рассветом в операционную внесли раненого в живот Павлова. По внешнему виду ему можно было дать лет сорок-сорок пять. Это был обозник морской бригады, но во время боя, нарушив приказ, он также пошел в атаку, объяснив это тем, что в бригаде дрался его сын. Мы отнеслись к Павлову с особым вниманием, узнав, что Сергей — тот самый, которого ранили в голову и о подвиге которого говорил весь госпиталь, его сын.

Ассистент вышел из строя, и его заменила операционная сестра Савская, выполнявшая теперь уже две функции — операционной сестры и ассистента.

Она смазывала иодом живот раненого, а я в это время сидел на круглом металлическом стуле-вертушке, держа перед собой стерильные руки.

Веки тяжелели. Сухая резь мучила глаза. Винт под сиденьем скрипел и качался в своем гнезде, и от этого покачивался и я; когда на мгновение выключалось сознание, казалось, что я лечу в пропасть или покачиваюсь на волнах.

— Смазать еще раз? — спрашивает Нина Павловна, держа в руках ватную палочку с иодом. И этот ее вопрос звучит звонко, будто произнесла она его в пустой бочке или в лесу. Закрывал ли я глаза? Кажется, нет. Слышу ее вопрос, но не могу ответить. Она повторяет вопрос, и лишь после этого, овладев собою, отвечаю: «Конечно».

Савская смазывает кожу неровно. Качается палочка передо мной, как маятник, оставляя после себя густой, лохматый, темнокоричневый, как загар, след. И вдруг откуда-то в глаза ударил ослепительно яркий луч солнца. И от этого снова в глазах начинается резь, будто их засыпали песком, и песку так много, что трудно даже сомкнуть веки. А когда вам посчастливилось закрыть их, в первые секунды резь так усиливается, что вы теряете сознание.

Иодные пятна висят, как лохмотья. Они как будто отделяются от кожи, повисают в воздухе, качаются и

бьют вас по лицу, по глазам. Сон, как однотонный, ровный свист ветра в трубе.

Ноги тяжелые, неподвижные. Проглотил слюну, и такой отчетливый металлический привкус во рту, и сердце глухо стучит где-то под самым горлом так, что мешаает вам дышать.

— Все, — говорит Нина Павловна.

— Все? — переспрашиваю и становлюсь к столу.

Гажала говорит: «Отец, дыши глубоко, спокойно, ровно. Сначала будет неприятно, а потом заснешь». Мне казалось, что это он говорит нам всем: «Засните, дышите спокойно, ровно». Савская же почему-то задумчиво, почти шопотом, с неясным волнением сказала:

— Отец... Отец...

Упасть бы здесь камнем в операционной и заснуть, и не нужно ни матрацов, ни подушек. Собственно, сон — это тоже мягкая и теплая постель. В наступлении под Ельцом и за Ефремовым, я видел солдат, когда они ночью и днем преследовали немцев, и была пятая, и была седьмая ночь бессонья. Тогда бойцы в ряду брались за руки и один спал, а другой сторожил, а потом менялись и так шли, чтобы не «оторваться» от врага. Шли и спали. Раненый Павлов что-то кричал под наркозом, обращаясь к самому себе: «Павлов, Павлов? Был Павлов и нет Павлова...» Он засыпал, спускался на самое дно сна, где человеку ничего не снится, где нет боли, но еще есть жизнь.

Вот уже в руках у меня скальпель. Теперь уже нет ни галлюцинаций, ни снов, ни даже тени, ослабляющей остроту зрения. Нина Павловна держит салфетки: у нее теперь сложные обязанности, ее внимание обострено. Шелкают иглодержатели. Сестра ловко вдевает шелковую нитку в ушко кривой иглы.

Захватываю артерию пинцетами. Операция идет своим обычным путем, и нет уже рези в глазах и шума в голове, монотонного, поднимающегося от сердца по сосудам вверх. Когда хочешь спать, слышно, как шумит кровь. Помните, в детстве вы прикладывали к уху морскую раковину и казалось, что в глубине ее возникает глухой однотонный звук. Это шумит кровь, струящаяся в ваших сосудах. Теперь, когда вы не спите, слышите этот шум без раковины; голова наполняется им, и шум какой-то весомый, материально ощутимый.

Нина Павловна работает за двоих. Фельдшер Гажала склонился над Павловым, но это усилие, борьба, он не допускает к себе сон. Пары эфира сияются победить и его.

— Гажала! Анатолий! — кричу я.

Фельдшер поднял голову и посмотрел на меня суженными глазами, настолько суженными, что для того, чтобы увидеть меня, ему пришлось забросить назад голову. Я улыбнулся. Он ответил мне улыбкой.

За окном прогремели один за одним взрывы: вблизи разорвались две бомбы. Заколебалась простыня, подвешенная к потолку над операционным столом: в нее упали какие-то комочки.

Ровное, сдержанное дыхание Гажалы стало порывистым. Нина в это время подавала мне пинцет, а я перевязывал сосуд. Это был ответственный момент операции. Рука ее вздрогнула.

— Боюсь, что сорвется пинцет, — сказала Нина и подняла на меня глаза, но по ее взгляду я понял, что она думала теперь не об этом.

Короткий артиллерийский налет...

Мы закончили операцию и санитары вынесли раненого в другую комнату.

— А теперь спать, спать!

Это было даже не желание, а крик. Что-то разрывалось в груди, в голове, туманило глаза, сковывало движение. Можно было заснуть стоя, сидя, не закрывая глаз, смотреть и не видеть ничего, с выключенным сознанием. Туманные, неясные фигурки двигались, перемещались в снежном вихре, взмахивали руками, пригибались к земле. И ночью, и днем, без сна, без отдыха. Здоровый, коренастый Сергей Павлов, в одной тельняшке, с оголенными мускулистыми руками, покачивался в темноте; он был прозрачен и сквозь него проглядывали фигурки; он виден был лишь до половины, сильными руками он разбрасывал волны. Вот он что-то крикнул, а может быть, это кричал, просыпаясь, отец Павлова после операции? И я, увидев перед собой снова Савскую и Гажалу, стал развязывать на левом рукаве завязки от халата.

— Шестая ночь... — сказал Гажала.

— Да, шестая... Нам нужно отдохнуть хотя бы несколько часов, а потом — снова к столу. Я иду в землян-

ку, а вы идите за мной, только не задерживайтесь. Сейчас 7 часов 15 минут. Ясно?

— Ясно, — ответила Нина Павловна. — Вы только разрешите мне остаться еще на сорок минут.

Она объяснила мне, почему хочет остаться. Необходимо заготовить шелк для новых операций, нарезать салфетки, почистить инструмент; нужно еще зарядить материалом биксы и обеспечить стерилизацию. Да, все это необходимо, и трудно возразить что-либо против этого. Сорок минут? Ну, что ж. На сорок минут позднее выйдет на работу. Таким образом, отдыхаем четыре часа.

Вошел Каршин. Его сначала нельзя было узнать: в халате, лицо прикрыто маской. Каршин производил впечатление непроницаемого человека. Я даже подумал: высокомерность. Одной фразой он мог отдалить человека, не допустить интимной интонации, оборвать неудобный разговор. «Я хотел бы, чтобы не было причин портить наши отношения». Это замечание Каршина я запомнил. Я понимал, что это его замечание было проявлением чувства ответственности, сознания долга.

В госпиталь Каршин получил назначение после ранения. Кадровый офицер, он строго придерживался всех военных законов и обычаев. Тем приятнее были его неожиданные душевные отступления от официального тона.

— Я пришел прочитать вам последнюю сводку.

Каршин читал торжественно, подражая Левитану. За тем с той же невозмутимостью, с какой он читал сводку, он вытащил из кармана бутылку вина.

— А это специально для Нины Павловны... Животворящая жидкость!... Аква витте, как вы ее называете. Вам это теперь необходимо...

Я почувствовал, что настала моя очередь.

— У вас гражданская манера разговаривать с сестрами...

Каршин глянул на меня лукавым взглядом и насмешливо развел руками:

— Такова уж специфика...

— ...Врачебных отношений, — добавил я.

— Теперь мы в расчете, доктор. — Каршин добродушно улыбнулся. Зажавши между коленями бутылку, он раскупорил ее штопором складного ножа. Мы вы-

пили с комиссаром по «примирительной» мензурке вина. Вслед за нами, как лекарство, морщась, выпила вино Савская.

Я уже не помню, как покинул операционную, в какие двери вышел. Людей я не видел. Все звенело в теле, ползали мурашки, как это бывает после того, как «засидишь» ногу. Все суживался и суживался мир, уже не было заснеженного леса, уже переставало существовать предрассветное серое и низкое небо, перед глазами возникал только сизый, как дым, козий мех на отворотах кожуха. Потом землянка, лежак. Падаю в густую-густую смолу сна, на илистое дно, липкое, застывшее, ни пошевелиться, ни заснуть. Хотел было расстегнуть пояс, но не смог шевельнуть рукой, хотел стянуть сапог, но и этого не сделал. Я спал тем сном, когда часы кажутся секундами. Никаких снов, ничего не было: ровная, однообразная, однотонная даль, неясный круг горизонта, непроглядная темень глубины или звездные сумерки высоты. Бескрайный мертвый простор вокруг. И все!.. Никого и ничего больше нет. Все остановило свое движение. Весь мир оглох, онемел, и уже нет более ни опасности, ни риска, ни страха.

— Доктор, доктор!

Зовут.

...Павлов в тельняшке хватает меня за руку: «Помогите, я ранен!». Я хочу его также взять за руку, но не могу, это только бесплотная тень.

— Доктор, доктор!

Раскрываю глаза. Предо мной стоит санитар, бледный и утомленный:

— В пятой землянке плохо.

Если бы мне все это даже приснилось, все равно я вскочил бы на ноги. Теперь я уже твердо ориентируюсь в пространстве и времени. Десять часов. Позднее зимнее утро. Я иду впереди санитаря. В землянке нужна была моя помощь. Возвращаясь, заглянул в послеоперационные палаты, где лежали раненые, которых недавно оперировали.

Над койкой Павлова-отца я застал операционную сестру Нину Павловну. Она стояла у постели пожилого солдата на коленях и поила его красным морсом с чайной ложечки. Усы его намокли и прилипли к жестким небритым щекам.

— Ты еще не спала? — возмутился я. — Как же так! Она поднялась с земли, виновато улыбаясь, постукала ложечкой по раскрытой ладони левой руки. Я подошел к ней, взял ее за руку и вывел за двери землянки.

— Сейчас же иди спать! Не стыдно ли?

У нее очаровательное утомленное лицо с синевой под глазами, полными слез. Глубоко вырезанные, четко очерченные крылья ноздрей. Догадавшись, что я обратил внимание на ее слезы, она объяснила:

— Такой ослепительный снег против солнца, что больно глазам...

А потом добавила:

— У меня также есть отец... Может быть, мне уже никогда больше не придется вымолвить этого слова.

И ушла. Я остался около прикрытых дверей землянки. Савская шла узенькой, вытоптанной в снегу тропинкой, между двумя снежными горами, залитыми солнцем. Она удалялась с ложечкой в руке, а ее белый халат расплывался в серебристой снежной пылице, теряя очертания. Легкое дуновение снежного ветра, освещенного солнцем. Живой и ясный луч солнца, который не смогла погасить ночь.

3

У нас было 18 раненых с газовой инфекцией, а умер только один. Об этом стоит рассказать. Это было испытание хирургов, их воли и нервов.

Две тени смерти сопровождают раненого в госпиталь: столбняк и газовая инфекция. Крадутся, они ползут за ним и наступают, чтобы погубить. Столбняк победили. Осталась газовая инфекция, и она была безжалостной. Она отнимала у солдат ноги, руки, иногда жизнь. Врачи были бессильны. Как часто они провозжали в могилу раненого солдата, в то время, когда всем сердцем хотели спасти его. Мы звали на помощь науку, и когда все было испытано, и уже ничего не оставалось, что можно было бы еще сделать, хотелось просто силой поддержать больного, подпереть плечом, рукой, как падающего.

Газовую инфекцию мы знали, изучали ее признаки, ее уродливый образ. Это заболевание впервые описали

Пирогов в России, Мезонев и Вельпо во Франции. Пораженная нога становилась пустой, мышцы расплавились. Болезнь наделяли всякими названиями: белая рожа, голубая, бронзовая, шафрановожелтая, лимонная. Мезонев назвал газовую инфекцию «молниеносной гангреной». Чтобы спасти человека, нужно было опередить время. Каждая минута проволоочки угрожала смертью. Не отходя от постели, хирург незамедлительно начинал операцию, в то время как помощники его со всех ног мчались уже за бинтами.

Появились новые определения: «грозный призрак», «ужасное бедствие», «бич раненых».

«Во время первой империалистической войны в русской армии зарегистрировано двести тысяч жертв от газовой гангрены», — сообщает Бурденко.

Спасать жизнь? Но как? Ценой ноги или руки? И началась вакханалия ампутаций. Война — это костыли и повозочки для безногих. Их было много. В английской армии в связи с газовой инфекцией произведено было свыше ста пятнадцати тысяч ампутаций.

Мой учитель рассказывал, что во время империалистической войны во Львове он ампутировал ноги у одного раненого за другим. Это было ужасно. Хирург расписывается этой операцией в своей беспомощности. Раненым ампутировали ноги потому, что не было другого выхода. Солдаты со слезами на глазах умоляли отнять им ногу или руки, ибо боль невыносима.

Раненые умирали от газовой инфекции. Хирурги складывали оружие. Они проигрывали поединок с гангреной.

И нам было трудненько. Если случалась гангрена, мы все поднимались на борьбу со страшным врагом.

Но вот молодой и способный врач Трусова неожиданно удивила всех нас опытных хирургов: она снизила смертность от газовой инфекции до десяти процентов. Это был триумф врача. У нее было сорок четыре раненых с газовой инфекцией, а умерло четыре. Она выстрадала эту победу ценой бессонных ночей и нечеловеческого напряжения. Разве можно чем-либо измерить радость врача, вырвавшего из когтей смерти жизнь больного? Оперировать, снова оперировать, вливать по капле жизнь в вены человека, перевязывать, поить вином и чаем, следить за пульсом, за движением отека,

за всем, что может и чего не может уловить глаз, — не самая ли это сложная профессия?

Все лаборатории мира изучали газовую инфекцию. Были открыты ее возбудители. И вот появилась противогангренозная сыворотка.

У меня был опыт лечения газовой инфекции еще в войну с белофиннами. Мы сомневались в целительных свойствах сыворотки. Вводили ее под кожу очень медленно, в больших разведениях, в незначительном количестве, одну, две, ну, максимум три дозы. Тогда мы не знали, что располагаем хорошим оружием, которым не научились еще владеть.

В госпиталь доставили мальчика, лет двенадцати, Смолякова. Он был ранен во время бомбардировки села Молохово. У него было тяжелое состояние. Восковое, почти прозрачное лицо, сухие жесткие губы, запавшие мутные глаза свидетельствовали, что близок фатальный час.

Он бредил, метался в постели. Зловещая чернота ползла вверх по ноге с неумолимой быстротой.

Откровенно говоря, я считал, что мальчик обречен, и сделал назначения, в силу которых не верил; это было лишь формальное выполнение врачебного долга, намерение действовать, когда даже все как будто бы убеждало в тщетности наших усилий.

Во дворе подошли ко мне с последней почтой. Я обратил внимание на письмо Главного санитарного управления. Там было написано:

«...Опыты армейского хирурга, профессора Н. Е. Дудко показали, что изменение методики введения противогангренозной сыворотки обусловило дальнейшее снижение смертности от газовой инфекции...»

Ниже подробно излагалась методика профессора Дудко.

Эта методика разрешала вводить в вену сыворотку в таких дозах, о которых нам страшно было даже подумать, и именно таким путем можно спасти больного. Это поразило всех потому, что опрокидывало наши отстоявшиеся представления о границах дозволенного. Прочитав письмо, я почувствовал, будто с конвертом мне в руки дали спасательный пояс, который я немедленно, сию же минуту должен бросить на мутную волну смерти, уже захлестывавшую мальчика.

Возвращаясь к раненому: он попрежнему смертельно бледен. Дрожащими пальцами он снимал какую-то ниточку с одеяла, ловил ее и снова терял. Это был плохой признак. Я отметил, что зловещая чернота поднялась еще выше.

Нина Павловна стояла у кровати больного. Она испытующе смотрела на меня.

— Даю вам несколько минут на подготовку, вы понимаете, насколько все срочно? — обратился я к операционной сестре.

— Что, операция?

— Естественно.

Терапевт Бельский, который вместе со мной осматривал больного, сказал:

— Но ведь у мальчика агония...

— Именно поэтому нужно спешить...

— Но, друг мой? — удивился Бельский.

— Я знаю, что вы хотите сказать... Если даже случится так, как вы думаете, я буду чувствовать меньше угрызений совести, чем если тихонько покину больного, осторожно, как вор, закрыв за собой двери...

В операционной он вежливо намекнул, что не разделяет моих намерений.

— Хирург имеет право отказаться от операции, если видит, что она бесполезна, — сказал он.

Я почувствовал на себе пристальные взгляды, но не поднимал глаз. Я был убежден, что письмо Санитарного управления принесло жизнь мальчику. Конечно, я мог отказаться от операции, но разве, падая в пропасть, вы не попытались бы ухватиться за ветку куста на обрыве, хотя бы и не были уверены, что это спасет вас?

А что, если мальчик и в самом деле умрет на операционном столе? Сознание того, что во время операции, когда ваш нож коснулся тела, остановилось сердце раненого, не легко пережить.

В операционной я чувствовал себя затруднительно, встречая, как мне казалось, осуждающие взгляды Нины Павловны и Бельского.

Сделав операцию, я сразу же ввел сыворотку по методу профессора Дудко. Назначив лечение, поручил помощникам выполнить все и следом за терапевтом вышел во двор, направляясь в палатки. Бельский шел медленно, я видел впереди себя его сгорбленную спину.

Оглянувшись, он заметил меня, повел недоуменно плечами и сказал:

— Зачем вы оперировали мальчика? Это только для него лишние мучения.

— Я выполнил свой долг.

— Хорошо, — сказал терапевт, — тогда я задам вам вопрос, который я каждый раз задаю себе в таких случаях: а разрешили ли бы вы в таком состоянии оперировать своего сына?

Я ничего не ответил ему.

Он укоризненно покачал головой и мы расстались.

Утром я был в перевязочной, когда прибежал задыхающийся от волнения Бельский и торжественно сообщил, что мальчик жив: он хорошо ест, сознание у него ясное, температура нормальная.

Семнадцать из восемнадцати раненых мы спасли от газовой инфекции. И уже не такой чудовищно опасной казалась она.

4

О Любе Фокиной (помните девушку, которая встретила нас при въезде в госпиталь?) я узнал любопытную подробность.

Хирург, мой предшественник, отказался взять у нее кровь, так как Люба была очень бледна. Фокина обиделась и со слезами на глазах сказала: «Я так и знала. Я маленькая, незаметная. Уверяю вас, я не так уж бледна, как это вам кажется. Это мой естественный цвет лица. Белые волосы, белые брови. Могла же я переносить раненых на третий этаж?»

Этот случай с Любой тронул меня.

Когда я получил приказание выехать на экстренную операцию, я не мог взять с собой Нину Павловну. Она была загружена работой по госпиталю. Любу же я считал сестрой малоопытной.

Главное, что я боялся доверить ей, — это чистота. Этим я не хотел оскорбить и унижить девушку, она была очень аккуратной. Но хирургическая чистота — это нечто особенное. Это профессиональный навык, не позволяющий, например, операционной сестре помочь другим поддержать падающего раненого. Ее руки должны оставаться в неприкосновенной чистоте. Однако я понимал,

что только Любу я имею право взять с собой, чтобы не сорвать работу в госпитале. Она знала об этой неизбежности моего выбора и стояла в углу предоперационной палатки, перебирая сложенные вчетверо марлевые салфетки. В том, что я медлил с решением, было нечто оскорбительное для нее: неужели она не достойна доверия, она, которая пришла добровольно на фронт?.. Нет, очевидно, полным отсутствием чуткости можно объяснить мое колебание. Порывисто швырнув на стол лонгету, она решительно подошла ко мне, вскинув дерзко свое лицо, в котором теперь было больше непокорной смелости, чем обиды или замешательства.

— Я поеду с вами и не смейте думать, что я слабая и беспомощная девушка. Я знаю, вы именно так думаете обо мне...

Она не совсем точно определила мои мысли.

— Нет, милая, но ваш опыт недостаточен...

— Вы поможете мне, если я так беспомощна, что не сумею помочь вам. Вы должны научить меня. Это ваш долг, ваша обязанность. Вы будете руководить всеми движениями и, уверяю вас, я не причиню вам огорчений.

— Хорошо, я согласен. Не потому, конечно, что...

— Я понимаю, — подхватила она, — потому, что у вас нет другого выхода.

— Может быть, чорт возьми! Зовите санитаров, собирайте инструменты. Машина ожидает...

Она пошла звать санитаров, а я тем временем спустился в землянку, сбросил валенки, одел поверх шерстяных носков фланелевые портянки и снова сунул ноги в валенки, на коже затянул ремень, поднял воротник, проверил пистолет и вышел к машине.

Ночь. Звездное небо. Снег тускло поблескивает на склонах и на речке. Шофер включил темнофиолетовые фары и полоса сумрачного света, как нечто весомое, упала на снег. Нам нужно было покрыть 17 — 18 километров путаного, тяжелого пути. Шофер подсчитал: «К утру, наверно, доберемся... Говорят, что на этом пути есть два километра, которые можно проехать лишь в том случае, если впереди машины будут расчищать дорогу». Он поднес к губам папиросу, зажатую в рукаве, затянулся, лицо его чуть осветилось вспыхнувшим красным огоньком.

Мороз был сильный. Нос становился непроходимым для воздуха и заполнялся как бы острыми льдинками. Тогда я начинал дышать ртом, но каждое такое дыхание перехватывало горло.

Люба села в кабину, а я влез в кузов закрытой санитарной машины. Там были носилки, какое-то одеяло, покрытое тонким льдом. Пристроился на носилках, рядом прижались санитары — их было двое, — и машина, переваливаясь с боку на бок, двинулась с горы в ложину к мостику.

Мы сидели в кузове молча. Шофер перегнулся через руль, напряженно всматриваясь в дорогу. Он нажимал на «газ». Это было рискованно, но нужно было торопиться. «А что если забуксует?» Всех угнетала эта мысль. По обе стороны дороги приглушенно дышал лес, незнакомый, подстерегающий, у которого свои законы и свои тайны. Трудно было разглядеть отдельные деревья, но чувствовалась живая, качающаяся стена. Потом неожиданно перед нами вырос домик в снегу: будка, регулировщик. «Стойте! Пароль? Отзыв?»

И снова снег, и слабый вытянутый контур дороги.

Через час прибыли на место. Быстро выгрузились. В маленьком деревянном домике на нарах лежал раненый командир полка. Виден был только его желтый нос, упрятанный в бинты и вату, и на животе белели бинты, подчеркивающие восковую желтизну тела. Тут же сидели врач и военфельдшер. Врач поднялся мне навстречу и сказал, что вызвал хирургическую группу, чтобы не перевозить раненого: в дороге он мог бы погибнуть.

Сестра суежилась в комнате, разжигая примус, развешивая простыни. Санитары не успевали за ней. Но я замечал, что многое она делала не так, как нужно. Наконец, все было готово. Она остановилась в головах у раненого, сложив руки ладонь к ладони. Тем временем врач разбинтовывал раненому голову. Показались щеки, закрытые глаза, лоб с прядками слипшихся от крови волос.

Неожиданно зазвенели пинцеты. Они упали на пол. Люба нагнулась, чтобы поднять их.

— Люба! — взревел я. — Я сам все буду делать, если вы не понимаете элементарных вещей!.. Встаньте!

Люба поднялась. Она была бледна, глаза широко

раскрыты. Ей, очевидно, было обидно, что она совершила такую ошибку, и она растерялась.

Прооперировав раненого, мы оставили при нем военного врача и фельдшера и отправились в обратный путь. На выходе сестра спросила:

— Он выживет? Я очень волнуюсь.

— Да, конечно,— ответил я.

— Может быть, ему еще что-либо нужно сделать?

— Нет, не нужно.

Было уже около трех часов ночи. Необходимо было как можно скорее вернуться: я знал, как мы все нужны теперь в госпитале. Машина покачивалась, падала на бок, снова взлетала на бугры. В кузове мы болтались, как шарики в детской колотушке. Навстречу шли машины, машины шли и позади нас, наполняя лес звуками сирен, и тут в лесу, на лесной дороге все звуки почему-то казались криками каких-то неизвестных птиц. Машины ползли медленно, неуклюже покачиваясь, скрипя и чмыхая. Некоторые из них были покрыты брезентом. Около полуразрушенной станции мы повернули на боковую дорогу, узкую, как щелка. Вдруг нос автомашины поднялся кверху, а потом врезался во что-то мягкое и около радиатора зашипело...

— Приехали! — сказал санитар, сидевший рядом.

Вышли из машины. Ночь. Мороз сковывал руки, тело, дыхание. Вокруг снег и снег. Шумит лес, небо утыкано пуговицами звезд, а впереди освещенный фиолетовым светом склон сугроба. Сестра выглянула из кабины и тут же захлопнула дверцы.

— Ну, что, взяли?

— Взяли, товарищи!

— Становитесь по колесам,— сказал шофер. Санитары уперлись плечами в кузов машины.

— Назад! — скомандовал шофер. Машина слегка закачалась, но не двинулась с места.

— Еще раз,— скомандовал шофер. Машина снова качнулась. Шофер открыл кабину и сказал что-то сестре, потом поднял сиденье и достал из ящика лопату.— Может быть, расчистим снег, а потом возьмем снова...

Мы все стали помогать шоферу расчищать снег.

— Оставьте свои глупые упражнения,— сказал я сестре, когда заметил, что она голыми руками расчищает снег.— Ступайте в кабину!

Девушка, как и следовало ожидать, не послушалась и продолжала копаться в снегу. Это было, конечно, очень неразумно,— расчищать снег руками, но, видите ли, она хотела быть полезной.

— Не отвечать вам? — спросила она.

— Нет, не стоит.

— Я хотела сказать, что от вашего взгляда снег не растает, а я хоть немного, но помогаю.

Это было сказано остро, оскорбительно, если принять во внимание обстановку и звание. Но я не считал нужным читать ей наставления. Я повторил только ее слова:

— Не отвечать вам?

— Нет, не стоит,— сказала она.

— Лучше ничего не делать, чем делать плохо. Не грязните руки, сестричка.

После того, как лопатой мы немного расчистили снег, шофер стал разогревать мотор. Но, к сожалению, из этого ничего не вышло. И я распорядился одним остаться около машины, другим идти в госпиталь пешком. Оттуда вышлют бойцов и лошадей в помощь шоферу.

В госпиталь нам нужно было торопиться. Там было много раненых. Я, сестра и один из санитаров пошли через сугробы. Оставалось еще каких-нибудь семь-восемь километров: снег забивал глаза, обжигал лицо. Я чувствовал, как трескаются мои губы и зубы начинают ныть от холодных струй ветра. Когда я выхватывал из кармана руку в перчатке, чтобы поднять воротник, мне казалось, что я перестаю чувствовать руку. В некоторых местах мы проваливались в сугробы, и снег набирался в валенки.

Сначала я и санитар вели девушку об руку, но вскоре обнаружилось, что это только затрудняет движение. Санитар недовольно сказал:

— Не по бульвару ходим.

— Пойдемте в одиночку,— сказала сестра.— Идите вы впереди, я посередине, а санитар позади нас. Как вы думаете, мы скоро доберемся до госпиталя?

— Я хотел бы, чтобы кто-нибудь выяснил, правильно ли вообще мы идем? — раздраженно произнес я и, споткнувшись, упал в сугроб.

— По-моему,— сказал санитар,— мы сбились с дороги...

Выбравшись из сугроба, я на мгновение включил карманный фонарик.

— Не делайте этого, — сказал санитар. — Огонь выдст нас. Нам он ни к чему. Ночью здесь всякая пакость шатается.

С санитаром нельзя было не согласиться. Но когда есть огонь, чувствуешь себя не таким беспомощным в ночной час.

— У меня деревянеет лицо и я не чувствую, как движутся мои губы, — сказала сестра.

— Вспомнили! — искренне возмутился я. — А вы думали, что это прогулка за цветами в летний вечер. Если не изменяет мне память, вы радовались предстоящим испытаниям. Как я мог согласиться взять вас!

— Ну, вот, видите, какой вы злой. Я вам не буду больше жаловаться.

Она сказала это таким тоном, что мне стало ее очень жалко.

— Бедная девочка, поднимите выше воротник, двигайтесь, вот так, толкайтесь, прыгайте, это полезно. Такая чудесная погода встречается не часто.

Ветер качал сосны, гнал на нас столбы снега; снег оседал на воротниках, кожных, шапках. Немели ноги, мы задыхались от усталости и, казалось, каждый выдох наш падал на землю кусками льда. Особенно неприятна была скованность в суставах.

Неожиданно окрик в двух шагах:

— Стой! Пароль?

Мы очень обрадовались часовому. Он стоял в секрете и давно слышал наши голоса. Спросили у него, далеко ли госпиталь и на правильном ли мы пути. То, что он сказал, подбодрило нас и даже усталость начала проходить. Оказалось, мы уже прошли три километра и осталось лишь два. Случилось это потому, что мы действительно заблудились и сбились с дороги, но как раз на ту тропинку, которая на два—три километра сократила нам путь.

— Это потому, что с вами девушка, — улыбнулся часовой, — девчата сердцем ведут...

Сестра молчала, переступая с ноги на ногу, покачиваясь. Часовой обхватил винтовку, упрятав в рукава руки. Мы пошли дальше по указанному направлению. Сосны покачивались все сильнее и сильнее, теряя глыбы

тяжелого снега. Каменела открытая часть лба над бровями. Впрочем, это ощущение не окаменения, а скорее, сдавливания, словно сковали лоб железным обручем. У нас уже более не получались ни шутки, ни деловой разговор.

У ворот госпиталя снова остановил нас патруль, проверил пароль, и мы ввалились в дзери, три окаменевших фигуры. Белые и красные пятна лежали на лице Любы, а когда она сняла перчатки, то не могла выпрямить пальцы, — белые застывшие кружочки обозначались на их мелких суставах. Я начал растирать ей руки. Потом ушел в землянку погреться.

В перевязочно-операционный блок возвратился уже в халате. Здесь было много света, стояла сосредоточенная тишина. На столах лежали раненые, хирурги перевязывали их. А в операционной готовились к операции. Люба суетилась около материального столика, раскладывая инструменты. Она не заметила, как я вошел, так как стояла спиной к дверям. Но я видел ее профиль с туго повязанной косынкой, из-под которой сбоку чуть выбивался яркий огонек волос. Ее глаза были полны слез, но пухлый детский рот сжат, и только слабо вздрагивал подбородок.

Обращаясь к сестре, она сказала:

— После операции он сказал, что раненый выживет... А я... я так боюсь за него. Он у меня один. Он не узнал меня. Я хотела остаться с братом, но там были врач и фельдшер. А тут я больше нужна...

Когда я услышал это, казалось, меня ослепило. Я подбежал к ней и хотел взять ее за руки, но она подняла их кверху, как это делают профессионалки-сестры:

— У меня стерильные руки!

Я стоял и смотрел в ее печальные глаза и не мог произнести ни слова.

5

Я часто упоминаю здесь фельдшера Гажалу. Теперь я расскажу о нашей первой и необычной встрече, о нашем знакомстве.

Произошло это в первые дни войны. Госпиталь, в котором я тогда работал, затерялся в оврагах, в степи, в

лесу. Под огнем врага мы утратили связь между собой. Товарищ, которому я протянул назад папиросу, не принял ее. «Ну, бери же! — воскликнул я, подавая ему папиросу. — Что там еще такое?» Я оглянулся и увидел, что он уже лежит мертвым на земле. Папироса выскользнула из моих рук на измятую траву. Я увидел на козлах тачанки бойца с занесенным кнутом. В азарте он поднялся и наклонился вперед над крупами лошадей, но в ту же минуту разорвалась мина, и кнут лег уже на сломанный хребет коня.

Ночью я вдруг обнаружил, что остался один. Вокруг никого не было. Определив Полярную звезду, я направился налево от нее, то есть на Запад.

Темные силуэты деревьев окружали меня. В блестящих, словно полированных лужах дрожали звезды. Мои сапоги обрастали желтыми лопастями прелых листьев.

В лесу я питался ягодами, в которых ничего не понимал: ел все сряду, что не было особенно горьким. Вытаскивал стержни камыша и жевал их сладкие концы до тех пор, пока в зубах не застревали жесткие деревянистые волокна. А однажды в сумке убитого бойца обнаружил кусок резины и сделал из нее рогатку, которой подбивал мелких лесных птичек.

В моем пистолете был один патрон и я его очень берег. Часто останавливался, вынимая обойму, чтобы убедиться (в который раз!) там ли патрон. Выбрасывал патрон на ладонь, старательно, до блеска начищал его полою гимнастерки, протирал капсуль и снова вставлял патрон в обойму. Последний патрон! Это то, что в случае крайней нужды спасет меня от рабства, надругательства, мук.

На третий день на опушке я увидел человека в военном. По его неловким движениям я понял, что он хотел остаться незамеченным. Он выглянул и снова исчез за кустом. Приблизившись, я поздоровался с ним. Он был в гимнастерке без пояса, ватник небрежно висел у него на одном плече. Это был еще молодой человек, лет двадцати трех, но испытания и усталость прибавили ему годы. Губы, у него были потрескавшиеся, сухие, а все лицо, особенно нос, покрыто красненькими ветвистыми жилками — след ветров, зноя, изнурения. Меня беспокоило его желание остаться незамеченным.

— Не из пятой ли дивизии? — спросил я.

— Нет... — ответил он, бросив на меня подозрительный, быстрый взгляд. Его подозрительность передалась мне, и я со своей стороны решил быть осторожным. Кто он? Откуда? Дезертир? Волк, ищущий добычу?

— А из какой дивизии?

— Сто двадцатой.

— Знаю, — сказал я.

Движением плеча он сбросил ватник на землю. Потом вынул из вещевого мешка пустую консервную банку, спустился к ручейку. Придерживая банку за отогнутую крышку, он зачерпнул воду; запрокинув голову, жадно пил, и видно было, как бурно ходил у него кадык.

В полураскрытом грязном вещевом мешке лежали еще одна консервная банка, корни каких-то растений, поломанный столовый нож, кусок грязной материи — не то полотенце, не то портянка.

— Как зовут? — спросил я.

Человек взглянул на меня исподлобья.

— Тищенко Федор.

Он положил банку в мешок и завязал его. С чувством досады, сбив на затылок пилотку, сказал:

— Эх, видел я тут глухаря. Я редко промазываю. Нам бы хватило его дней на шесть.

Я вздрогнул. Прежде чем он закончил свою мысль, я все понял: он хочет вымануть у меня пистолет. Нет, напрасно! Что угодно, только не плен, не этот ужас унижения и рабства.

— В пистолете нет патронов, — процедил я холодным, равнодушным голосом, машинально прикрывая кобуру рукой.

Вопреки возникшему внутреннему взаимному недоверию, в путь мы все же отправились вместе, осторожно, тайком изучая друг друга.

Как-то в полдень мы услышали неожиданно хруст веток и гортанную немецкую речь. Она мне всегда напоминала рычание голодных псов, погрызшихся из-за кости.

Мой спутник сделал несколько быстрых, но осторожных шагов в ту сторону, откуда долетал сухой треск ветвей. Я шарахнулся в сторону, перескочил через дерево, сваленное снарядами или бомбой, ноги мои вязли в мягкой, влажной земле. Не успев опомниться, я скатился вниз, в большую, наполненную водой яму с под-

рытыми краями; это была воронка от авиабомбы. Я добрался до крутой стены воронки, уцепился за торчавший в ней корень сосны и всем телом прижался к корню. Сначала я услышал топот одного человека, пробежавшего где-то рядом, потом пробежали несколько немцев, что-то выкрикивая и стреляя.

Неясные, путанные мысли роились в голове. Куда он побежал? Почему не последовал за мной? Не он ли это бежал впереди немцев? Гнались ли они за ним или он вел их за собой?

Когда стало тихо, я начал выбираться по обрывистому краю воронки. Хватался посиневшими руками за корни и камни. Камни отваливались, звонко всплескивала вода, осыпалась земля.

С трудом выбрался из ямы, отполз метров двести, спрятался в кустах, сбросил сорочку и выкрутил ее. Вода пахла плесенью и прелыми листьями.

Передохнув немного, я снова пополз вперед, обошел кустарник и продвинулся дальше, стараясь держаться рядом с тропинкой, которая, как мне казалось, вела на Запад. Лес поредел, уже было ясно, что вблизи опушка.

Над самым ухом вдруг прозвучал приглушенный оклик. Я оглянулся и увидел своего спутника. Все его тело было в напряженном тревожном движении.

— Куда ты девался? Бежим так, напрямик, через тропинку! На опушке начинается склон, а там внизу — овраг и кустарник. Нас не найдут...

Я, не колеблясь, побежал следом за ним. В центре склона стоял коренастый старый дуб. Обойти склон мы не могли: справа протекала речка, слева, нужно было думать, разместился немецкий лагерь. Мы поползли вперед, но нас услышали уже тогда, когда мы успели продвинуться лишь на третью часть склона. Поднялась беспорядочная стрельба. Ничего не оставалось, как вскочить на ноги и бежать в направлении к оврагу.

— Быстрее! — закричал я и бросился вниз.

Еще несколько шагов, и мы увидели, что окружены. Со всех сторон приближались немцы. Теперь мы уже не бежали, а шли. От дуба нас отделяло несколько метров. На этом пожелтевшем склоне мы были видны отовсюду.

— Теперь все... — прошептал я и взялся за кобуру. Но никогда в жизни я не испытал такого страха, как

в эту минуту, и не потому, что я видел смерть, а потому, что смерть покинула меня в такой час: пистолета в кобуре не оказалось.

Мой спутник, с которым я провел последние дни, — я не знал, кто он, — держал в руке мой пистолет и медленно подносил его к своему виску.

— Это мой пистолет! — прокричал я.

В обессиленном теле пробудилась невероятная сила, с молниеносной быстротой я бросился к спутнику и вырвал пистолет из его рук. В ту же минуту я увидел приближающегося немца с автоматом в руке, в железной каске, низко надвинутой на глаза. Он был так близко, что я мог уже видеть его раздувающиеся ноздри. Сердце мое замедлило бег, у меня внезапно прояснились мысли и чувства, которые приходят иногда, как вдохновение.

Я выстрелил без промаха. Железной тупой головой немец упал на корни дуба и медленно сполз вниз по склону. Мой спутник подхватил его автомат, и мы бросились вперед к оврагу.

Ночью, убедившись, что опасность миновала, мы обнялись и расцеловались. Подозрительность, отравлявшая душу, растаяла. Он назвал свое настоящее имя: Анатолий Гажала.

— Мы не поделили с тобой смерть, — сказал Гажала, — какое же счастье делить жизнь!

6

Гажала принадлежал к той части молодежи, которую у нас называют ровесниками Октября. Он родился в Киеве в 1917 году, рос в пионерских лагерях, на комсомольских субботниках, в производственных авралах первых пятилеток.

После окончания школы он по собственной инициативе поехал на строительство металлургического завода в Кривбассе. Работал там комсоргом. Его целиком увлекло строительство. Тысячи людей здесь объединились в одном услии, в одном стремительном движении. Два года провел Гажала на строительных лесах. А осенью, в непогоду, в ливень он упал в котлован и сломал себе ногу.

Как это бывает с людьми, еще не определившими свое призвание, после этого случая неожиданно от-

крылся перед ним новый мир, который сразу же стал его миром. Слепяющим потоком вливалось солнце в ясные окна больницы. Белизна халатов, солнечные пятна на них, созвучие света и чистоты словно подчеркивали в сознании Гажалы величие врачебной профессии. Выздоровев, Гажала вернулся в Киев и поступил в медицинский институт. В это время умер его отец, старый киевский вагоновод, и Анатолий остался с матерью. Мать нуждалась в помощи.

События 1941 года застали Гажалу на третьем курсе института. Он мог бы вместе с институтом выехать в Челябинск и продолжать учебу. Но непреодолимая сила влекла его на фронт: там решалась судьба Родины. В качестве фельдшера он пошел в армию.

...Я проснулся в пять часов утра. Гажала уже сидел за столом и составлял списки раненых на эвакуацию (стол — широкая доска на четырех березовых палках, вбитых в землю). Анатолий перелистывал странички, исписанные чернильным карандашом, с длинными столбцами фамилий, проставляя «птички».

За последние дни он осунулся, похудел и был почти таким, каким я впервые увидел его в лесу: блестящие, запавшие глаза, сухие губы, кадык, резко выделяющийся над воротом гимнастерки. Почему-то вспомнилось: «Мы не поделили с тобой смерть. Какое же счастье делить жизни!». Эти слова я произнес вслух. Гажала улыбнулся. Мерцающее пламя «плошки» сгущало тени под скулами и это придавало лицу Гажалы выражение предельной усталости.

Из землянки мы направились проверить, как готовятся к эвакуации раненых. Шли лесной тропинкой. Снег скрипел под валенками. Гажала сложил вдвое списки и сунул их в карман кобура.

— Порой мне кажется, что только у нас есть такие леса, и такое небо, и такие светлые звезды. Ни в одной стране нет таких ярких звезд! Так говорят раненые, и я так думаю.

Девять бессонных ночей остались за плечами Гажалы. И теперь, когда окончились бои, им овладела та торжественная тихая радость, которую испытывает человек после подвига или честно выполненного долга.

Я молчал. На ходу он сорвал тонкую сосновую ве-

точку. Снег осыпался тяжелыми большими хлопьями на плечи.

— Вспомни, как нам было трудно. Подумать страшно! Но это еще не конец нашим испытаниям. А вперед все же почему-то смотреть легко. Я уже вижу себя снова на улицах Киева. Иду и кричу: бессмертные мы! И так будет! Я верю в это. Правда, мы никогда не теряли веры в победу?

— Никогда, — согласился я. — Ни-ко-гда!

В самом деле, вера в победу не оставляла нас, она была нашим мировоззрением. Кто-то из нас утратил все: близких людей, родной дом, но не веру в победу, ее нельзя было убить. Она была несокрушимым, самым живым чувством, она помогала переносить утраты и пытки, она поднимала в атаку раненых бойцов, вела в бой одного против ста, пехотинца против танка. Она была неистребимой, наша вера. Она питала нас в тяжелые минуты, и люди не расставались с ней даже под дулом пистолета...

В большой землянке спешно готовились к эвакуации. Под накатом медленно покачивались позолоченные канделябры с зажженными электрическими лампочками (эти канделябры сестры взяли из фойе орловского кинотеатра во время отступления). Серые со светлыми прожилками тени от ламп пробегали по озабоченным лицам раненых с какой-то замедленно-ритмичной закономерностью. Мешки с личными вещами у каждой лежанки распространяли острый запах дезинфекции. Кто-то присил заменить простреленную ушанку, у кого-то нехватило пояса. Раненые проверяли свои документы, изучали конверты с историями болезни. Сестры и санитары помогали одеваться.

Быть может, под впечатлением недавнего разговора с Гажалой я подумал: раненые — это наши бессонные ночи, боль нашего сердца. Гажала дышал парами эфира вместе с раненым в живот Павловым. Кровь Любы я перелил Антипенко. Мало сказать: мы лечили раненых. Мы породнились с ними. Им отдавали сестры всю свою чуткость и сердечность, все богатство своих чувств, все нерастраченные сокровища своих душ. Не потому ли день эвакуации был для нас всегда таким тревожным и волнующим днем? Уезжали самые близкие люди...

Старик Бельский хлопотал около раненого в ногу

бойца, изобретая какие-то новые крепления к шине. Шина Дитерихса при переломах бедра всегда казалась ему неудобной.

— Изнуряющая шина! — сказал Бельский, когда мы проходили мимо него. С суетливой старательностью он прибинтовывал шину.

Каршин возвращал отъезжающим партийные билеты, ордена. У Антипенко партийный билет был пробит осколком снаряда.

— А нужно ли менять такой билет? — спрашивает разведчик Антипенко. — Говорят, что это приносит счастье: другой осколок убойтся. Ведь не убил первый!

— Счастье приносит партийный билет. Это верно! — говорит Каршин и безбровое, ясное лицо его освещается приветливой улыбкой.

К семи утра подали автомашины. На станцию Скуратово уже прибыла санитарная «летучка».

С сестрой Савской мы отправились на станцию, захватив с собой походную аптечку, бинты и шины. Гажале я поручил следить за порядком эвакуации в госпитале.

Утро было хмурое, светать начинало в девятом часу.

Санитарная «летучка» состояла из красных товарных вагонов, приспособленных для перевозки раненых. Начальник поезда врач белорус Бублик, утомленный будничными железнодорожными тревогами, встретил нас словами: «Давай, давай, не задьорживай!» Он хотел закончить погрузку раненых еще до рассвета.

Но вот уже подъехали автомашины. Савская подбежала к первой. Санитар потянул на себя носилки. На них лежал Пайкидзе. Он прищурил глаза и обнажил зубы.

— Что, больно? — спросил я, подходя к нему.

— Как вода кипеть, так делает, — он морщил лоб, выражение его лица свидетельствовало о затруднении, которое он испытывал, когда говорил по-русски; потом левой рукой показал на загипсованную руку:

— А этот нога не работает, как дрова стоит.

— Когда в Тбилиси приедешь, сам с вагона сойдешь, — успокоила его Нина Павловна.

Санитары отнесли Пайкидзе в вагон.

— Досвиданья, доктор! Досвиданья, Нина Павлов-

на! — кричал Сергей Павлов из вагона, приветственно махая нам рукой.

Отца его поместили в вагон для раненных в живот. Его уложили на подвесные носилки, и он пока оставался в вагоне один.

Антипенко прошел к поезду самостоятельно, отключив всякую помощь. Всем своим видом он показывал, что ему совсем мало осталось, чтобы выздороветь и вернуться в часть.

Раненые в вагонах раскладывали свой несложный багаж: мешочки с мундштуками, нитками, носовыми платочками, пряниками — подарки от населения, конверты, открытки, полотенца. Пайкидзе расписывал соседу красоты Тбилиси. От Антипенко требовали снова, чтобы он рассказал подробности захвата немца в самую неожиданную для того минуту.

В этот час, заполненный трудовой суетой, неожиданно над нами с ревом пронесся немецкий самолет. Он промелькнул над станцией, не произведя ни единого выстрела. По перону пробежал начальник поезда Бублик, торопя санитаров.

Самолет стал снова приближаться к станции. Слышалось гудение еще нескольких приближавшихся самолетов. Санитары торопливо разносили по сторонам носилки. Никто, кажется, не командовал: люди сами понимали, что нужно рассредоточиться и, главное, спасти раненых от налетевших разбойников. Широкие щели заполнялись людьми. Ударил первый оглушительный взрыв, и столб земли, дыма и пламени взвился высоко над станцией. Меня швырнуло на землю...

В промежутках между взрывами слышно было гудение самолетов, словно через все небо, от тучи к туче, были протянуты басовые струны, которых касалась неловкая, тяжелая рука. Еще один взрыв, еще...

Люди прижались к мерзлой земле. Я привстал. Горели пристанционные домики. Вокруг было пусто. По ту сторону домиков поднимался огромный столб дыма, разветвлявшийся где-то высоко в небе. Горела цистерна с нефтью.

Сквозь завесу дыма с трудом различил, что «летучка» не повреждена. Это несколько успокоило меня.

Вскоре все утихло. Тишина длилась несколько минут. Она спустилась на землю, как утренний туман; все замерло.

Первый крик, услышанный мною, свидетельствовал о жизни. Начальник «летучки» Бублик к кому-то взывал, выскочив на перон. Почерневший, он был взволнован, но не напуган:

— Не задьорживай! Пока бандиты вернутся, мы уже дома будем.

Вдоль поезда, как-то странно подпрыгивая, бежала Нина Павловна Савская. Она кричала тонким срывающимся голосом:

— Родные мои, кто ранен?

Но оказалось, что от бомбежки пострадала только она одна: осколком ее легко ранило в грудь. Мы отвели ее в перевязочную «летучки».

В поезде никто не пострадал, никого не ранило, ни одной царапины не прибавилось на теле бойцов. Но в хвосте «летучки» вагон для раненых в живот был разбит в щепы, остался только его скелет. Вверху, под перекрытием, на подвесных носилках лежал цехоньский Павлов, отец моряка Сергея, и спокойно просил снять его «с голубятни». Когда мы сняли носилки и поставили их на перон, Павлов отер рукавом коготь с влажного лба, осмотрелся вокруг и сказал:

— Так что, наши в огне не горят и в воде не тонут!

7

После успешных боев за Орел и дальнейшего наступления наш госпиталь разместился в хуторе Михайловка, что севернее Довска. Была длительная межбоевая пауза. Меня вызвали в Санитарное управление фронта по делам госпиталя, и я выехал туда со своим ординарцем.

Жизненный путь ординарца Володи Гусева был извилистый. Володя владел несколькими специальностями: шофера, монтера, повара. С детства он уже хорошо разбирался в делах электрических, к нему обращались с просьбами отремонтировать электропечки, утюги, осветение. Большую часть дня он проводил в гаражах, был знаком со всеми шоферами города. С чисто детской лю-

бознательностью запоминал автомобильные марки, познавал шоферские секреты.

Потом он поступил на автомобильный завод. Завод имел свой альпинистский лагерь на Кавказе, в районе Эльбруса. Володя увлекся альпинизмом, каждое лето выезжал в лагерь. Там он добился больших успехов и даже стал инструктором.

Он был хорошим рассказчиком. Особенно получались у него альпинистские рассказы:

«...Хоть бы он крикнул,— начинал Володя, торопясь и волнуясь,— я бы тогда закрепился по эту сторону гребня. Но он сорвался, не предупредив меня. Я почувствовал сильный рывок веревки на груди и сразу заметил, что и сам перелетел через гребень. Мой друг имел 78 килограмм, я—62. Он перевесил меня. Я вижу, 78 килограмм «исполняют вниз», я лечу за ним на буксире. Ноги его взлетели кверху, торчат, как два пальца, а у меня тоже... Очки залепило снегом, ничего не вижу. Набираем скорость. Бью ледорубом, хочу закрепиться, но не удается,— скорость большая, ледоруб чуть не вырвало, но все-таки немного затормозил. Еще удар ледорубом и я задержался на откосе...— Володя в такую минуту переводил дыхание и победоносно оглядывал притихших слушателей.— Вижу, друг мой висит над пропастью: глубина 400 метров. Представляете, еще секунда и из нас был бы форшмак. Я сломал ногу, «голеностоп» мой опух. Тогда друг меня взвалил на спину и повез...»

Я не раз слышал этот рассказ. Правда, Володя всегда рассказывал с некоторыми вариантами, и были основания думать, что он не придает большого значения слишком точному изложению фактов, но он не лгал никогда. Это знали все.

Санитарное управление находилось в городе Народичи.

Выехал я из района Гомеля на юг через Мозырь. Все на пути было разрушено, сожжено. Тем больше нас поразила почти полностью уцелевший городок Народичи, чистенький и побеленный,— настоящий украинский уголок.

В Народичах выяснилось, что мне нужно остаться на пять-шесть дней, пока возвратится полковник.

— Ты подыскал бы комнатку,— сказал я ординарцу.

— А я уже подыскал,— ответил он, улыбаясь.— Только хозяйка не совсем любезная. В свою комнату никого не пускает. Может, она что-нибудь там прячет? Одна на всю хату! Никакого понимания солдатской жизни!

Я испытывал некоторую неловкость. «Мы у вас поселимся»,— сказал я хозяйке. Она поднялась со стула и молча провела меня в комнату. В ее голубых глазах с застывшей в них холодной влагой отражалась не то раздражительная старость, не то боль.

В комнате было чисто и уютно. И этот уют, повидимому, не хотели делить ни с кем. Комнату убирали дважды в день, любовно и старательно. Но кто ею пользовался, кому она принадлежала?

— Вот как старуха живет!— не стерпел возмущенный ординарец.— Видите? И, главное, не сочувствует нашему брату—солдату.

Расстегнув планшетку, я извлек продаттестат и отправил ординарца за продуктами.

Старуха проковыляла мимо меня к дивану и, отвернув край покрывала, сказала:

— Садитесь пожалуйста.

Потом вышла и вскоре вернулась с двумя белоснежными простынями, которые положила на подушку, пододвинула к дивану стул и поставила на него пепельницу.

После того, что рассказывал ординарец, я был приятно удивлен ее гостеприимством и немногословной заботливостью. Однако нужно сказать, что именно эта немногословность хозяйки создавала атмосферу какой-то напряженности, казалось, она делает все по принуждению или, по меньшей мере, без желанья. Все же поведение хозяйки не соответствовало той уничтожающей характеристике, которую дал ей ординарец. Любопытство овладело мною и я спросил:

— Правда ли, бабушка, что вы никого не пускаете в комнату? Разве мы вам так не нравимся?

Старуха подошла к шкафчику, взяла бутылку с чернилами и налила их в чернильцу на столе.

— Правда, сыночек, правда!

Старуха подняла против света бутылку, проверила, сколько осталось еще чернил, и протерла доньшко кусточком бумаги. Помолчав немного, она добавила:

— Так я наливаю и наливаю чернила, а они все высыхают и высыхают...

Глаза ее с застывшей в них влагой так зажглись, что я не мог не подумать о безумии. Странная старуха! Или ей что-то кажется? Говорит загадочно, вид у нее такой, будто она чем-то оглушена и никак не может притти в себя.

— А у вас есть мать, жена?— спросила хозяйка.

— Есть. А что?

— Так, ничего. Просто полюбопытствовала.

Потом она поинтересовалась сколько мне лет, где я родился, есть ли у меня родные и где они. Чтобы поскорее закончить этот разговор, я дал ей понять, что мне пора на отдых.

В ту же ночь произошел такой случай.

Ординарец в полночь затеял «обыск». В дороге я очень устал и поэтому заснул крепко. Володя же, которому бабушка показалась очень подозрительной, желая разоблачить ее в каких-то темных делах и связях, вытащил шкапулку в надежде найти какие-нибудь документы или даже оружие.

Хозяйка услышала его возню и с зажженной свечой направилась к нам. Володя своевременно услышал ее шаги, захлопнул комод и сделал вид, что спит. Я проснулся в тот момент, когда старуха стояла в дверях со свечой в руке. Это было неожиданно и взволновало меня. В самом деле, что нужно этой женщине в комнате, где спят военные люди? Нервы за последнее время были натянуты, а тут— полночь, злодейский огонек свечи, молчаливая старуха.

— Что вам здесь нужно?— резко спросил я.

— Мне показалось... мне показалось, что здесь кто-то роется.

— Это вам показалось, а мне совсем не показалось, что вы пришли в комнату, где у вас не может быть в эту минуту никаких дел.

Старушка замерла в дверях. Пламя свечи колебалось, косматые тени пробегали по стене.

— Простите меня,— тихо сказала она,— может быть, и в самом деле здесь ничего не происходило...

Утром я просмотрел книги на этажерке. Здесь были произведения Ушинского, трактаты о детской психологии, Шекспир и Пушкин, История ВКП(б), несколько

томиков Ленина и еще много других книг. Было ясно, что принадлежали они педагогу или, быть может, студенту университета. Я заметил также, что странички отдельных книг как бы слиплись. Это свидетельствовало о том, что их давно не читали и что они лежали под грузом. На некоторых переплетах я заметил крестообразные бороздки и соответственно им прогибы по краям переплетов. Это указывало на то, что книги были связаны. Теперь легко было догадаться, что они расставлены на этажерке недавно и что их где-то прятали, иначе они не могли бы уцелеть во время владычества фашистов. От книг исходил едва уловимый запах сырой глины.

Двери во вторую комнату полураскрылись и я увидел старушку, передником утирающую глаза.

— Кому принадлежат эти книги? — спросил я, неходя от полочек.

— Книги? Это книги сына... Я все ждала его. Утром прииду, заострю карандаш, чернил подолью, пепельницу почищу, хотя окурков давно уже там не было, и все кажется мне, что я за самим Андреем ухаживаю. Прииду вечером и вижу, будто карандаш немного списался против вчерашнего, и снова заострю его. Сколько я уже таких карандашей сменяла. И чернил несколько бутылок израсходовала, а они высыхают... Андрюша очень любил эту комнату.

Старушка стояла спиной ко мне, лицом к окну и, казалось, разговаривала сама с собою. Я почувствовал, как ее неподдельная материнская боль широким потоком вливается в мою грудь, захлестывает сердце.

Потом хозяйка вышла во двор, пряча лицо и влажные от слез глаза. В ее комнате я заметил на столе военное письмо: «...сведений о вашем сыне нет...»

Библиотека... Книги педагога... Сын хозяйки, видимо, педагог. И вдруг вспомнилось отчетливо и ясно: из маленького городка на границе Белоруссии был Андрей Славин! Он был взят в плен. Значит, это мать Андрея Славина, с которым я встретился в партизанском отряде. Да, да, он преподавал в школе маленького городка! Нет, я не могу сказать ей то, что знаю о судьбе Андрея!.. Без чувства боли и глубокого волнения я не могу смотреть в лицо хозяйке, в котором начинаю угадывать

знакомые черты лица Славина; такая же сдержанность, такой же волевой подбородок...

Я тихо рассказал вечером Володе обо всем. Глаза у него стали широкими, круглыми, влажными. Он был притихшим и опечаленным.

Когда я возвратился из управления, где закончил свои дела, оказалось, что Володя помыл полы в хате, старательно убрал комнату, принес несколько ведер воды из далекого колодца, подмел двор, починил заборчик, прибил сорванные двери коровника.

Прощаясь, мы сказали старухе: «Досвиданья, мама», и низко поклонились ей в пояс.

8

Это было вскоре после начала войны...

На шестой день после того, как я и Гажала прорвались сквозь немецкое кольцо на склоне у дуба, мы набрали на партизанский отряд. Здесь нам поручили организовать маленький лесной госпиталь. Наша дружба с Гажалой была столько откровенна, что командир отряда даже как-то сказал мне: «В отряде я признаю только уставные отношения». Но он сказал это по долгу службы, явно сочувствуя нашей законной дружбе, родившейся в столь суровых испытаниях.

В отряде я познакомился с Андреем Славиным.

К нам его привели партизаны. Он хромал, его поддерживали под руки. Лицо его было желтым, почти прозрачным. Большие черные глаза вспыхивали и искрились, словно два крупных кристалла, а у врача это всегда вызывает привычные профессиональные ассоциации: туберкулез!

Позднее в землянке я убедился в правильности моего предположения.

Как раз перед войной Славин окончил университет и учительствовал в Народицах.

— Нас заперли в церкви, и мы без пищи сидели в ней более двух недель, — рассказывал Славин, — через окно мы видели, как сменяются посты у дверей церкви. К нам никто не заходил, на прогулку нас не выводили. Воды не было, и мы взбирались друг другу на плечи, чтобы во время дождя в пилотки собирать воду за окном. Потом знаками мы показывали сельским ребятам,

что хотим есть. Они поняли нас и ночью под окно принесли вареную картошку. Тогда мы сняли с ног обмотки, связали их, и к этой «веревке» ребята привязывали казанки.

Славин расстегнул дрожащими пальцами пуговицы на гимнастерке и вытянул шею, стремясь освободить ее от тесного воротника.

— То, что я потом увидел, было ужасно! Немец схватил одного мальчика, выбил у него из рук котелок, картошка рассыпалась, а после спокойно навел на него пистолет и выстрелил.

Я слушал Славина с тревожным вниманием: мы в то время еще мало знали о немецком плене, о зверствах немцев. Это были первые известия, и каждое новое сообщение возмущало душу. Хотелось мстить беспощадно, безжалостно.

Славин рассказал, как они бежали из церкви, взобравшись на колокольню и спустившись по водосточным трубам. Он рассказал о пылающих селах и городах, о том, как немцы расстреливают наших матерей, давят под танками детей, стариков...

— Глаза у меня ослепли от ненависти! Я вынашивал свою ненависть и только одного боялся: дешево отдать свою жизнь. А это легко могло случиться. На рассвете меня поймал немец—погонщик стада. Это было животное с бычьей шеей и маленькими мышиными глазками. Остановил меня в ту минуту, когда я пытался уйти в рожь. Здоровье у меня было тогда подорвано, все чаще шла горлом кровь. Немец поймал меня за руку и потащил за собой через дорогу к месту, где у телеграфного столба с сорванными проводами лежал больной теленок. Не говоря ни слова, он поднял с земли теленка, взвалил мне его на плечи, а потом рассек со свистом кнутом воздух, выкрикивая что-то на своем языке. Говорил он так, словно полоскал горло. Теперь я понял, чего добивался от меня немец. Этот урод с мышиными глазками собрался гнать меня вместе со стадом. Я ослеп от ненависти. Я думал о большем, чем один немец. Я дорого хотел отдать свою жизнь. Но отступить теперь мне было некуда. Я понимал, что одолеть этого откормленного быка мне не удастся; был я слишком измучен. Но не знаю, откуда взялась у меня сила. Я сделал вид, что теряю равновесие, и в ту минуту, когда немец вы-

пустил винтовку, чтобы поддержать теленка, я сбросил теленка на немца и с невероятной быстротой схватил винтовку. Погонщик сидел передо мной на корточках с теленком на руках и смотрел застывшими немигающими глазами в дуло винтовки. Я расплатился с немцем и исчез во ржи. Безусловно, я мог проиграть этот поединок. Но в такую минуту трудно смотреть далеко вперед.

— Не понимаю,— сказал я Славину,— что означает «в такую минуту трудно смотреть далеко вперед?». Разве у Вас был другой выход? Что бы там ни было, но каждый из нас предпочел бы смерть...

Славин улыбнулся загадочной улыбкой человека, чувствовавшего свое превосходство, и перевел взгляд на окно землянки.

— Не всегда это бывает так,— сказал он, вздохнул, встал и грудным голосом, напоминавшим скорее шопот, добавил:

— Не всегда... Понимаете? Особенно, если хочешь сделать больше.

На войне большой человек иногда вызывает у вас невольно чувство недоверия. Подчас и я не мог избавиться от этого ложного чувства. Болезненные движения, тревожная возбужденность сначала даже врачу кажутся умышленными, нарочитыми, подчеркнутыми; в голосе больного всегда есть нотки заискивания, осторожности, он как бы боится растревожить в себе что-то и поэтому разговаривает шопотом, будто передает тайну.

На войне все это обращает особое внимание. Кажется, что человек хочет уйти в болезнь от большого дела, которое каждый должен выполнять на войне.

У Славина было больше нервозности, чем вкрадчивой сдержанности. Он вздрагивал при каждом шорохе, щурился. В нем все дрожало, трепетало, он без причины оглядывался и делал лишние движения.

Это была страшная печать плена, бесконечных странствований по дорогам (поэтому щурился), бесконечных преследований (поэтому вздрагивал при каждом шорохе, оглядывался без причины). Но при всем том он производил впечатление человека с какой-то затаенной мыслью, в которую нелегко проникнуть.

На очередном обходе раненых я заметил, что состояние Славина ухудшилось. Он еще более побледнел, осу-

нулся. Два месяца плена окончательно разрушили его молодое и некогда здоровое тело. В этом я убедился, выслушав его легкие. Когда я поднял голову, убрав стетоскоп с груди Славина, я встретил пылливый взгляд больного, как бы вопрошавший: «Ну, что? Скоро?» Я должен был сразу же выйти из этого молчаливого поединка взглядов. Я сказал ему:

— Вы неясно высказываете свои мысли. Мне думается, что настоящий советский человек не может смолчать, он должен ответить достойно на надругательство.

Он что-то недоговаривал, замалчивал, обходил, что-то в нем оставалось неясным, невысказанным. Только угадывалась скрытая сила, убежденность, я бы сказал, определенная цель, которой он подчинил свою волю, упорство, сердце и нервы, мерцающее дыхание своих легких. Во имя этой цели он, казалось, готов был бы временно принести в жертву свою честь, чтобы потом окупить эту жертву стократ. И в то же время иногда мне казалось, что я ошибаюсь, что в нем проявляются обычная трусость и безволие, покорность болезненного человека, утратившего веру в свои силы. Мне не было ясно, почему он отстаивал право на такую жертву, хотя сам он достойно вышел из положения — тогда, с погонщиком скота.

Я начал присматриваться к нему все больше и больше. Его желтое, сморщенное лицо сохранило волевые черты, об этом свидетельствовали прямые линии на щеках, спускавшиеся к подбородку от носа, ровный твердый подбородок, склад рта.

С каждым днем ему становилось все хуже и хуже. Были дни, когда он и вовсе не поднимался с постели.

Румянец на щеках его лихорадочно горел. Теперь в глазах его застыла неподвижность, каменная сосредоточенность, видно было, что он вынашивал какую-то мысль, желание, ставшее его второй жизнью. Это был уже не тот Славин, которого я увидел в первые дни: из возбужденного и встревоженного, вздрагивавшего при каждом шорохе, он стал хмурым, молчаливым, грузным.

Однажды совсем просто он спросил меня:

— Я чувствую, что скоро умру, но как скоро?

— Что вы Славин! Какие дикие мысли приходят к вам в голову!

Он спокойно выслушал это, улыбнулся и добавил тоном, каким говорят о чем-либо обычном:

— Дело в том, что я понимаю все и все учитываю. Я знаю, что умру. Меня теперь никто не может обнадеть. Я чувствую, что дыхание мое становится холодным.

По своему врачебному опыту, я знал, что чем больше больной настаивает на том, чтобы ему открыли правду, тем больше он ее боится. Я знал также, что тот, кто умирает, даже в последнюю минуту жадно ищет надежды, нужно только ее подсказать, и он поверит, обязательно поверит. И врач должен помочь найти эту надежду.

— Вы говорите глупости. Разве среди ваших товарищей нет больных туберкулезом, которые живут и которые будут еще жить? И откуда к вам эта ересь: туберкулез — смертельное заболевание?

— Оставьте! — резко сказал он. — Я не об этом прошу вас. Вы имеете дело не с истеричной девчонкой, я не боюсь смерти, много раз видел ее перед глазами. Не нужно лицемерить. Я должен знать, каким временем я располагаю.

В другой раз короткий разговор произошел ночью.

В три часа я возвращался к себе в землянку после срочной операции и вдруг услышал, как впереди меня захрустели под чьими-то шагами сучья.

Из-за кустов появилась чуть согорбленная фигура Славина.

Лес дышал ночной влагой, над поляной поднимался ночной, полупрозрачный туман, прошитый серебряными нитями лунного света. Деревья стояли синеватые, дымчатые. Они были молчаливые, будто замороженные и, казалось, охраняли вековые лесные тайны.

— Снова не спите, Славин? Сейчас же идите в землянку! — сказал я.

— С удовольствием, — тихо ответил он.

И мы пошли рядом.

— Значит, — медленно начал он, отчеканивая каждое слово, вы не хотите со мной быть откровенны. Вы не хотите сказать мне, когда я могу умереть, каким временем я располагаю?

Я искоса взглянул на Славина и не мог заметить на его лице и тени отчаяния. Однако я оставался верным своей врачебной совести.

— Я считаю, что век человека, это и ваш век. Вам теперь двадцать семь лет, следовательно, вы, если будете аккуратно лечиться сейчас, еще можете рассчитывать лет на пятьдесят.

— Вы смеетесь надо мной!

— Нет, я убежден в правильности моих слов...

— Как врач или, быть может, как отзывчивый, мягкосердечный человек, — подхватил Славин.

— А это одно и то же.

Славин сделал жест досады.

— Вы упорно не понимаете меня!

Я обнаружил нетерпение, но ласковое и спокойное:

— Ну, что вы хотите, чтобы я вам сказал? — Я усилил ироническую интонацию. — Ну, что? Что вам осталось еще десять дней? Вас устроил бы такой срок?

Я хотел было обнять его, но он отстранился и, проронив «спасибо», быстро пошел вперед. В нескольких шагах от меня он оглянулся, лицо его в трепетном лунном сиянии было мертвенно бледным.

«Странный человек», — подумал я и спустился в землянку.

Обо всем этом я рассказал фельдшеру Гажале, как только вошел в землянку. Испытывая тревогу за Славина, я просил Гажалу проверить, у себя ли он. Вскоре Гажала возвратился и сказал, что Славин спит.

На следующий день, обходя раненых, я не застал Славина на койке. Товарищи по землянке сказали, что не знают, где он: рано утром его лежанка была уже пуста. Вечером я снова посетил землянку, но Славина все еще не было. Мне еще не хотелось, как говорят, поднимать всех на ноги. Зная Славина, я предположил, что он где-либо в лесу или отправился в штаб партизанского отряда, где у него были друзья. Но когда он не пришел и на другой день, я по-настоящему заволновался. Под подушкой его лежанки мы нашли письмо. Вот что он писал:

«Дорогой доктор, вы были последний вечер откровенны, и я вам очень признателен. Я слишком много пережил, чтобы согласиться умереть тихо, на постели, окруженный микстурами и порошками. Разве я имею право так умирать? Я должен отомстить за свой народ, за все унижения, за поправленную честь, за все, за все!

Я мечтал о большем, чем смерть одного-двух немцев.

Я вынашивал свою месть. Это единственное, что может излечить мою душу, хотя тело излечить уже невозможно. Я готовился к этому долго. Но внезапно болезнь схватила меня, и теперь я должен торопиться. Особенно после вашего вчерашнего ответа. Спасибо, прощайте!..»

С этим письмом я сразу же отправился к командиру партизанского отряда. Я пришел в ту минуту, когда руководитель диверсионной группы, молодой, чубатый хлопец взволнованно докладывал ему о каком-то чрезвычайном происшествии.

— ...Эшелон с немцами лежит под насыпью. Девушка из Матвеевки сказала, что какой-то неизвестный бросился под поезд и сразу же рвануло. Но кто это был такой, никому неизвестно...

— Я знаю, — сказал я, выступая вперед, — это был Андрей Славин. Вот его письмо.

9

У нас были прекрасные автомашины — гордость нашего полевого подвижного госпиталя. В любую минуту мы могли погрузиться и выехать в нужном направлении. Но теперь, получив приказ о передислокации, мы почувствовали себя прикованными к месту. Дело в том, что дорога от хутора Михайловка до деревни Большая Зимница проходила через болото. Снег подтаял, стволы деревьев, которыми дорога была загачена, выбились. Был еще другой путь — санная дорога через лес, узенькая, почти тропинка, по ней можно было продвигаться только на лошадях.

Начальник госпиталя майор Лазарев собрал офицеров и сказал:

— Мы получили приказ: сняться при всех обстоятельствах! Командование надеется на нашу изобретательность и инициативу.

Предвидится тяжелая операция в междуречье, и эту операцию мы должны обеспечить санитарно во что бы то ни стало.

Лазарев зажег спичку и поднес ее к своей длинной трубке.

— Лошадей мы должны мобилизовать у населения. Потом выступил Каршин.

— Все офицеры, независимо от характера их службы,

выедут на села. Я прошу учесть важность этого задания. Крестьяне нам помогут... Пусть дадут проводников, чтобы потом они смогли погнать лошадей обратно. Объясните людям, что это необходимо для раненых. Быть может, для отца, для брата, для мужа именно тех, кто живет в этих селах.

Майор Лазарев остался на хуторе руководить упаковкой груза, приспособившая все к новым условиям передвижения. Остальные офицеры, в том числе и замполит Каршин, выехали на села.

Я также направился в одну деревню. Там выяснилось, что большую часть лошадей угнали немцы, много лошадей пало от голода, а те, что остались, ослабели до предела. Это были мешки, наполненные костями. А там, где лошади кое-как сохранились, вдруг обнаруживалось, что нет упряжи или поломаны сани.

Немцы так обобрали села, что негде было даже достать веревку для вожжей. Мы решили тогда, что с вожжами пойдет только первая упряжка, а остальные, без вожжей, следом за первой. Иначе у нас нехватит веревок для крепления груза.

Мне посчастливилось достать двенадцать лошадей. Верхом на маленькой лошадке (чтобы сесть на нее, достаточно было перебросить ногу) возвращаюсь по заснеженной дороге в госпиталь. Со стороны могло показаться, что моя лошадедка имеет шесть ног, потому что мои ноги доставали до земли. Остальных одиннадцать лошадей я привязал цугом. Эта живая цепь ежеминутно разрывалась. Я спешил, ловил лошадей и снова связывал их. Должен признаться, что меня не совсем удовлетворяло то, как я справлялся с этой необычной для меня нагрузкой. Пока я ловил одну лошадь, другая убегала прочь; я оставлял первую и устремлялся за второй в противоположную сторону, но, когда я наступал на вторую лошадь, я с огорчением устанавливал, что еще двое торопливой рысью убегали домой. Добрался я до хутора с большим трудом и с некоторыми потереями.

В других деревнях также достали лошадей. И вот госпиталь уже в пути. Мы все учли: у нас были запасные лошади, трое упряжек шли без груза. Все может произойти в дороге: обломаются сани, например, или выбудет из строя лошадь.

Врачи, сестры, санитары шли с обозом. Сообща подгоняли лошадей. Когда кони падали, мы поднимали их всем госпиталем. То опрокинутся сани в сугроб, и сразу же начинается перегрузка; то внезапно что-то обломается, и весь обоз останавливается, и каждый торопится с советом как уложить рассыпавшиеся ящики.

На второй день перед нами открылся простор реки Сож: широкая пойма, заболоченные берега, дороги, усталые бревнами. Все это было покрыто тающим снегом. Острый и холодный ветер качал голый кустарник, обледенелые ветки, словно хрустальные палочки, позванивали на ветру, казалось, где-то далеко мчится русская тройка. Лежали разбитые орудия, а под снегом в контурах чего-то продолговатого угадывался человек. Два дня тому назад здесь гремел бой.

На открытом месте кони совсем пристали. Они отощали, ветер качал их, как траву, они едва держались на ногах.

— Еще бы, разве на соломе далеко уедешь, — сказала Люба, пряча пальцы в рукава колушка.

— Ты, очевидно, считаешь, что я могу предложить им жареных куропаток, — серьезно заметил Гажала, щуря улыбочивые глаза.

В это время кто-то из санитаров обнаружил на берегу скирду сена. Люба и Гажала пошли напрямик к скирде. Люба увидела здесь убитую лошадь. Из-под снега торчал обод колеса с двумя спицами и обломки дышла. Вспыхнула мысль: «мины!» И вдруг раздался взрыв. Гажала упал навзничь. Кровь струей брызнула из шеи. Люба почувствовала острую боль в ноге; спотыкаясь и прихрамывая, она бросилась к Гажале, подхватила его и потянула на дорогу. Я был тогда впереди обоза, на льду реки. Почувствовав что-то недоброе, побежал в направлении взрыва, туда, где уже собирались люди и откуда доносились взволнованные голоса. Гажала был бледен.

Тихо, охрипшим голосом он сказал:

— Помогите моей матери пережить это.

Мы молча сняли шапки.

Ночь я не спал.

Через трое суток мы прибыли в Большую Зимницу. На площади, в центре села, похоронили Гажалу.

Я не заметил, как без шапки прошел за село. Долго

бродил по лесу без тропинок, без дорог. Анатолий... Толя... Как же это так?

Я смотрю на запад, откуда доносится приглушенная артиллерийская стрельба. Чувствую, как кровью наливаются глаза, сжимаются кулаки.

Еще один рубец на моем сердце...

10

Село Большая Зимница. Уже началось наступление наших войск, появились первые раненые. Просто схода, утомленные дорогой, перемерзшие, измученные бессонницей, развертываем госпиталь.

Когда говорят: развернули госпиталь, построили нары,— это звучит буднично и скучно. Но полевые хирурги знают, что значит построить госпиталь в белорусском селе Зимница, или на хуторе Липа за Днепром, или в разрушенном и сожженном городке Столбцы. Сколько нужно проявить находчивости, изобретательности, остроумия, опыта. Мы имели счастливую способность приспосабливаться к самой суровой обстановке. Много мы узнали: как построить нары из веток, заборов, сорванных дверей, стволов молодого сосняка; как связать солому, чтобы она не просеивалась сквозь щели в нарах; как из гильзы от снаряда или из консервной банки сделать бездымную лампу, а из бензиновой бочки— печь; как отопить сарай, построить дезкамеру-землянку; как вообще сделать так, чтобы раненым было тепло, уютно, удобно в разрушенном доме без окон и дверей или в амбаре, причем в сроки, какие необходимы лишь для того, чтобы составить об этом приказ.

Замполит Каршин собирал по селу плотников, столяров, жестяников, печников, организовывал рабочие бригады девчат, чтобы делали побелку, возчиков, чтобы завозили дрова. Начальник госпиталя майор Лазарев ходил по деревне с блокнотом в руках, нумеровал избы, а фельдшер проставлял на стенах мелом эти номера. Против каждого номера проставлялось количество мест для раненых. Позднее в штабе госпиталя начальник набросал план села.

— Тут будет отделение для тяжелораненых, тут эвакуотделение, тут раненые в бедро, там — в голову,— показывал он нам мундштуком своей трубки.

Помещение для операционной и перевязочной мы все выбирали сообща.

В деревне стояла большая полуразрушенная школа без окон и дверей. Стены ее были ободраны и разрушены, печи разбиты. Тем не менее, для операционно-перевязочного блока это было наиболее пригодное помещение, нужно было только его отремонтировать.

Огоньки вспыхнули в глазах Лазарева — отблески его постоянной спутницы — трубки.

— На сей раз мы объединим санитарный блок с перевязочно-операционным блоком. Это будут,— увлекался начальник своей новой идеей,— ворота нашего госпиталя. Отсюда раненые проследуют в палаты после санитарной и хирургической обработки.

Начальник госпиталя Лазарев всегда что-то искал, изобретал; когда идея у него уже созревала, он непременно воплощал ее в действие. То он однажды из палаток построил санитарный пропускник, то палатки он начинал разбивать по-новому, без внутренних мачт, подвешивая на столбах; это открывало новые возможности. То он приспособливал специальные железные коробки к обычным печам, и это улучшало обогрев помещений. Все усовершенствования по санитарной службе нашей армии принадлежали ему.

Он был неразговорчив, казалось, никогда и не раскрывал рта из-за этой длинной морской трубки, но от этого активность его не уменьшалась. Я не припомню случая, чтобы кто-либо из госпитальных служащих не выполнил бы его приказа. Требовательность его была какой-то молчаливой, но упрямой, настойчивой.

Помещение школы мы быстро отремонтировали. Нехватило только стекол для окон. Тогда мы сделали так: там, где в избах были двойные оконные рамы, мы оставляли одну. Кто-то из шоферов госпиталя на кладбище немецких машин достал несколько ветровых стекол от грузовиков. Некоторые окна мы «застеклили» бумагой, пропитанной подсолнечным маслом или касторкой.

Работали мы в тот день быстро и напряженно. «Академик» Гомольский Марий Николаевич (мы так называли его потому, что он окончил Ленинградскую медицинскую академию) строил «газовую» палату. Он делал это, как и все в жизни, с необычайной энергией. Он

ничего не делал с прохладцей, все время был в движении, бегал, работал. Если работы не было, искал ее, и все это до того, пока в госпитале оставался хотя бы один раненый. Гомольский склонял голову перед спаданием. Врач Сапегина хлопотала в «сортировке». Ей не подчинялись. Она жаловалась: «Мне не подчиняются потому, что я очень маленького роста». И в самом деле, нарочито требовательный военный тон ее не вязался с маленьким ростом. Ее принимали за ребенка. Этот чисто физический недостаток еще больше разжигал ее самолюбие. Немного высокомерная, она работала старательно и всегда огорчалась, когда вдруг замечала чье-либо превосходство.

То тут, то там можно было встретить озабоченного Бельского, Савскую, Любу Фокину. Они то переносили сверкающие биксы, то окликали санитаров, то показывали колхозницам, как белить операционную...

Положение в деревне складывалось тяжелое. В каждой избе размещалось по несколько семей, выгнанных немцами из других деревень, с ребятишками, раздетыми, разутыми, грязными, завшивленными.

Люди питались одной «бульбой»¹. Это было их мясо, молоко, хлеб.

Страдания прибавили детям годы, время не поспевало за их быстро стареющим умом.

Вот что мы увидели в одной душевной избе. На руках у двенадцатилетней девочки плакал ребенок с крошками разваренной картошки на щеках. Вокруг суетились шестеро маленьких детей. А в углу избы на ломотьях хрипло кашляла и бредила женщина. Безумный старик в немецкой каске ритмично стучал кулаком по кастрюле.

— Как зовут тебя, девочка? — спросил я.

— Ольга.

Она сказала «Вольга», как говорят белоруссы.

— Нам нужно переселить вас в другую деревню.

Девочка отерла ладонью замурзанное личико ребенка и поставила ребенка на пол. Он капризно захныкал.

— Ну, то мы пойдем, — спокойно ответила девочка. Она подошла к старику, взяла у него из рук кастрюлю,

¹ Картофель.

а старик продолжал однообразно взмахивать ритмично рукой, как будто кастрюлю у него и не отнимали.

— Ну, успокойся, дед, несчастье мое! — сказала девочка, как старуха.

К больной женщине в углу, повидимому матери, девочка подошла медленно, раздумывая. Она опустилась на колени, коснулась рукой плеча женщины:

— Мамо, уставайте!

— Зачем? Не трогайте! — воскликнул я. — Мы сами ее перевезем.

— А у вас и без того дел много. Мы уже как-нибудь доберемся. Мамо, уставайте! Ольга тихо, заботливо потревожила голову матери со слепыми от лихорадки глазами.

Мы отстранили девочку, перенесли женщину в машину и отвезли в госпиталь.

Детей и старика проводили в соседнюю деревню. Старик шел сзади всех, надвинув на лоб каску и размахивая руками.

Ольга по ночам, когда засыпали малята и успокаивался неугомонный дед, прибежала к нам в деревню, чтобы подежурить у тяжелораненых.

...Горизонт освещался вспышками, в небо взлетали ракеты, воздух наполнялся непрерывным гулом наступления. И еще задолго до того, как замолкли топоры в избах, начали поступать раненые...

11

Хирург — не сверхчеловек. Это солдат, на долю которого выпало слишком много испытаний. Можно согласиться с тем, кто сказал: «Когда больной умирает на операционном столе, умирает и хирург». Смерть раненого проходит через сердце хирурга, через душу его и оставляет здесь след. Хирург всегда напряжен, в висках у него зло стучит жилка — спутница его душевного беспокойства.

В госпитале человек раскрывается перед хирургом, его душа, его чувства, его прошлое, вся его жизнь. Когда человеку больно, он более обостренно все чувствует.

Раненый приходит в госпиталь после подвига, и по-

этому мы всегда видим трепетный отсвет благородства, светящийся в его глазах.

В то время, когда я обходил раненых, капитан Гомольский оперировал бойца с газовой инфекцией. Прохожу по рядам, исследую пульс, расспрашиваю.

— А как вы отморозили ногу? — обращаюсь к смуглому казаку Тулепову.

— Немец далеко — костер есть, немец близко — костер нет. Командир кричит: «Вперед! Ложись! Вперед! Ложись! И ноги сделался белый...»

Внимательно осматриваю ноги Тулепова, замечаю первые признаки газовой гангрены.

В углу избы лежит раненый лейтенант Шубин с простреленным коленом. Нельзя еще принять решение. После первой операции нагноение все же возникло, оно преодолело сопротивление организма и теперь уже распространялось по глубоким межмышечным пространствам.

Что сказать Шубину? Если не поможет еще одно вмешательство, тогда... ампутация. Нога или жизнь. Не жизнь же приносить в жертву ноге. Жизнь можно спасти ценой ноги. Но как это объяснить молодому, полному сил, статному Шубину?

Шубин борется. Он бледен. Когда подтягивается на руках, чтобы выше лечь, стискивает зубы, слышно, как они скрежещут.

— Гитлер—собака! — говорит Тулепов, которого уносят в операционную.

В «газовой» на этот раз царит тишина. Здесь шестнадцать человек: Глотов, Кузнецов, Ермоленко, Котельников... Капитан Гомольский оперирует в соседней комнате; оттуда доносятся отрывистые слова: «Кохер! Жгут!»

— Ну, что, Глотов, живой?

— Спасибо, живой!

— Вот видишь, а ты говорил: «умру, умру!».

У Глотова было ранение в живот. Его оперировали. Потом развилась газовая инфекция левой ноги. Снова произвели операцию. И вот теперь палатная сестра хлопочет у его постели. Она уже ввела ему в вену полтора литра крови.

В палате я застал все ту же нашу повариху Червякову — краснолицую, толстую, о которой можно было

сказать, что раньше на свет появилась она, а потом кулинария. Она раздавала раненым что-то очень вкусное. Какая она была заботливая! В каждом движении, даже в пухлых руках ее, пережатых в локте закачанным рукавом, чувствовалось что-то материнское, ласковое.

Ермоленко улыбается. Он знает, что также был «на грани». Теперь у него нормальная температура. Даже написал письмо жене и ждет ее приезда. «Обязательно приедет, хотя у меня и нет ноги!»

Все те, кто лежит в этой палате, уже разрушили стену, отделяющую их от жизни. Всегда, когда я вхожу в палату, в которой лежат раненые с газовой инфекцией, меня охватывает чувство, словно я вижу людей, возвратившихся издалека, из опасного похода, измученных, утомленных. Они вас встречают с радостью. Разве на их тернистой дороге вы не были им проводником?

— Как идут дела, Марий Николаевич? — спрашиваю капитана Гомольского. Его черные глаза блестят над верхним краем белой маски; руки он сложил ладонь к ладони, как на молитву.

Тулепов лежит уже на столе.

— Все готово. Думаю, что можно здесь ограничиться разрезами, — говорит капитан.

Я соглашаюсь с ним, и к столу мы становимся вместе.

...Вызывают в пропускник. Привезли троих раненных в живот, из них двое танкисты. Сестра ввела уже им камфору, но состояние их оставалось, конечно, тяжелым.

Пока принесут в «шоковую палату», граничащую с операционной, и пока операционная сестра Савская приготовит инструмент, чтобы не терять времени, иду в «осадочник», где лежат раненные в грудь. Тут работает врач Ярматова. Я застал ее в ту минуту, когда она отсасывала шприцом жидкость из груди раненого разведчика Аврамова.

Аврамов, когда его привезли к нам, бредил: «Боец Андрей Чалый! Я при-ка-зы-ваю тебе! Выполняй приказ!»

У Аврамова была дыра в груди и он как бы «дышал» через нее. Я приказал доставить его в операционную, чтобы ушить отверстие.

Мы вводим новокаин. После этого раненому ста-

новится легче. Он смотрит благодарными глазами. Но воздух все еще врывается в грудь через отверстие, проделанное пулей или осколком. Мы говорим: «У меня сжимается сердце» или «у меня упало сердце». Но это ничего общего не имеет с действительностью. Это только образное выражение. Когда же в груди есть отверстие, то сердце в самом деле сжимается, трепещет, падает и это рождает в человеке смертельный страх.

Мы ушиваем отверстие. Если после введения новокаиновой жидкости раненому только стало легче, то сейчас он готов уже вас обнять.

Так было и с Аврамовым.

Теперь он улыбается и у него, и у врача такой вид, будто они состоят в заговоре и о чем-то перешептываются. Но это прекрасный заговор. Они сообща добывают жизнь из каких-то залежей, как золото на приисках.

Как быстро и ловко оборудовали избу для раненых в грудь, очистили от мусора, побелили, застеклили, вымыли полы! На окнах уже висят марлевые занавески, покрашенные акрихином и красным стрептоцидом. Неизвестно откуда появились фикусы и герань.

Начальник госпиталя убеждал сестер:

— Печальные мысли приходят в голову, когда нет уюта. Уют — это лучше микстуры в склянке.

Удивительная вещь — настроение. Мы установили, что раненые выздоравливали значительно быстрее, когда шло наступление. Лечение тормозилось и затягивалось, когда войска стояли в обороне. Секрет в общем подьеме, в воле к выздоровлению, в желании скорее вернуться в строй.

Когда стоишь в палате, все взгляды обращены на тебя. Ты чувствуешь, что от всех этих тридцати человек к тебе протянуты нити. Вот Аврамов, у которого предательская жидкость подкрадывается к сердцу. Нужно проникнуть в тайну накопления этой жидкости, готовой захлестнуть сердце, не допустить этого. Молодой врач Ярматова обнаружила жидкость и уже остановила ее. Как приятно услышать: «Доктор, мне дышать легче».

А вот сероглазый парень Сабуров со слепым ранением груди. Ему нельзя вставать с постели, а он встает. Он молод и слишком верит в свои силы, вовсе не доверяя врачам, сестрам. Больше того, он относится к ним подозрительно: «От вас только одно беспокойство!».

Так часто бывает с людьми крепкого здоровья, которых внезапно сваливает болезнь или несчастный случай. Они еще не успевают расстаться с сознанием своей непокорной молодой силы. Это не хронические больные, приученные к мысли о своей немогущности.

Сабуров сначала решительно отказался от операции. Лишь когда его могучий организм стал сдавать, он согласился. После операции ему стало значительно легче. Он сказал:

— Теперь, что ни прикажет медицина, все выполню, как приказ командира.

Обхожу раненых. У нас есть свои профессиональные, технические термины, но они не заслоняют человека. Мы говорим: «Я произвел три операции на груди». А эти три операции — офицер, поднявший в опасную атаку батальон, боец, бросившийся с бутылкой горючей смеси на танк, летчик, шедший на таран...

Сотни раз я видел сестру Савскую в операционной, в стерильном халате, с желтыми от йода руками. Она раскладывает на столике инструменты, священнодействует. Для раненого она — не то, что для хирурга. Я слежу за ее работой, а раненый думает только: «Вот она какая, моя спасительница».

В операционной, кроме Савской и Любы, работали еще две сестры: Оксана Соловьева и Галина Савинок. Оксану я обучил наркотизировать раненых и, нужно признаться, она в совершенстве овладела этим. Во всяком случае, Оксане я чаще чем другим доверял наркоз. У нее выработалось чувство меры, наиболее ответственное в этом деле: она никогда не преувеличивала дозу эфира; раненый у нее засыпал спокойно, безмятежно.

Оксана редко улыбалась. Черноволосая, чернобровая, с малоподвижным лицом, умными блестящими глазами и некрасивым тонким ртом, она была молчаливо послушна и в работе не знала усталости. Ей можно было поручить любое дело. Она была человеком преданным, рассудительным, ровным. Вместе с тем была в ней и злость, но всегда кратковременная и какая-то невинная, необходимая.

Савинок в какой-то мере была противоположностью Оксаны: небольшого роста, с круглым пухлым личиком, с избытком завитков на лбу и висках. Когда она уста-

вала, над верхней губой и на носу у нее выступали капельки. У Оксаны чрезмерно было развито чувство красивого, и нередко при наложении гипсовых повязок она приносила правильность повязки в жертву красоте. Если она уже бралась за дело, то выполняла его старательно и честно. Чистота была ее фетишем. Халатик свой она стирала сама, гладила сама и в нем даже в изнуряющие бессонные ночи выглядела свежей, как после хорошего отдыха.

— Нина Павловна, все готово? — обращаюсь к Савской.

— Конечно! Вам понадобится прямая игла?

— Да.

Сестра суетится у столика. Она упрекает санитарку в невнимательности и посылает ее за иглой: «Ведь я же тебя предупреждала!»

Во время операции все должно быть на своем месте, даже то, что трудно предусмотреть: например, костный инструмент при операциях на животе. Вы удивитесь, если вдруг обнаружите этот инструмент на столе, но сестра, прежде чем помыться, успела осмотреть раненого и заметила, что входное пулевое отверстие находится где-то в области подвздошной кости и, может быть, задета кость. Она изучила привычки своего хирурга настолько, чтобы во время операции составить с ним одно целое, линию одного движения.

За окном уже черная, непроницаемая ночь. Слышно, как санитары шарят руками по стене, ища двери. Положив на стол раненого, они уходят подремать в переднюю.

Ночью в операционной все звучит подчеркнуто.

Когда началась вторая операция, и я уже сделал разрез, вдруг послышался тонкий свист и где-то над головой сухо треснуло. Задрожали стены и стекла, посыпалась штукатурка. Все вздрогнули.

— Опять... — тихо проговорила Нина Павловна. — Хоть бы в раненых не попали, ведь теперь они в каждой хате, — волновалась она.

У нее широко открыты глаза, и она медленнее подает мне инструменты.

От нового взрыва качнулась вся изба. Видно, близко.

— Сказала же я, что маска плохо прилегает к лицу,

эфир испаряется, — почему-то заметила Оксана и крепче прижала к своей груди голову раненого.

Все делают свое дело, но прислушиваются. Может быть, у каждого одна и та же мысль: «Еще один и... конец...»

Время от времени санитары выходят на улицу, чтобы определить, где ложатся снаряды. Вот снова взрыв, и на штукатурке вспыхнули черные трещины.

Мы продолжаем оперировать. Невозвращенная жизнь еще трепетала в наших руках, приковывала. У меня была лишь шелковая нитка, которой шьют ткани, но ее труднее разорвать, чем корабельный канат.

Удивительный случай: третий раненый, танкист, ждавший своей очереди, неожиданно сам встал, открыл двери и вошел, шатаясь, в операционную. Раненый в живот, раздетый, на собственных ногах стоял перед нами.

— Я жду... Делайте... Я уже давно жду!..

Что означало это? Откуда взялись у него силы? Что произошло с ним? Когда угроза смерти пришла снова со взрывом снарядов, он еще с большей силой захотел жить. Он шел на операцию в момент, когда смерть могла его встретить на пути к операционному столу.

Утро. Позднее. Зимнее. Сквозь завесу снежных туч проглядывает холодный, пустой диск солнца без лучей. Легким волнистым покрывалом лежит на земле снег. По улице на санках везут раненых в перевязочную. Там также целую ночь шла работа. Вижу людей с матово-блестящими лицами, утомленных ночной работой.

Группа врачей и сестер окружила раненого лейтенанта.

— Вы обратите внимание на шею, — сказала перевязочная сестра.

— Аневризма?

Подхожу к раненому. Правая половина шеи настолько раздута, что раненому трудно дышать. Но больше всего беспокоит меня коварное, злоеющее дрожание шеи. Не нужно прибегать к помощи стетоскопа, прикосновение ладони определяет это дрожание: будто kloкочущий сильный поток шумит под рукой. Сомнений нет — повреждена крупная артерия.

Лейтенант крепкого сложения: широкая, сильная грудь, полные руки с таким четким рисунком мышц, что

можно изучать анатомию. Иногда раненый подтягивает к животу ноги и в каждом движении чувствуется такая сила, что, кажется, одной ее достаточно, чтобы преодолеть смерть.

Лейтенанта перенесли в операционную.

— Наркоз!

Раненый заснул, тяжело дыша, так как горло ему сжимала опухоль.

Я знаю, что не могу прижать сосуд ниже повреждения, чтобы без опасения оперировать. Знаю также, что после прикосновения ножа море крови может забурлить под руками и ее нельзя будет остановить. И потом... наркоз, а у раненого и без того затрудненное дыхание.

— Зрачки?

— Широкие, — отвечает наркотизатор.

— Снимите маску, вот так...

А лезвие уже пробегает по коже. Вот вздутая вена, которую я пересекаю между двумя нитками. Внимание!

В верхнем углу раны как будто что-то зашевелилось, заколебалось, как мембрана, и сильная струя крови со свистом вырвалась наружу.

Я швырнул скальпель на столик и салфеткой прижал рану. Вслепую захватываю сосуд, останавливаю кровотечение. Однако, сдавливая сосуд, я сдавливаю горло больного, а это становится опасным.

Ищу артерию скорее интуицией, чем следуя точным данным анатомии, определяю эластический жгутик. Но почему он пульсирует? Бросаю взгляд на грудь. Дышит...

— Галина, пульс?

— Слабый...

В таких случаях нервничаешь. Трудно сдерживать себя, сохранить вежливость, такт. Начинаешь не в меру возмущаться по поводу малейшей ошибки помощника, неверного движения или оброненного лишнего слова. В операционной говорит только хирург. Остальные молчат или только отвечают на вопросы.

Теперь я выхожу на поединок. Дело обстоит так: или я спасу человека, или смерть незаметно проскользнет в тело через эту щелочку, которая светится в артерии, и тогда ледяной холод овладеет телом.

— Две ампулы крови! — приказываю сестре Галине Савинок.

Нина Павловна положила скальпель на столик острием ко мне. Не оглядываясь, следя за раной, я шарю по столику и наталкиваюсь на острие скальпеля.

— Чорт возьми! Кто кладет скальпель острием к хирургу!

— Прижмите место, которое я держу, — обращаюсь к ассистенту Ярматовой.

— Зачем же так сильно? Салфетку!

— Осторожно! Препарирую артерию. Подведи нитку! Ах, чорт, неужели нет более толстой нитки?! Я ничего не вижу... Отодвинь руку!

— Пульс?..

Сестра Соловьева нащупывает пульс.

— Не могу подсчитать, очень слабый.

— Быстрее, быстрее!

Я не вижу своего противника. Он не обнаруживает себя ни шорохом, ни криком. Все дело в сроках: я уже около зияющего сосуда, а смерть еще не подошла, она где-то близко, может быть, уже в этой комнате, может быть, она уже коснулась операционного стола. Я должен опередить ее, а когда почувствую, что она уже здесь, в ране, где-то около моих пальцев, я все же должен успеть перевязать артерию.

Говорят: как тонко работает хирург. Верно, именно работает. Это тяжелый труд, это чрезмерное напряжение сердца. Я не слежу за тем, чтобы движения мои были пластичны. Я работаю, борюсь. Я вижу цель, меня гипнотизирует эта щелочка в артерии, и я рвусь к ней, чтобы заткнуть ее, запретить. И когда, наконец, завязываю этот спасительный узел, мне кажется, что это я саму смерть схватил за горло и затянул на нем петлю.

— Не можешь подсчитать пульс? Очень слабый? — повторяю слова сестры. — Я же приказал перелить кровь! Где кровь?

Кровь еще не успели принести. Теперь все зависит от переливания крови. Если успеем сделать, можно надеяться на благополучный исход. Но Соловьева доложила, что ампулы израсходованы. Медицинские сестры несколько раз давали свою кровь, это их все же обессиливало. Пришлось запретить им делать это, ибо могло случиться, что на весь госпиталь работоспособным останется один хирург. У кого же тогда брать кровь?

Сестра из пропускника Катя Уманская, принесшая в операционную чистое белье, подошла ко мне.

— Я дам кровь,— тихо, но упрямо сказала она, закатывая рукав.

Она даже не взглянула мне в глаза. Ее внимание приковал рукав гимнастерки, который был слишком тесен.

Другого выхода не было, и я взял кровь у Кати. Я не мог поступить иначе: лейтенант наверняка бы погиб.

Вены у Кати плохо обозначались, я дважды их колот, но она молчала, устремив взгляд куда-то в окно. Раненый был спасен.

О Кате Уманской стоит рассказать отдельно, и я это обязательно сделаю, ее нельзя забыть.

...Так прошел всего один день. Сколько же таких дней мы пережили! Сколько седых волос украсило наши виски. Сколько ударов судьбы мы испытали, чтобы отстоять жизнь, попранную немцами. Каждый из нас, хирургов, несет большой груз страданий, и они ложатся терпким, нерастворимым осадком на душу.

Но мы спасали раненых, и это окрыляло нас.

12

Когда бои утихли, я часто посещал в палате Аврамова. Однажды я встретил у него разведчика Андрея Чалого, приехавшего проведать друга. В их отношениях чувствовалась глубокая привязанность, какая обычно возникает в бою после жестоких испытаний. Вспомнилось, как Аврамов в бреду кричал: «Боец Андрей Чалый! Боец Андрей Чалый! Я приказываю тебе...»

Я близко познакомился с Чалым. Он все рассказал мне о своем друге, а кое-что я узнал от самого Аврамова.

В один из длинных зимних вечеров, свободных от поступления раненых, я записал все в походную тетрадь.

...Аврамов знал лес, как хозяин знает свой дом. Алтаец и охотник, он никогда не сбивался с пути. Сосна пышнее растет на юг. Ходить можно «по звездам». В дороге примечай горбы, кустарник, чудное дерево: потом это послужит путеводителем. Спички и табак Аврамов обязательно прятал в клеенку, чтобы не отсырели. В тайге он никогда не терпел от холода: разбивал костер,

ложился к нему спиной, перекрывал голову ватником; и спине было тепло, и животу. Он никогда в дорогу не брал припасов, разве только сухари, немного сахара и водки. Остальное добывал. Но то была охота, а это— война.

Уходя в разведку, взял с собою все: сухари, сахар, соль, консервы. Табак запретили брать, но не послушался. Длинными лыжами он не владел так ловко, как широкими и короткими алтайскими, подбитыми «конской лапой». Может быть, это только привычка, но по склонам на них очень удобно ходить.

— На охоте мне всегда везло,— сказал Аврамов напарнику, хлопцу из Запорожья, Андрею Чалому.

— Это когда на зайцев ходил? — улыбнулся Чалый.

— И на зайцев, и на медведей, и на кабанов.

— На зайцев и я когда-то ходил. А как оно с немцем будет? Твои кабаны, те без автоматов по лесу гуляли, — шутил Андрей.

Две белых фигуры бесшумно спускались по склону. Ранние сумерки надвигались из леса, словно там кипятили саму ночь, и из котлов ползли густые сизые пары. Сосны, подрубленные у самой земли, лежали неподвижно, как трупы, загородив дорогу. То место, где поваленное дерево соприкасалось с пнем, угол этот был густо оплетен колючей проволокой, точно так же, как и все срубленное дерево. Несколько таких сосен скрещивалось, образуя непроходимый завал.

Разведчики сбросили лыжи, преодолели препятствие. Ноги скользили по крутобоким стволам, лыжи цеплялись за ветки.

Когда Аврамов и Чалый вышли на озеро, сумерки настолько сгустились, что трудно было разглядеть противоположный берег. Теперь они внимательно изучали местность, каждый выступ и каждую ямку. Берег стремительно обрывался в озеро. На оползнях торчали корни — застывшие в хищном движении лапы. Внизу деревянный короткий мостик обрывался над самым льдом, и дальше видны были только отдельные столбики без перекрытия. От мостика на берег вели круглые ступеньки к дверям какого-то погреба.

Андрей тихо открыл двери. В погребе была такая темень, что ничего нельзя было различить. Тогда Андрей вошел в середину, прикрыл за собой дверь и зажег

спичку. При вздрагивающем свете увидел круглые задымленные камни, между которыми чернели головешки. Над камнями висела деревянная перекидина с крючками. Пахло рыбой.

«Тут рыбу коптят», — сообразил Андрей, погасил спичку и открыл двери.

Аврамов подждал его у входа в погреб.

— Коптильня?

— Точно.

Разведчики присели на ступеньку.

— Бражеские «гнезда» на том берегу. Наше задание — разведать их.

Темень сгушалась.

— Ну, время...

Разведчики одели лыжи и спустились на озеро. Легкий скрип лыж терялся в тонком завывании ветра.

Добравшись до берега, Аврамов прошел вперед и потом на животе пополз к первому гранитному надолбу. Опираясь на верхний неровный его край, разведчик привстал, налег грудью на камень. Выглянул из-за надолба, рассматривая местность впереди. Снег на полянке как будто плавил навалившуюся на него черную глыбу темноты.

Миновав полянку и еще два ряда надолбов, разведчики натолкнулись на проволочное ограждение. Аврамов стал резать ножницами проволоку. Ограждения были сложные, шестикольные. Он расцарапал себе нос и щеки, а на морозе каждая царапинка горит огнем. Чалый разводил перекушенную проволоку в стороны.

Как только ход в ограждении был проложен, две тени скользнули в него, потом поползли дальше между камнями и воронками.

Чувство особой настороженности рождается в разведке.

Люди становятся настолько осторожными, что готовы в присутствии каждого камня усматривать тайный замысел.

Разведчик не верит в пустоту и тишину: это лишь маскировочный халат или другая форма обмана.

Аврамов подполз к камню, выступавшему над траншейным ходом. Здесь, видимо, недалеко есть дот. Андрей Чалый, отстав на несколько метров, торопился догнать

Аврамова. Ветер усилился, и вот уж совсем неуместно луна выглянула из-за туч, осветила снеговую пустыню озера и берег. Продолговатая тень от камня упала на склон. Аврамов стоял в полосе этой тени. Чалый лежал на открытом месте. В тот же миг острый удар выстрела расколол напряженную тишину; Чалый метнулся в сторону: над ним просвистела пуля. Рука Чалого провалилась: рядом оказалась яма в рост человека и он тут же вскочил в нее, втянув голову в плечи.

— Живой? — громким шопотом спросил Аврамов.

— Как будто живой, — ответил Чалый из ямы.

Тогда же Аврамов увидел немецкого часового, стоявшего над траншейным ходом со вскинутым автоматом. Тень от фигуры часового падала на склон. Часовой и Аврамов стояли на одной линии по ходу траншеи, на самом ее краю. С быстротой, свойственной, пожалуй, только таежным охотникам, он выскочил из-за укрытия и свалил часового в траншею. Это произошло так внезапно, что немец не успел даже вскрикнуть и лишь глухо прохрипел. Вырвав у него автомат, Аврамов ударил немца несколько раз по голове. Потом бросил автомат на край траншеи и на локтях выбрался из нее, хотя край был скользкий. Нужно было действовать быстро и решительно. Захватив автомат часового, Аврамов прыгнул в яму, в которой сидел Чалый, и приказал ему приготовить гранаты; еще в траншее он слышал шум приближавшихся людей.

Тучи снова спрятали луну. Но несколько немцев, выскочив из дота, еще при свете луны успели заметить, куда побежал Аврамов. И теперь враги уже расположились в траншее против укрытия разведчиков, приложив автоматы. Аврамов знал, что скоро они бросятся в атаку. Он понимал, что должен опередить их, предпринять что-то, чтобы предотвратить вылазку. Аврамов подготовил гранату и приказал сделать то же Чалому. Воронку от траншеи отделяло всего лишь восемь—девять метров.

По команде одновременно разведчики бросили две гранаты. Прогрели взрывы и тотчас же послышались крики и стон в траншее.

— Вылазь, Андрей! Не отставай теперь! — крикнул Аврамов, едва сдерживая шумное дыхание.

Разведчики выскочили из ямы и, пригнувшись, прячась за пригорками и одинокими деревьями, побежали вдоль траншеи туда, где, как предполагал Аврамов, находился дот. Все произошло, казалось, в одну секунду, даже как-то вне времени. В траншее, в том месте, куда были брошены гранаты, было тихо. Никто больше не поднимался, лишь изредка оттуда доносился стон. Когда разведчики прижались к ледяной бетонированной стене укрепления, они увидели, что к яме, которую покинули несколько минут назад, со всех сторон сбегаются группы немецких солдат. Они окружили яму, стреляя в нее из автоматов. Потом осветили ее карманными фонариками и стали громко ругаться, тыкая пальцами во все стороны.

Аврамов и Чалый притаились. Они могли бы теперь свободно скрыться, но тогда Аврамов считал бы, что задание не выполнено. Шаря рукой по жесткой стене, он нащупал углубление. Это была амбразура дота. Мгновенно он метнул в нее гранату. Лишь теперь разведчики считали, что могут уходить.

Но немцы стягивались из всех ближайших укреплений. Началась беспорядочная стрельба.

Никто не знает, где проходит линия смерти. Найдет ли человека пуля здесь, у этой стены, или через минуту она придет на то место, которое ты покинул. Пусть это называют судьбой. У разведчиков есть свой путь, и этот путь лежит через проход в проволочном заграждении. Они проскочили через него, сползли вниз по склону. Впереди полз Аврамов, за ним Чалый. Потом вскочили и побежали к надолбам. На миг задержавшись у надолбов, услышали за собой погоню. Свистели пули.

Разведчики спешно покидали берег, не отвечая на огонь, чтобы не выдать себя. Ветер усиливался, взвирывал снежную пыль, замораживал дыхание. И без того было темно, а от ветра и снежной пыли слезились глаза. Лыжи они оставили на берегу и не пытались их найти, а теперь на озере проваливались в снег по колено. Сначала они продвигались довольно быстро. Перехватывало дыхание, пересыхало в горле, кололо в боку. Аврамов подбадривал товарища, помогая ему бежать. Позади не смолкали крики, которые, казалось, все приближались. А что, если настигнут?

Сухо трещали выстрелы, словно доска падала на доску. Уже у самого берега Аврамов споткнулся и упал.

Чалый склонился над ним, взял его за руку и пытался поднять его, но это не удавалось. Наконец, Чалый уже было поднял Аврамова, поставил на ноги, но он покачнулся и снова свалился в снег, не застав, не вымолвив ни слова.

— Что с тобой? Слушай! Эй, послушай! — кричал Чалый, брал в руки голову товарища, заглядывал ему в лицо и поправлял зачем-то шапку. Аврамов закашлялся, сплюнул, и на белом рукаве маскировочного халата появилось темное пятно. На секунду Чалый приподнялся. Позади вспыхивали огоньки выстрелов. Поставив Аврамова на ноги, товарищ подхватил его подмышки, взвалил себе на спину и потащил к берегу. Колени дрожали от напряжения, автомат свисал с правой руки, болтался, мешал итти.

Аврамов лежал затылком на плече Чалого, подбородок был запрокинут кверху. Голова ежеминутно сползала с плеча и Чалый останавливался, чтобы поправить ее. «Друг мой, что же это ты так...» — шептал Чалый, чувствуя, как сжимается горло. Крик позади нарастал, словно гнались за ними звери, одурманенные запахом свежей крови. Беда шла по пятам разведчиков. Еще несколько минут и Чалого, обессиленного погоней, настигнут... А уже представлялось, что стоит в землянке, рапортует командиру, а Аврамов рядом только изредка уточняет сведения. И какое счастье, какая радость в груди разведчика: он ведет бойцов по уже разведанным тропинкам, и вот знамя победы — над позициями врага.

— Аврамов, Аврамов! Ну, хоть слово скажи!..

Чалый выше подтянул раненого и снова двинулся в путь, собрав остаток сил. Вдруг он натолкнулся на вмерзшие столбики впереди мосточка, замеченные еще тогда, когда разведчики впервые подошли к озеру. Обремененный телом товарища, он сначала перегнулся назад, но тут же весь напрягся, чуть выпрямился, стараясь не ушибить Аврамова, повалился на левый бок и перетянул товарища на свой правый бок, чтобы Аврамов оставался сверху. Аврамов неожиданно очнулся, попытался подняться сам, но упал.

— Ранили, гады! — прохрипел он, загребая под себя снег расставленными пальцами. Он услышал выстрелы, крики и сразу же к нему вернулась прежняя ясность

мысли. Он приподнялся на локтях и срывающимся голосом, задыхаясь от кашля, сказал:

— Надолбы... Потом заграждение... Помнишь? Потом еще надолбы, два ряда...

Он повернулся на спину и приподнялся, упираясь руками: так было легче дышать.

— Два ряда... Потом доты...

Чалый вслушивался в его неясную речь. Может быть, это бред? Овладев собой, он быстро вскочил на ноги, обхватил грудь Аврамова и понес товарища напрямик к берегу вдоль мостика. Но Аврамов вырывался.

— Стой!

Чалый остановился. Аврамов освободил правую руку.

— Оставь меня здесь. Приказываю!

— Ты бредишь,— умоляюще прокричал Чалый. — Я никогда тебя не оставлю. В автомате еще есть патроны.

Аврамов все вырывался и хрипел.

— Именем Сталина приказываю доложить... о разведке... командиру...

Огоньки выстрелов вспыхивали ближе. Чалый продолжал, надрываясь, тянуть Аврамова, и тот слышал, как тяжело стучит сердце товарища. Тогда Аврамов собрал последние силы и, подавив в себе острую боль, прокричал:

— Боец Андрей Чалый, выполняй приказ!

Аврамов снова вырывался. Стоял, шатаясь под ветром, вскинув кверху руку, сжатую в кулак.

— Нечего... Вместе не дойдем... Боец Чалый!..

Аврамов упал, съежился, зарылся в снег.

Даже на расстоянии двух шагов, покрытый белым халатом, он казался маленьким снежным холмиком. Враг был близко. Чалому казалось, что он уже видит движущиеся тени преследователей. Разведчик бросился вперед, пробежал вдоль мостика и увидел две опрокинутых лодки на берегу. Постоял немного в раздумье, потом вернулся, растормошил снежный холмик, подхватил Аврамова и понес к лодкам. Голова раненого свисала, ноги безвольно волоклись по снегу. Чалый хотел спрятать Аврамова под лодку, но лодки сильно примерзли. Тогда он бросился вверх по ступенькам, ведущим в коптильню. Падал, вскакивал, снова падал. Ав-

рамов время от времени вскрикивал: «Боец Андрей Чалый!»...

Переступив через камни и черные головешки в коптильне, Чалый опустил раненого на землю. Разведчик обессиленно припал спиной к стене, отбросив назад голову. Он часто дышал. Это были минуты, когда он решал: умереть ли вместе с Аврамовым, не отступая, или выполнить приказание старшего? Пусть даже не приказание, а последнее желание, просьбу. Покинуть его здесь в коптильне? Это лучше, чем посреди озера, на снегу, под ветром. Чалый исполнил свой долг перед другом. Честно выполнил. Теперь он должен выполнить свой долг перед частью. А что требовал Аврамов? Сначала выполнить долг перед частью.

Вскоре после того, как Чалый выскочил в коптильню, немцы протопали над его головой по лесной дороге. Крики и стрельба стихли. Андрей выжидал. Нервы были напряжены до крайности, больно сжималось сердце.

Еще полчаса. Снова послышался топот: погоня возвращалась. Потом снова все стихло. Чалый сбросил с себя ватник, укрыл Аврамова и вышел из коптильни. Шел быстро, иногда бежал. Вот он уже миновал полянку, поворот, сосновый завал.

Чалый доставил ценные сведения командиру. Наступление было проведено быстро и успешно. Аврамова ночью взяли из коптильни. С разрешения командира Чалый сам доставил разведчика к нам в госпиталь.

13

Не знаю, что привело Катю Уманскую в наш госпиталь. Она появилась внезапно, гладко зачесанная, с пробором посредине, скромная, молчаливая и скрытная. Она часто искала одиночества. У нее не было подруг, она почти ни с кем не делилась своими мыслями, разве только с Бельским. В обществе старика она была откровенной и искренней.

Позднее мы кое-что узнали о ней. Мы прочли ее письма и письма к ней. Было обидно, что мы так мало знали о Кате и что раньше не смогли заглянуть в ее светлое и чистое сердце.

Матери Катя сказала: «Я не могу оставаться с тобой. Мое место в госпитале».

Поезд увез Катю в бескрайнюю, вспыхивавшую зарницами даль. Мать подумала: «Навсегда!» Впрочем, матери так часто думают.

Катя проработала у нас месяц или два, прежде чем я обратил на нее внимание. Она старалась быть незаметной. Можно было подумать, что она стыдится своей работы сестры и кастелянши. Но я считаю, это была скромность.

Последний раз я видел ее в операционной, когда брал у нее кровь для лейтенанта, перенесшего тяжелую и рискованную операцию.

Прошел срок, и ко мне явился уже выздоровевший этот лейтенант и сообщил, что Катя согласна с ним выехать в часть. Он ее любит, он привязался к ней всем своим сердцем. Вслед за ним прибежал задыхающийся Бельский и, торопясь, рассказал о неуместном «детском капризе» Уманской.

— Ну, куда ей с ее здоровьем? — волновался Бельский. — Это романтический бред, лихачество! — заключил он, не подобрав более точного слова.

Однако Катя была упряма и уговорам не поддавалась. Начальник госпиталя не мог отказать ей в ее настойчивой просьбе. Она выехала в полк с офицером, которого полюбила, чтобы делить с ним боевые невзгоды.

Из Москвы, где жила Уманская, шли в адрес госпиталя письма. Получал их старик Бельский и тут же отправлял Кате в полк. Возможно, между Катей и доктором был сговор: она не пожелала матери сообщить о своей новой службе. Всякое изменение адреса возбуждало бы беспокойство и тревожные догадки у матери.

Со стариком Катя переписывалась. Она писала, что счастлива, что в полку ей повезло, что она довольна, и труд ее в полку более полезен, чем в госпитале.

После одного крупного сражения пришел ко мне Бельский со связкой писем. Их вернули ему из части, где служила Катя. Среди этих писем был один распечатанный конверт, из которого дрожащей рукой доктор вынул густо исписанный листик бумаги и положил на стол.

— Читайте, — сказал он, — читайте! — и опустил голову на раскрытые ладони.

Письмо это на имя Бельского было написано спокойным, ровным почерком. Вот оно:

«Мой друг! Завтра мы идем в бой. Мы стоим в лесу, сейчас тихо на фронте (тишина перед бурей), слышно, как трава растет. Весна в лесу такая цветущая, такая полная. Приятно сейчас ко всему присматриваться, и мелочи приобретают теперь какой-то особый, высокий смысл. Все обращает мое внимание, будто я все вижу впервые и увлекаюсь этим, как ребенок. По руке вот пробежала какая-то букашка. Я с интересом наблюдаю за ней: как она, бедняжка, трудится, чтобы преодолеть складки моей гимнастерки.

Вы простите мое бессодержательное письмо, но завтра начинается бой и я не знаю сама, почему пишу Вам обо всей этой наивной чепухе.

Письма матери, которые Вы пересылаете мне, получаю регулярно. Спасибо, мой друг! Как Вам передать то, что я чувствую: вот любовь матери и этот весенний густой воздух, и крик птиц в лесу сливаются в единое чувство, чувство родной земли.

Я работала среди хирургов. У них в руках инструменты жизни, а на поясах пистолеты. А я все возилась с бельем. Чем больше я вижу страданий, слез, сожженных деревень, тем я становлюсь более сильной. Эта сила от ненависти. И вот завтра я иду в бой, потому что узнала настоящую цену человеческих страданий и должна сделать что-то большое, решительное и сильное».

Прочитав письмо, я сказал, что порой за будничными делами мы не замечаем настоящих людей с хорошим сердцем, с высокими чувствами, а скромность принимаем за будничную серость.

— Вы все прочли? — поднял на меня блестящие от влаги глаза Бельский. — Читайте на обороте.

Тут, в самом деле, была приписка, сделанная другими чернилами и другим почерком.

«Уважаемый товарищ, — значилось там, — я нашел это письмо в кармане медицинской сестры разведроты Кати Уманской. Во время наступления ее тяжело ранили. Я очень огорчен тем, что ее письмо к Вам должно заключить этой припиской, и печалюсь вместе с Вами.

Вас интересуют обстоятельства ее ранения? Поэтому как мы потеряли командира роты, с которым Уман-

ская приехала в часть, она возглавила роту и успешно провела бой. Она проявила себя, как настоящий, достойный командир. Прошу оповестить об этом всех ее друзей. Замполит роты лейтенант Карпов».

14

Наши войска окопались на новом рубеже. В ближайшее время боевые действия не предвиделись. Большую часть раненых мы эвакуировали, остальных отправить не смогли: дороги размякли. Жизнь в госпитале замерла, все напоминало глубокий тыл, хотя до передовой было всего-навсего восемь—десять километров.

Раненые выздоравливали. Они привыкли к госпиталю, как к своей части, и даже вспомнили свои гражданские профессии, привычки, наклонности. Кое-кто начал вытачивать из дерева шахматы, ложки, мундштуки, трубки. Другие изготовляли из алюминия портсигары. Прекрасные это были портсигары! На одной стороне их гравировали посвящение, на другой—Кремль, фигуру воина или орден «Отечественной войны». Появились и другие самодельные вещи: гребни, чемоданы. Сапожники чинили сапоги, плотники взялись за топоры, портные шили гимнастерки, кители, шинели. Портным особенно надоедали сестры с пригонкой шинелей или гимнастерок. Художники рисовали портреты, иллюстрировали стенные газеты, составляли госпитальные диаграммы; они же чертили планы новых землянок, стояков для носилок, которые в бесчисленном множестве изобретал майор Лазарев.

Уголок, где разместился госпиталь, преобразился; всюду появились новые дорожки, посыпанные желтым песком; из кусочков красного кирпича и разных камней раненые выложили узоры и лозунги на клумбах. Избы обсадили елями. При въезде в село установили арку, обвили ее еловыми ветками, украсили портретом Сталина и лозунгами. Для часовых построили будки с зонтами.

Раненые в это время поступали к нам редко. Это были случайные ранения: кто-то попал под артиллерийский налет, кого-то настигла шальная пуля, кто-то не уберется от снайпера или подорвался на mine. Иногда ночью и до госпиталя долетал дальнобойный снаряд.

В один из таких дней пришел к нам посыльный из соседнего села. Он сообщил, что там тяжело заболел колхозник Нечипуренко. Нужна помощь, но нет никого, кто мог бы ее оказать.

Я вызвал Ярматову. Было четыре часа дня. Дни стояли еще тогда короткие, темнеть начинало рано. Фаина Павловна решила идти пешком, полагая добраться засветло. Местность она знала.

Дорогу покрывали прошлогодние желтые листья, как пластырь прилипавшие к ногам. Оголенные ветки деревьев тревожно покачивались на фоне быстро проплывавших туч. На полпути полил дождь. Фаина ускорила шаг. До села оставалось еще три с лишним километра. Она определила это по мостику через речку: он делил дорогу пополам. Можно было продолжать путь по дороге, но была еще другая тропка — напрямик, через высухшее русло реки. Так путь сократился вдвое.

Дождь усиливался, быстро темнело. Ярматова сбилась с тропинки. Направление она знала. Но идти становилось все тяжелее: дождь лил густой и холодный, грязь засасывала сапоги. Трудно было даже передвигать ноги приходилось буквально волочить их по земле; каждый сапог — как пуд. Ярматова сразу же промокла насквозь, по лицу сбегали холодные струйки, затекали за воротник. В темноте забрела в лужу и набрала воды за голенище. Размахивая руками, чтобы сохранить равновесие, едва доплелась к краю русла и медленно стала спускаться вниз, где шумела в темноте вода. Поскользнувшись на мокром камне, упала. Ветка колючего кустарника, за которую успела ухватиться, выскользнула из рук, и Фаина покатила вниз. На дне русла, беспомощно сидя на земле, Фаина закрыла лицо руками, растерялась, испугавшись одиночества, ливня, темноты, но сразу же спохватилась, встала, сказав себе: «Не ребенок же! Как не стыдно!» И побрела дальше по дну русла, выбралась на огороды, где проходила раньше линия обороны немцев (траншеи, ходы сообщения, всюду куски колючей проволоки, разбитые орудия, лошадиные кости, гильзы снарядов). Продвигаясь в сплошной темноте, Фаина вдруг прикоснулась руками к холодной броне танка, возникшего прямо перед ней, и облегченно вздохнула: здесь должен быть где-то забор, а вдоль него — узкий окоп. Фаина Павловна перепрыгнула через

окоп и ухватилась за перекладину забора. Дальше в направлении избы забора уже не было, стояли только столбики с натянутой колючей проволокой. Фаина хотела пролезть во двор между рядами проволоки, но зацепилась и разорвала на спине шинель. С головы до ног забрызганная грязью, с расцарапанным лицом и окровавленными руками, в разорванной шинели, насквозь промокшая, она переступила порог избы.

Здесь было душно, едва мерцал слабый огонек копилки. На стене вздрагивали тени. Кто-то тяжело и шумно дышал в углу.

Больной лежал высоко на подушках на деревянной лаве. У него было возбужденное, красное лицо. Натруженные руки шарили по одеялу, словно искали что-то мелкое: иголку, пуговицу. Дочь колхозника, широколицая девушка, головной шпилькой подтягивала фитиль копилки. Жена больного беспокойно ворочалась на печи, у нее голова была перевязана полотенцем.

— А мы и не думали, что придете. Такой дождь! — сказала девушка.

— Люди болеют во всякую погоду, — отряхиваясь ответила Ярматова.

Девушка потянула фитиль, приблизилась к Фаине и ужаснулась.

— Ой, маминко! Что это с вами?

— Ничего, — Фаина нетерпеливо осмотрела комнату, — где у вас тут можно руки помыть?

Сбросив шинель, она помыла руки. Потом подошла к столу и расстегнула планшетку. Термометр разбился. Тогда она попросила девушку осветить, подошла к больному и взяла его руку. Сто, сто десять, сто пятнадцать ударов в минуту... Больной бредит. Шевельнулась тревога. Взгляд остановился снова на лице больного: воспаленные веки, бьющаяся жилка на висках.

Фаина Павловна спросила девушку:

— Когда заболел отец?

— Дней пять—шесть тому...

Ярматова постояла несколько минут в раздумьи, то расстегивая, то застегивая кнопку планшетки. Потом она быстро осмотрела тело больного. Сомнений не оставалось...

...Когда постучали в мое окно, было уже за полночь. Я дремал. Проснувшись, выглянул в окно, но в темноте

сквозь потоки дождя никого не увидел. Тогда я вышел в сени и открыл задвижку. Тяжело дыша, мокрая, истерзанная ввалилась в комнату Ярматова. Она сказала хрипло:

— В селе Калита тиф.

...На рассвете мы с Фаиной Павловной приехали в Калиту и сразу же направились в избу, где лежал больной.

Я спросил у больного:

— Откуда приехал?

Он взглянул на меня мутными глазами, сухие губы его шевельнулись, он что-то прошептал, но это был беззвучный бредовый шепот. Ничего не ответила нам и жена больного. В избу вошла дочь. Она сказала, что родители ее недавно возвратились из немецких лагерей.

— А кто еще был в лагерях? Кто еще вернулся в Калиту?

Девушка назвала нескольких колхозников. Некоторые жили в соседних селах.

Мы направились сначала к калитянским. Двух не застали дома, а третий лежал на постели, у ног его на коленях стояла плачущая женщина.

В другом селе из пяти колхозников, побывавших в лагерях, четверо заболели, пятый же был здоров, но в лагерях он не был и лишь по дороге в село присоединился к лагерным.

Один из колхозников рассказывал:

— Перед отступлением немцы втолкнули в бараки человек сорок пленных. Они были без ботинок, в одном нижнем белье...

— В белье? А какой вид имели эти пленные?

Они еле держались на ногах, — ответил колхозник, — были заросшие, грязные, а те, что при сознании...

Вспыхнула страшная догадка.

— А были и без сознания?

— Были, конечно. Ползали, кричали, бредили. А те, что были и при сознании, говорю, приехали из больницы.

Теперь все ясно. Простой и коварный расчет. Это был способ, так сказать, «минирования» живых людей. На тифозных больных, по замыслу немцев, должны были «подорваться» наши солдаты и население.

Прежде чем вернуться в госпиталь, я направился к местному фельдшеру. Лука Фомич Гудзий был старый

ротный фельдшер. В 1906 году он вернулся с русско-японской войны и с того времени безвыездно жил здесь. Теперь заведывал фельдшерским пунктом. Лицом он был удивительно похож на запорожцев с картины Репина: круглоголовый, бритый, с отвисающими седыми усами и двойным красным затылком. Его щеки сохранили молодой румянец, а серые небольшие глаза светились хитровой улыбкой.

Лука Фомич принял нас приветливо. Среди односельчан он слыл человеком прямодушным, часто говорил в глаза «неудобную правду», к молодым врачам относился с некоторым недоверием. При моем появлении он тут же позвал меня к висящему шкафчику со стеклянными дверками. Отопнув шкафчик, он снял с полочки коричневую бутылочку с белой наклейкой.

— Одну минуточку, одну минуточку! — Гудзий одел очки в металлической оправе. — Объясните, доктор, что это за медикамент?

Я подошел к окну и прочел надпись: «Монометиловый эфир купреин». Потом отсыпал на ладонь немного белого порошка и растер его кончиком пальца. Фельдшер испытующе следил за мной.

— Хинин, — сказал я, возвращая склянку Гудзию.

Гудзий удовлетворенно крикнул, коснулся рукой моего плеча и конспиративно произнес:

— На этом хинине, знаете, я всех врачей в районе посадил. И Ожерельева также посадил! А вы экзамен выдержали... Мудрая штука: мо-но-мети-ло-вый эфир купреин! А?

Гудзию я объяснил причину прихода. Он насторожился. Сначала не поверил: «Это не тиф, а грипп».

Я без труда убедил его в том, что он ошибается. «В районе, — сказал я, — складывается тяжелая обстановка. Люди ослабели, измотались физически и морально, они гореть будут, как сухой хворост. Понимаете, какая угроза нависла над населением и армией?»

Я рассказал Гудзию о ставке немцев на эпидемию, о том, что они с умыслом послали к нам тифозных больных. Тут же я определил круг обязанностей Гудзия. «Пока с Вами на селе останется врач Файна Павловна, — добавил я, — завтра же мы усилим помощь вашему селу».

Возвращался я домой поздно. Попрежнему стояла плохая погода. Колючие песчинки поднимались с разва-

лин и били в лицо. Я шел против ветра, придерживая шапку, наклонившись вперед; время от времени поворачивался спиной к ветру, чтобы переждать порыв. Улицу затаило серой дымкой дождя. Воздух напоминал взболтанную мутную воду, в которой двигались мириады подвижных капель. Тревожно всхлипывал на пепелище лист железа. Слышался запах горелого, хотя вокруг давно ничего не горело.

Роились взволнованные мысли. Кто это подсчитывал потери войск за 130 лет? Кажется, Кольбе. Начиная с 1743 года, за 130 лет, все войска мира потеряли восемь миллионов человек. Из них — только полтора погибло от пуля, а шесть с половиной — от болезней, больше всего от тифа. Полтора и шесть с половиной! На каком же поле боя гибнет больше людей, какие сражения более жестоки?..

Я вспоминал далее: в русско-турецкую войну от пуля погибло тридцать пять тысяч человек, а от тифа — сорок четыре тысячи. В крымскую — в боях потеряно тридцать пять тысяч, а от тифа — восемьсот тысяч. Нашествия тифа были страшны и жестоки. Французы называли эту болезнь «пятнистая смерть». Немцы все это, конечно, знали. Они не одолели нас на поле боя, теперь хотят задушить тифом!..

Я так углубился в свои мысли, что больше не замечал уже колючего ветра, бившего в лицо. Дорогу расквасило, я брел по лужам, под ногами чавкала жидкая грязь. Черная земля, вспаханная танками, угнетала своей хмурицей, неживой бесконечностью...

Во многих селах уже есть очаги тифа. Если мы не сумеем локализовать пожар, огонь перебросится на другие районы. Всюду стоят воинские части: эпидемия может проникнуть в армию. Нужно изолировать больных, быстро построить бани, дезкамеры. Нужно оборудовать небольшие стационары, установить карантин. И все это — в опустошенных селах, среди развалин и пепла, на сожженной земле.

Я доложил ожидавшим меня начальнику госпиталя и замполиту о положении на селах. Мы разработали план борьбы с тифом, распределили обязанности. Позднее Каршин выступил перед коллективом госпиталя.

— Мы отвечаем не только за благополучие нашей армии, но и за судьбу всех советских людей. Мы за-

щищаем их не только от немецкого нашествия, но и от нашествия «пятнистой смерти», подосланной врагом.

Каршин всегда находил какие-то особенные слова, доходившие до самого сердца, заставлявшие действовать. Он имел чудесное свойство проникать в явления, раскрывать их, и тогда вещи, которых мы прежде не замечали и которым не придавали значения, приобретали сразу же свой смысл. Он мог открыть каждому его высокое призвание, окрылить. Ярматова как-то сказала мне: «Я думала, я только песчинка, так себе, незаметная женщина. А с Каршиным я чувствую в себе такую силу, что, кажется, без меня немцев не одолеть».

Каршин говорил:

— Врачи, сестры, санитары делают для армии так много, что трудно это переоценить. Они спасают раненых, возвращают их к жизни, к борьбе. И делают все это не в уютном уголке, не в пышных стеклянных больничных дворцах, а на фронте, под огнем. Теперь наша задача усложняется, становится еще более ответственной: нужно спасать раненых, но вместе с тем и спасать население от тифа, этого страшного союзника немцев. Это также поле боя. Тут врачи, сестры, все медицинские работники могут понести потери, но это не оставляет советских людей!

Первые дни после обследования деревень пришлось много и лихорадочно поработать. Я начинал свой рабочий день с обхода раненых, потом делал перевязки, операции. С десяти часов читал раненым лекции о тифе, потом отправлялся беседовать в села, инструктировал уполномоченных из числа колхозников по борьбе с эпидемией. К нам приезжали колхозники из окружающих деревень, и мы учили их, как строить временные бани в избах, отливы, дезкамеры. Вопросов возникало много: села ведь сожжены, а в землянке баню не умеючи не построишь.

Нет котлов? Используйте железные бочки из-под бензина. Отливы? Ройте ямы позади избы-бани. Лучше всего пол настилайте наклонно, а не выдалбливайте в нем канавок. Нет избы? Тогда есть сарай, амбар, коровник. Их можно утеплить соломенными матами. Нет сараев, амбаров, коровников? Оборудуйте любую каменную коробку, оставшуюся после пожара.

До глубокой ночи я чертил схемы дезкамер кирпичных, диктовых, железных или схему камеры-землянки.

Вскоре с Каршиным мы выехали в село Калиту. Нас встретила Ярматова. Она имела растерянный вид, озабоченно морщила лоб. Беззвучным простуженным голосом сказала:

— Я мало успела. Можно было сделать больше. Бригадир не торопится с постройкой дезкамеры.

Бригадир колхоза, отряхивая на ходу шапкой солону с колушка, спешил навстречу. Каршин вместо приветствия встретил его вопросом:

— Дезкамеру не построил?

Бригадир развел руками.

— По горло, товарищ командир, занят распиловкой столбов... А дезкамеры — разве это мое дело? Пусть их медицина строит.

Мы остановились около группы крестьян, распилывавших лес. Пахло смолой. Вихрастый парень вслед за пилой вгонял в распил клин, чтоб не задало. Каршин поздоровался с колхозниками. Потом все присели на толстый ствол поваленного дерева. Только Каршин стоял напротив, склонив голову с поседевшими висками и ломал в пальцах щепку.

— А ты что-нибудь о тифе знаешь? — неожиданно спросил у бригадира Каршин.

Бригадир сбил на затылок шапку и, не задумываясь, ответил.

— Да слышал. Чего ж! Сам болел тифом. Только когда я болел, меня лечили. А Ярматова хочет, чтобы я лечил. Так я же не доктор! Еще, может, и порошки мне прикажут толочь?

Помолчал, повел плечами:

— Не умер я от тифа, живой, видите.

— А сосед умер. Ты знаешь об этом? — спросил Каршин.

— Знаю, знаю. Он всегда был у нас слабый, дунешь — упадет.

Каршин присел к бригадиру, локтями оперся на колени.

— Положим, в деревне у вас есть дезкамера, ее построили. Что ты сделал бы с человеком, который развалил бы ее? Ну, что? — спросил вдруг Каршин.

Бригадир подумал и ответил.

— Что? Судил бы, конечно... То-есть, не я, а суд...

— Тогда и тебя нужно судить. Вред для народа один: что развалить, что не построить. А за одинаковый вред, одинаковый ответ. Правильно? — обратился Каршин к колхозникам.

— Правильно, товарищ командир. И мы так думаем, — отозвались крестьяне. — А тиф, что говорить, косит чисто. Ты уж нам помоги с этой камерой. Спасай народишко.

15

Врача Ожерельева я встретил в дверях райкома. Подмышкой у него была книга, из которой выглядывали закладки. Он приветливо помахал рукой и сказал:

— Был на докладе у секретаря товарища Гущина. Стихия! Слепая биологическая стихия!

Я сказал в тон Ожерельеву:

— Бурное море, не так ли? А мы с вами — щелки на волне? Или там челны утлые?

С врачом Ожерельевым мы познакомились у него на квартире. Я приходил узнавать эпидемическую «биографию» района. Всю жизнь Ожерельев провел в селе. Имел домик с верандой, окруженный высоким забором. Жил особняком: не разрешал детям играть с сельскими ребятами. В его библиотеке было больше литературы по птицеводству, чем по медицине: «Птицеводство» Абозина, «Практическое птицеводство» Елагина, еще много других подобных книг.

А во дворе Ожерельев построил курятники, теплые, просторные, защищенные от сквозняков. В курятниках, посыпанных пеплом, сосновыми иглами, сечкой, ходили важные брамапутры, голландки с полными цветистыми гребнями, величественные белые кохинки.

Немцы почему-то не разграбили ферму Ожерельева. Он путанно объяснял это счастливой случайностью и тем, что он «с людьми умеет ладить».

Ожерельев гордился своей врачебной миссией. Речь свою он пересыпал такими громкими словами, как «долг», «честь», «гуманизм», все он как будто делал «во имя справедливости». Однако вырвать его из-за высокого забора на квартиру к больному было делом нелегким, а если несчастье происходило ночью, то он за глаза давал

советы и наобум выписывал рецепты. Новых медицинских книг он не приобретал, пользовался старыми, сохранившимися еще с студенческих лет.

Взяв меня под руку, он сказал шопотом:

— Зем-ле-тря-сение! Бедствие! Нам необходимо принять меры, чтобы помочь тем, кто уже заболел. Разумными мерами мы можем уменьшить смертность, предотвратить же тиф невозможно...

— Почему же? — удивился я.

— А вы иначе думаете?

— Даже поступаю...

Ироническая улыбка заиграла в уголках его рта.

— Следуйте за наукой. Я прекрасный проводник, не подведу.

Ожерельев быстро нашел нужную страничку в книге с изображением диаграммы:

— Вот видите... — Пальцем, украшенным перстнем, он указал на кривую:

— Ноябрь, декабрь, январь... Видите, эпидемия неуклонно растет. Потом март, апрель и только в мае кривая начинает спадать. Теперь март. Понимаете? Май — вот решающий месяц.

— Так было бы, — сказал я, — если мы с вами отказались бы влиять на события.

— А что? Вопреки науке вы хотите доказать, что май — не решающий месяц? Тогда какой месяц вы считаете решающим?

Я пристально взглянул на Ожерельева.

— А тот месяц, когда мы с вами решительно возьмемся за дело.

Через две недели я снова был в райкоме. Секретарь Гущин созвал чрезвычайную противоэпидемическую комиссию и пригласил представителей госпиталя.

Отчитывался Ожерельев. В деревне, где он жил, эпидемия приобрела угрожающие размеры.

— Я не изолировал больных в первые дни заболевания потому, что не мог точно установить диагноз. Этим объясняется вспышка тифа в моей деревне, — докладывал Ожерельев.

— А сколько заболело человек? — спросил я.

Ожерельев сделал вид, что оскорблен.

— Я не на допросе!

— Тогда я за вас скажу,— привстал Гущин,— шестнадцать.

— Я решительно отбрасываю всякие обвинения,— сказал Ожерельев.— Только те, кто не уважает медицину, могут требовать от врача устанавливать точные диагнозы в первые дни заболевания.

Ожерельев сделал паузу, а потом, тщательно подбирая слова, добавил:

— Я не могу на себя принять все то, в чем можно винить медицину. Несовершенство нашей науки ложится тяжелым грузом на наши плечи...

Во мне нарастало возмущение. Перед глазами почему-то возникло утомленное, измученное лицо Фаины, когда она поздней ночью вернулась в госпиталь с вестью о тифе. Едва сдерживая себя, я проговорил:

— Изолировав больного, вы могли сомневаться потом сколько угодно.. Тогда ваши сомнения были бы безвредны.

Неожиданно шумно поднялся фельдшер Гудзий и обратился к Ожерельеву.

— Что вы комедию ломаете? «Наука. Несовершенство медицины», то, другое. Так вы же к больному на восьмой день только явились.

Ожерельев удивленно повел плечами.

— Правда это? — спросил Гущин.

— Я сам тогда болел,— тихо сказал Ожерельев.

Гущин так взглянул на Ожерельева, словно хотел измерить глубину человеческой совести.

Я не выдержал и закричал:

— Ползком, понимаете, ползком, на четвереньках от хаты к хате, доползти нужно было, если идти не могли! Как мы на фронте делаем, если нужно спасти раненого? Вы ищите оправданий своему холодному равнодушию. Шестнадцать человек заболело потому, что вы своевременно не изолировали одного больного. Если человека ударят в спину ножом, ни у кого не возникнут сомнения насчет того, преступление ли это. Ножом вашего равнодушия вы сразили шестнадцать человек! В то время, как вы тут расписываете несовершенство науки, мать оплакивает сына, дочь — отца!

У Ожерельева отвисла нижняя губа.

— Не я заразил их...

— Но вы и не предупредили заражения. Не только действие, но и бездействие — преступление. Положим, не вы лично столкнули слепого человека в пропасть, но это ведь вы не схватили его за руку, не остановили, когда он, незрячий, приближался к пропасти!

Гудзий заметно волновался. Он подавал реплики, суетился. Его возмущало поведение Ожерельева, ибо сам он, Гудзий, каждый новый случай тифа воспринимал, как личное неизмеримое горе.

16

В селе Калита Фаина Павловна поселилась в землянке неподалеку от кладбища, в семье колхозника. Она думала о семье Нечипуренко, которую посетила впервые в тот дождливый вечер. Сначала она пройдет к нему, потом посетит других больных, обойдет село, выберет хату или землянку для изолятора. В село идти нужно через кладбище. Кладбище изрыто воронками, наполненными водой. Над ними вздрагивают одинокие иссеченные деревья, тянутся ветвями за ветром, словно просят не оставлять их здесь, над печальными могилами.

Ярматова вдруг заметила бегущую через кладбище женщину с непокрытой головой. Длинные волосы разметались у нее на лбу, с головы поминутно сползал платок, и женщина на ходу поправляла его. Фаина Павловна узнала Клаву, дочку Нечипуренко. Девушка схватила врача за руку: «Скорее... С отцом плохо. Я уже не знаю, что делать!»

Лицо больного поразило Ярматову неестественным суровым спокойствием. Она приблизилась к больному, коснулась его лба рукой и, сделав над собой усилие, повернулась к девушке. Та поняла и закрыла лицо руками. Фаина Павловна подошла к девушке и взяла ее за плечи. Так, молча, они простояли несколько минут. Было трудно найти то нужное слово, которое могло успокоить. Ярматова утешала девушку чем могла, — своим молчаливым сочувствием, мягким лучом заботы, светившимся в больших черных глазах. Она утешала лишь тем, что разделяла страдание человека.

...Фаина Павловна выяснила, что после немцев на краю села, за кладбищем остались два больших блиндажа, которые можно использовать под изоляторы. Она

направилась туда. Один из блиндажей после дождя был заполнен мутной глинистой водой, второй, размещавшийся повыше, был чист и сух. Ярматова предложила расширить амбразуры, вставить оконные рамы, навесить двери и побелить блиндаж внутри. Так обычно делали в полевых госпиталях: сначала мазали глиной, потом белили. Фаина сама руководила работой. К вечеру подготовили блиндаж, установили в нем гофрированные немецкие печки, поставили лежаки, посыпали пол сосновыми иглами.

Дома Фаину Павловну ждала дочка больного. Девушка еще больше осунулась, побледнела, печальные глаза ее потемнели, уголки губ опустились.

— А с мамой что делать? — спросила Клавдия.

Ярматова предложила немедленно доставить мать в изолятор.

Дождь моросил весь день. Вечером расходился ветер. Вспуганными табунками поднимались над землей желтые прошлогодние листья, взлетали высоко вверх, стлались по земле, припадали к лужам.

Клавдия возвращалась домой через кладбище. Ее одинокую, печальную фигуру бил ветер; влажное платье прилипало к телу, и сама она в этом большом мире, под необозримым небом, казалась маленьким осколком человеческого горя...

Когда утих ветер, Ярматова немедленно направилась в село, чтобы обойти улицы. Она пригласила с собой Наташу, дочку хозяина, сопровождать ее. Обход они начали с противоположного конца улицы, чтобы еще засветло закончить у своей землянки. Быстрая, подвижная, услужливая Наташа знала в селе всех, могла рассказать о каждом множестве подробностей, ни одно событие не проходило мимо нее.

Когда Фаина посещала землянки, ее поразила одна общая для всех черта: какое-то жизнеутверждающее начало, светившееся в людях, которые потеряли все, и уже, казалось, совсем были раздавлены горем.

Гане Паламарчук, чтобы открыть двери врачу, понадобилось перелезть через сундук и печку. Вся посуда Шутова состояла из двух консервных банок. Стародуб спала на земляном полу, покрытом соломой. На всю семью Гаркавенко была одна пара ботинок. Но все это не были обреченные, сломленные, раздавленные мукой

люди. Они не склоняли головы перед бедою и теперь. Они смотрели в будущее, как люди, которые только начинают жить.

Фаину Павловну известили, что заболел колхозник Степан Кошуба. Жил он в землянке один, без семьи. Соседи утром приносили ему воду и пищу.

Ярматова и Наташа направились к нему. Переступив через низкий плетеный заборчик, очутились в темном дворе. Сразу же их обдало ливнем холодных густых капель с потревоженных веток. Они прошли по камням, которые хозяин положил, видимо, для того, чтобы не ступать по воде. Фаина Павловна спустилась по скользким ступенькам вниз. Двери светились неверными желтыми линиями щелей. На стук никто не отозвался. Постучали настойчивей, но ответа не последовало. Фаина Павловна прильнула к щели, но кроме узкой полоски слабо освещенной землянки ничего не увидела. Она отступила на шаг и заметила в дверях отверстие — место выпавшего сучка. Но через отверстие видна была только левая половина землянки, а правую заслонял выступ стены. Ярматова окликнула.

— Кошуба! Откройте, Кошуба!

— Может быть, он вышел, — неуверенно сказала Наташа.

Фаина Павловна возразила:

— Нет, двери ведь заперты изнутри.

Заколотила в двери кулаками, потом толкнула плечом. Засов отскочил, и дверь с треском распахнулась. Ветром в ту же минуту задуло копилку. Фаина Павловна успела заметить только голые ноги сидевшего в углу человека. Наташа испуганно прижалась к Ярматовой.

— Постой, — высвободила та руку, — я достану спички.

Щелкнула в темноте застежка планшетки. В руках Ярматовой вспыхнул желтый огонек. Передала спичку Наташе, и та зажгла копилку.

Кошуба полусидел на топчане в углу, свесив ноги. Вся его обмякшая фигура имела крайне беспомощный вид. Голова была опущена на грудь, на коленях безвольно покоилась кривая рука.

Ярматова подскочила к больному, уложила его. Потом подняла его ноги на топчан и укрыла их одеялом. Достала шприц и впрыснула камфору. Всю ночь проси-

дели Ярматова и Наташа над больным, все не приходившим в сознание.

... Кошуба был минером в партизанском отряде Гущина, нынешнего секретаря райкома партии. Он минировал лесные дороги. Как-то на объезде у взорванного мостика подорвался на mine грузовик с немцами. Погибло восемь солдат. В немецком гарнизоне всполошились. Дорогой этой часто пользовались немцы, по ней из глубинных районов перевозили хлеб, мясо, фураж. Чтобы спастись от мин, немцы время от времени прогоняли впереди себя стадо овец. На этот раз они согнали в Калите шесть женщин, объявили их женами партизан, вместе с детьми впрягли в бороны и погнали по лесной дороге.

Впереди шла жена Степана Кошубы с тремя детьми. Руки у нее были связаны на спине, грудь перехватывал широкий пояс упряжки. С распущенными волосами, в разорванной одежде, окруженная притихшими детьми, босая, она тяжело ступала по дороге, ослепшая от горя, не понимая, куда ее гонят. Позади шли, испуганно озираясь, автоматчики.

После этого никто никогда не встречал жены и детей Кошубы. Подорвались ли они на минах, или их расстреляли немцы, никто не знал. Когда односельчане, пробравшись в лес к партизанам, рассказали об этом Кошубе, он темной ночью с двумя товарищами пришел в районный центр. Там на окраине у одного крестьянина партизаны переждали утро и день.

Вечером двое немцев по улице провели в штаб связанного партизана, на груди у которого висела дощечка с надписью: «лесовик».

Часовой пропустил патруль с арестованным в штаб, размещавшийся в здании сельскохозяйственного техникума. Потом все произошло молниеносно: взрывы ручных гранат, крики раненых. Вся эта история с «арестованным» была затеяна Кошубой. Степану Кошубе в стычке перебили левую руку, он продолжал драться правой, освободил арестованных, сам выскочил из окна и побежал вдоль улицы, прижимаясь к стенам домов. За ним, отстреливаясь на ходу, бежали его товарищи. Все они быстро исчезли в сумерках..

Первые дни болезни Кошубе было тяжело. Он часто схватывался с постели, бросался к двери изолятора. В его воспаленных красных глазах вспыхивала подозри-

тельность. За перегородкой изолятора лежала мать Клавдии. Ее состояние улучшилось, и Клавдия могла неотступно дежурить у Кошубы. Всю свою трогательную любовь к отцу она перенесла на Степана Кошубу. Клавдия как-то сказала Фаине Павловне:

— Я никогда не была сестрою. Что нужно для этого? Ярматова ответила.

— Хорошее сердце, как у тебя, Клава, и ясная голова.

Фаина Павловна дежурила в изоляторе ночью. Несчастье приходит обычно ночью. Среди сна и тишины успокоения бесшумно подкрадывается беда. Подобно всякому хищнику, она подбирается осторожно, чтобы застичь жертву врасплох.

Однажды, когда состояние больных улучшилось, Ярматова заночевала дома. Последние бессонные ночи давали себя чувствовать, появилась вялость в движениях, одолевал сон. У себя в землянке Фаина Павловна упала в постель и сразу же заснула. Снов не видела. Чувствовала только гудение во всем теле. Землянка плыла, вздрагивая в мягком тихом движении.

Клавдии нелегко было разбудить Ярматову. Тяжелые, как камни, слова, наконец, дошли до врача: «Кошуба плохо дышит... Совсем плохо»...

В левый сапог почему-то не входила нога. Фаина Павловна так и побежала, наступая на острый задник, подпрыгивая, как подбитая птица...

В желтом свете площадки землянка казалась глубокой, словно туннель. Полено, потрескивая, догорало в печке.

Есть холодное медицинское определение: «коллапс». Холодный пот покрывает тело, усталое сердце ускоряет бег перед тем, как упасть замертво. Нет ни кровинки в лице, кожа становится белой, почти прозрачной.

Ярматова впрыснула Кошубе камфору, растерла тело, согрела ноги.

— Ближе к печке... Еще... Вот так, — распорядилась Ярматова, вместе с Наташей пододвигая топчан к огню.

Кошуба на миг впился рукой в предплечье Ярматовой, но потом рука его ослабела и безвольно скользнула вниз.

— Не дышит! — прошептала тревожно Фаина.

Полено в печке переломилось, расколосось, и в свете взметнувшегося пламени Фаина увидела неживые, сжа-

тые губы больного. Она схватила его за руки и стала ритмично прижимать их к груди: раз, два! Раз, два!

— Бутылки с горячей водой! — скомандовала она.
— Так, на ноги клади, на ноги!..

Послышался продолжительный вздох, потом другой. Фаина приказала Клавдии сменить ее, продолжая искусственное дыхание, а сама набрала в шприц камфору и ввела ее Кошубе. Пульс выравнивался медленно, как бы раздумывая.

— Дышит! Дышит! — взволнованно проговорила Клавдия.

Пройти к изголовью больного мешали Ярматовой поленья, сваленные у печки. Она наклонилась, чтобы убрать их. Кошуба в это время открыл глаза и увидел Ярматову на фоне пламени открытой печки. Ее лицо было ярко освещено и, казалось, само излучало свет. Запинаясь, он сказал:

— А вы все не спите? Все не спите... Ой, как беспокоим мы вас...

Потом он закрыл глаза, уснул, как человек, укрывшийся от грозы в безопасном месте.

...Кошуба и вдова Нечипуренко выздоравливали. Возвращаясь домой после очередной беседы с колхозниками, Ярматова думала: «Люди обращены к врачам своими страданиями. Но это только сначала. Потом идет выздоровление, радость возрождения. Наташа как-то сказала, что я никогда не смеюсь потому, что врачей всегда окружает горе. Нет, есть времена, когда можно посмеяться, порадоваться...»

И еще: «Акт спасения — это всегда доблесть. Но можно спасать и так, как это делаю сейчас я, встречая беду у ворот. Человек, прошедший только что мимо, и не подумал, что обязан мне жизнью».

Вечерело. Брал морозец. Под ногами лопался голубой ледок. Зачарованные, неподвижные деревья казались высеченными на синей эмали неба. Тишина распростерла над землей свои крылья. Только изредка слышны были отдаленные единичные выстрелы орудий.

Приближаясь к дому, Фаина заметила, что в землянку-изолятор быстро вбежал человек в военной шинели. «Кто это посещает Клавдию в изоляторе?» — соображала Ярматова.

Снутившись в землянку, сказала строго, обращаясь к Клавде:

— Ты бы могла поговорить с товарищем на улице, если это было уж так необходимо:

Кошуба сидел на топчане и улыбался.

— Это вот сын мой, танкист, проездом. Тут его часть недалеко остановилась, он и отпросился на часок к отцу.

У Кошубы радостно светились глаза.

Втайне порицая себя, Ярматова не нашла все же сил, чтобы в эту минуту начать выговаривать сыну Кошубы.

Дома Ярматова почувствовала разбитость. Какие-то видения вставали перед глазами. Она даже протерла глаза, чтобы убедиться, в самом ли деле в степи, в туче пыли мчатся кони, кажется ли ей это?

Утром Фаина не проснулась в обычное время. Раскрасневшаяся, она спала, прижавшись щекою к руке. Наташа хотела поправить ей руку, но прикоснувшись, отпрянула: рука была сухой и очень горячей.

Мы с Каршиным в это время объезжали села. Ожерельев работал теперь старательно. Больных он посещал ежедневно. Это, собственно, была, быть может, своего рода мера самозащиты. Проявляя заботу о больных, он, прежде всего, думал о своем благополучии. Волна эпидемии начала спадать.

Ожерельев писал много докладных записок, у меня нехватало времени читать их. Сегодня он мне сказал: «Злопамятность не свойственна таким честным натурам, как ваша. Нас теперь объединяет общая борьба, общая цель. Вы поддержите меня у властей». Мне стало неловко, я отвернулся.

Мой конь шел торопливым шагом, иногда он спотыкался, но я подхватывал поводья. Конь вздрагивал и сразу же переходил на рысь. Сеялся дождик.

На горизонте появились прерывистые контуры развалин Калиты.

Когда мы вошли в землянку, Наташа сказала тихо:

— Заболела Фаина Павловна... Не убереглась хорошо...

Ярматова лежала на боку. Тяжелые волнистые волосы обрамляли ее смуглое восточное лицо. Мы впервые увидели ее непринужденно распущенные волосы, не заплетенные в строгий венчик вокруг головы. Тонкие ноздри ее чисто вздрагивали, грудь дышала неровно. Каршин

взволнованно потянулся к ней, но в эту минуту она проснулась, спрятала под одеяло руку поспешным стыдливым движением. С лихорадочным блеском и беспокойством в глазах она сказала трогательно и тихо:

— Вы не забыли обо мне, родные... А ведь я вас ни о чем не просила...

И совсем уже трогательно добавила:

— Теперь выручайте меня...

17

После форсирования Днепра на участке севернее Рогачева наш хирургический полевой госпиталь бросили на плацдарм за реку. Мы развернулись на острие клина (плацдарм имел вид клина, основанием обращенного к реке), в селе Липа, вблизи станции Тошица. Днепр остался позади. Войска подошли к реке Друть.

В селе Модоры мы увидели первых военнопленных, взятых при прорыве.

В село Липа вернулась выздоровевшая после ранения сестра Люба Фокина. Она прихрамывала (не долечившись, выписалась из госпиталя). Я укорял ее, но она только пожимала плечами и говорила, что нога вовсе не болит. Она через силу выпрямлялась, стараясь не хромать.

Липа принесла нам новое испытание. Мы эвакуировали раненых на Пропойск. Шоферы автоколонны небрежно замаскировали фары, и немецкий самолет их обнаружил. Он сбросил бомбы на село. Бомбы взорвались в районе перевязочной, сортировки и кухни.

Слышу крики, бегу в перевязочную. На дороге лежит крестьянская девушка, на обочине дороги — нога в ботинке, в продранном шерстяном чулке. В дверях перевязочной столпились люди. Какой-то красноармеец нес на плечах молодого парня с запрокинутым бледным лицом.

Едва успевал оказывать помощь. Но вот из кухни принесли Червякову. У меня упало сердце. Червякова! Вы, наверно, помните ее, нашу чудесную повариху, которая умела всем угодить на сортировке, посещала в палате раненых с газовой инфекцией, после трудного дня просиживала часами у раненых? Ее положили на операционный стол. У меня давно не дрожала рука; это была профессиональная выучка, дисциплина нервов, и, если

хотите, обостренное чувство долга. Но когда я увидел рану Червяковой, руки мои дрогнули. Правая глазница была пустой. Пробитый лоб зиял страшной мертвой глубиной. Дыхание Червяковой отдавало особым запахом отравленной влаги, какой я часто улавливал у умирающих. Еще один удар судьбы...

Ночью привезли пленного фашиста оберлейтенанта Вооса. Он дал ценные сведения представителю штаба армии о прибытии свежих резервов, артиллерии и новых видов вооружения. Он показал также, что бронепоезд, который часто беспокоил нас, имеет стоянку на станции Быхов. Дрожая, он рассказал о дислокации частей и, уже совсем расстроившись, вдруг запросил пощады, повторяя, что где-то, не то в бурге, не то в дорфе, есть у него старушка мать.

Представитель штаба, покидая госпиталь, просил оказать раненому немцу помощь. Но у меня перед глазами стояла Червякова с изуродованным лицом. Я не нашел в себе силы исполнить просьбу представителя штаба. Операцию немцу сделал мой помощник.

На плацдарме мы не всегда чувствовали себя удобно. Впереди нас, справа и слева стояли немцы. Они вплотную подошли к берегам Днепра. Несколько раз они пытались прорваться на дорогу Рогачев — Могилев в нашем тылу. А по ту сторону дороги — непокорный Днепр, разлившийся, заполнивший всю пойму, снесший все мосты. У переправы по двое — трое суток простаивали автомашины, обозы, доставлявшие на плацдарм продовольствие, фураж, боеприпасы. Паром не успевал переправлять транспорты.

На моих глазах однажды мутный поток сорвал паром вместе с людьми и машинами и понес вниз по течению к Рогачеву, занятому немцами.

Модоры ежедневно обстреливались. Поразила одна подробность. Во время обстрела я верхом проезжал по улице. У входа в госпиталь на песке какой-то легкораненый выкладывал звезду из осколков кирпича и цветных стеклышек. Он и не пошевелился, когда за первым взрывом последовали второй, третий, продолжал выкладывать камешки и делал это сосредоточенно, аккуратно, любовно оглядывая выложенные линии.

Казалось, мы жили на острове, оторванные от целого мира. Но мы продолжали свою работу.

В Липе мне особенно запомнились раненые Сохин и Калюкин. Сохин находился у нас всего трое суток, но каждое его движение, черты лица, взгляд — все в нем сразу же стало давно знакомым и близким.

Когда умирает близкий человек, которого много лет знаешь, он еще как бы продолжает в тебе жить. Все протестует против того, что его уже нет. Есть инерция жизни, когда человек настолько жив в твоей памяти, весь со своими привычками, манерой ходить, интонациями голоса, улыбкой, работой, и не представляешь, что он ушел навсегда. Если бы кто-нибудь попробовал убедить меня, что Сохин умрет, я мог бы с этим согласиться как врач, но не больше. В последнюю минуту он держал в руках карту, смотрел на нее и шевелил губами, словно разговаривал сам с собой. Он смотрел на мир, который переставал для него существовать. Дрожащей рукой старался он нанести на карту черточки и линии. Он сопротивлялся. Его сухие, темножелтого цвета бедра с застывшим рисунком вен были покрыты страшными ожогами. Землистое лицо, желтушные глаза, сухие сморщенные губы подсказывали плохое. Но у койки Сохина я представил себе, как он, мускулистый, крепкий человек, вскочил и бросил бутылку с горючей смесью в бронированное чудовище. Потом еще, и еще. Размахнувшись последней бутылкой, он неожиданно задел ею свою саперную лопатку, висевшую на поясе, смесь вспыхнула и жадные языки пламени распозлись по всему телу.

Я представил себе это единоборство: танк и человек! И Сохин победил танк. У него были основания даже в последние минуты чертить линии на карте. Он победил танк, он сможет победить и смерть!

Сохин когда-то писал стихи. Его тетради лежали между топографических карт в планшетке. Я сохраняю их как память о гневной и чистой душе советского воина.

«Тебя защищал я, твой берега,
Кровли твои и твою революцию.
Живым я не сдамся на милость врага,
А мертвые не сдаются!..
...Но мы пробьемся сквозь вражьи ряды
И сквозь огонь. Дрожите!
Мы с неба спустимся и из воды
Поднимемся, чтобы не жить вам!

Мы встанем из камня, с земли, из стен,
Мы следовать будем за вами, как тень,
И мертвые встанут..Священ этот гнев!
Костями вас задушат, сожгут в огне!»

Рядом с Сохиным лежал шофер Калюкин с воспалением легких. Его хорошо знала вся армия. О его подвигах говорили всюду: в штабе армии, в госпитальных палатках, в окопах и на привалах.

...Калюкин повторил приказание. Сделал это не только потому, что так требовал устав, а чтобы яснее усвоить смысл приказа.

Поднял глаза и увидел: в долине, через которую проползало шоссе, окруженное лесом, шел бой. По эту сторону шоссе, на открытом плато, лежали наши бойцы. Они вели огонь по противнику, находившемуся по ту сторону шоссе, в лесу. Противник был хорошо укреплен и замаскирован. Наши наступали под прикрытием артиллерии. Но с того момента, когда замолкла артиллерия, прекратилась и атака. Замолкла же она как раз в то время, когда нужно было продолжать наступление, когда нельзя было терять ни одной минуты. Прекращение артиллерийского огня застало пехотинцев на открытом, незащищенном месте. Враг учел это и перегруппировался, чтобы пойти в контрн наступление. Немец понял, что у пушек нет снарядов. Над полком нависла смертельная опасность.

И вот шофер Калюкин получил приказ. Разве он не знает, что идет на верную гибель? Как можно провезти на грузовике боеприпасы по шоссе, пересекающему линию фронта?

Калюкин отковырял, шелкнул каблуками и направился к машине. У него не было времени думать о постороннем, а посторонним было все то, что не было связано с выполнением боевого приказа.

Подошел к машине, поднял капот мотора, проверил что-то, потом вскочил в кабину и нажал на стартер. Мотор ритмично загудел. Пока в кузов грузили снаряды, Калюкин протер лобовое стекло кабины, потом боковые. Цитровое стекло примораживалось. На стекле возникали чудесные листья, выгибались удивительные ветки, вырисовывался сад. И Калюкин, на минуту прикрыв глаза, увидел свой Краснодарский край, где работал в колхозе шофером, цветущий край, покрытый кучерявыми садами,

плодоносными полями, сочными зелеными лугами, пересеченными серебряными живыми реками. Так остро, так необычно сильно почувялась Родина...

— Готово! — сказал старшина, поднимая задний борт и привязывая брезент к кузову.

Машина медленно выползала на шоссе. Калюкин не обернулся ни разу и не знал, что на его место стала новая полугоратонка, а за нею — еще и еще...

Калюкин более ничего не видел, кроме извилистого шоссе. Два огненных вала перекрещивались на шоссе, и он должен был промчаться сквозь них, ибо других путей не было. На шоссе скрещивались пули и снаряды, осколки бомб и мин.

Шофер прижался к баранке руля. Предельная скорость. Он, казалось, слился с рулем. Перед глазами, подобно назойливому маятнику, ходил по стеклу снегоочиститель, он как будто отсчитывал секунды.

Около моста шоссе поворачивало параллельно линии фронта. Через мост машина пролетела в снеговом вихре, в молочной буре, на минуту заслонившей шоссе. Грузовик дрожал, подбрасывался на выбоинах, пролетал дальше, и за ним вырастала туча снега. Когда он проскочил мост, кабина была в нескольких местах уже пробита пулями.

Сначала Калюкин так и не понял, почему у него слетела шапка. Он и не пытался снова надеть ее и только резким движением смахнул ее с баранки.

Быстрее! Быстрее! Стучало сердце. Еще пятьсот — шестьсот метров — и поворот, и берег, и жизнь!..

Он слышит, стрельба слева усиливается. Это стреляют по нем. Вдруг машину бросило в сторону. Что-то ударило позади. Он оглянулся и через заднее стекло кабины заметил, что отвалился борт. Выпали несколько ящиков, но остальные крепко удерживал брезент.

Калюкин увеличивал скорость. Дорога летела навстречу. Еще двести — триста метров. Вот последние метры. На повороте он не рискнул замедлить скорость: здесь легче врагу сосредоточивать огонь. Машина накрепко наехала на поворот только на двух боковых колесах. И только тогда, когда поворот остался позади, Калюкин затормозил, машина пошла спокойнее. Он вздохнул, сплюнул в разбитое окно.

Артиллерист-наводчик пожал шоферу руку и сказал: «Ну и молодец, Калюкин!» А Калюкин улыбнулся, на-

дел шапку, все еще не замечая, что она прострелена, и пробормотал что-то. Его смущала похвала.

Получив боеприпасы, артиллеристы открыли огонь. Бойцы снова поднялись в атаку. Немцы отступили, бросая оружие. Бойцы пересекли дорогу, которую только что проскочил Калюкин, углубились в лес и захватили укрепления.

Возвращаясь в часть, Калюкин по дороге подобрал несколько раненых, а когда приблизился к тому месту, где был мостик, мостика не оказалось. Здесь стоял часовой.

— Где же мост, товарищ?

— Взорван.

— Кем взорван?

— Минирован был, — спокойно ответил часовой. — Мы видели след твоего колеса: он прошел на одну ладонь от мины.

Когда Калюкин прибыл в часть, командир показал одиннадцать груженных снарядами грузовиков, которые предполагали послать один за другим в случае, если первую машину расстреляют. Командир считал, что хоть одна, но прорвется. К счастью прорвался первый грузовик — Калюкина.

...На плацдарме появились тяжелые танки. Подходили нескончаемые колонны разных родов войск. Явно чувствовалось приближение нового наступления.

Первые выстрелы начинавшегося боя я услышал бессонной ночью в госпитале Устинова.

Хирург этого госпиталя капитан Сабкевич заболел. Мне приказали заменить его. В действительности же мы работали вдвоем. С историями болезни в руках Сабкевич ходил по лесу, хромя, волоча опухшую ногу. Ему было трудно стоять за операционным столом, но он все же работал сряду двое — трое суток.

Около перевязочной ко мне подошел боец, которого я сначала не узнал. Он улыбался, показывая перевязанную левую руку:

— Опять к вам попал. Вы, наверно, забыли меня?

Когда он заговорил, я узнал его. Это был Сабуров, который лечился у нас еще в Большой Зимнице.

— Как же! Помню, помню! «То, что медицина прикажет, все выполню».

— Да, да! — он весело засмеялся.

Тут же Сабуров подал рапорт. Этот документ стоит привести полностью.

«Рапорт.

Я не знаю, зачем лежу в госпитале. Рана у меня ерунда, дай бог всем раненым. Не просить же товарищей, чтобы они повременили, не воевали, подождали меня. Прошу поэтому командование уважить просьбу Сабурова Константина Ивановича 1912 года, Свердловской области, и направить меня в часть.

Смерть немецким оккупантам!

К сему расписываюсь, Сабуров».

19

В стремительном течении проходили дни. Ожесточенные бои не прекращались.

В один такой день к нам прибыл командующий. Он появлялся всюду и всегда неожиданно, его можно было ждать каждую минуту. Я отрекомендовался. Он приказал сопровождать его. Но с ним приходилось не идти, а бежать. Высокий и быстрый генерал-полковник ходил с необыкновенной скоростью.

В палатке, где лежали раненные в живот, генерал заметил на тарелке кусок сала. Прищурился, как бы хитрой улыбкой, спросил, разрешается ли раненым в живот есть сало.

— Нет, не разрешается. Это порция дежурной сестры, товарищ командующий!

Генерал все замечал, все видел, ни одной мелочи не пропускали его острые глаза; я даже тайком прикрыл ладонью то место на шинели, где нехватало пуговицы.

Перед приездом командующего я посетил раненого генерала Мохина. Он лежал в отдельной избе на опушке. Сестра подавала ему воду. Он нервничал.

— Теплая! Я просил холодной!

У сестры он все выпытывал, где адъютант его, жив ли.

Сестра убеждала, что адъютант жив, когда взорвалась мина, он был в другом окопе, и тут же без паузы продолжала: «А воды вам недъзя холодной. Врач приказал вас чаем поить».

Генерал искренно любил своего адъютанта. Тот сопровождал его всюду, во всех боях. Он несколько раз опасал жизнь генералу.

Командующий спросил у меня о здоровье Мохина, и мы прошли к избе на опушке.

— Ваша дивизия прекрасно дралась, — сказал командующий, пожимая руку раненому генералу.

Это не было только желание сказать приятное раненому. Генерал, действительно, с исключительной смелостью вел свою дивизию. Дивизия прославилась в последних боях, и ее отметил приказом Сталин.

Слова командующего тронули генерала до слез.

— Я прошу вас об одном: дайте ей хорошего командира. Она стоит этого...

Он говорил о своей дивизии, как о родном и близком человеке.

Он сделал движение в постели, пытаюсь привстать, но лицо его перекошилось от боли. Он прищурился, как бы вспоминая что-то, потом спросил:

— Вы ничего не слышали о моем адъютанте?

Генерал испытующе посмотрел на командующего, он почувствовал, что от него что-то скрывают.

— Об адъютанте? Как же, слышал... Ваш адъютант жив, — ответил командующий и отвел глаза, которые не умели лгать.

20

Прорвав вражескую оборону на реке Друть, наши войска продвигались вперед. Расстояние между госпиталями первой линии и передним краем молниеносно увеличивалось. Лавина танков, кавалерии, пехоты катилась на Запад, за Бобруйск, по дорогам к Минску, обтекла его и покатила дальше вперед — к Столбцам, Народицам, Волковыску. Позади, в глубоких и ближних тылах, оставались обойденные немецкие соединения, и тыл становился фронтом.

Под Минском связь между медсанбатами и дивизиями обрывалась. Один медсанбат так отстал от своей дивизии, что все уже считали его погибшим и приступили к формированию нового. На всем пути продвижения войск в глухих селах, в лесах оставались небольшие группы врачей с нетранспортабельными ранеными.

Немцы шныряли вокруг госпиталей. Штаб санитарной службы ночью охраняли врачи. Армейский хирург полковник Коженков был разводящим. Часовыми стояли

армейский терапевт подполковник Франкфурт, эпидемиолог подполковник Хованский, токсиколог подполковник Зайцев.

В лесах не смолкали перестрелки, немцы стреляли из засад или просто выходили на дорогу и завязывали бой с каким-либо небольшим отставшим обозом или тыловой группкой.

На одной подводе мы перевозили аппаратуру кабинета лечебной гимнастики. На первый взгляд, это был странный и непонятный груз: миниатюрные лесенки для тренировки пальцев, подвижные фигурки из дерева на веревочках, гладко отструганные палочки и пирамидки. Все это производило впечатление передвижного киоска детских игрушек. Методистка лечебной гимнастики Грошева сопровождала этот удивительный транспорт. Подвода у всех вызывала удивление. На запад шли танки, катюши, тягачи с орудиями, автомашины, и вдруг... воз с игрушками, вызывавший любопытство у всех сельских ребят.

Вокруг, куда ни глянь, были разбросаны трупы немцев. Они лежали на обочинах, поперек дороги, у подорванных танков, среди обломков разбитых пушек.

Ночью мы приехали в село Ольшаны. Случайно вперед вырвались две машины из состава нашей колонны — замполита и моя. Было двенадцать часов ночи. Вооруженные автоматами и гранатами, мы пошли расспрашивать дорогу.

Несколько изб оказались пустыми. В избе на окраине двери были заперты изнутри. Мы постучали, но никто не откликнулся. Мы постучали сильнее. Наконец, нам открыла двери женщина с застывшим страхом в глазах, бледная, трясущаяся.

— Как называется село?

Она пристально взглянула на нас.

— Ольшаны...

Мы вошли в избу.

— Немцы были здесь?

Глядя на нас в упор, она тихо сказала:

— Ушли только... в хате все чисто забрали и вот, видите, мать кончили...

Худой рукой она показала в сторону печки. Я навел луч карманного фонарика и увидел на полу труп ста-

рухи. Она лежала на спине, разбросав натруженные, коричневые руки...

По дороге в соседнее село в трех километрах от Ольшан нас обстреляли. В этом новом селе натолкнулись мы на сельский патруль. Он состоял из хромого деда и одиннадцати—двенадцати ребят в возрасте до двенадцати лет, до зубов вооруженных трофейными винтовками, гранатами, обвешанных пулеметными лентами, в немецких пилотках и мундирах. Дед оказался ветераном двух прошлых войн, ребяташки его были подтянуты и вымуштрованы.

— От бродячего зверя обороняемся, — сказал дед. — Моя гвардия такой огнеспальный шум поднимает, что немцы мимо бегут, а к нам не жалуют.

— Мы у вас заночуем, — сказал деду замполит.

Тот пожал плечами, улыбнулся:

— Ночуйте, а на случай нам поможете.

На окраине села прозвучали короткие залпы.

— Что это?

Быстроглазый мальчик ответил:

— Это, товарищ командир, наши сельские стреляют, немцев пугают.

— Когда стреляют, они в село не поткнутся, — объяснил дед. — Сегодня видели, как в трех километрах в лесу расположился отряд немцев. Они выставили часовых и пулеметы, купались и, видно, собирались заночевать. Однако в село ни один не заглянул.

Мы остались в селе и провели ночь, бодрствуя и считая себя зачисленными в дедово войско. На рассвете пошла наша автоколонна, и мы двинулись дальше.

21

Неподалеку от Столбцов дорога раздваивалась. Тут мы встретились с разведчиком Аврамовым, которого лечили еще в Большой Зимнице. Мы тепло с ним поздоровались.

— Как видите, воюю! — сказал он. — Хорошо в госпитале было жить, а тут просторней!

Только вчера наши части прошли через Столбцы. Дорога в Столбцы была тяжелой, трудно проходимой: в выбоинах и песок зарывались колеса автомашин, кругом холмы, а ги, на поперечно уложенных стволах де-

ревьев машины ежесекундно подпрыгивают, вытряхивая душу.

Недоезжая городка, моя машина остановилась: что-то испортилось. Шофер приступил к ремонту, а я взобрался на холм, с высоты которого увидел разрушенный город. Развалины еще дымились. Взорванный мост через реку напоминал искалеченное ископаемое чудовище, добравшееся до реки и опустившее в воду голову, чтобы напиться.

Запах горелого, доносившийся из опустевших улиц, свидетельствовал не только о гибели тихого городка, а и мира сказок, в котором жила десятилетняя Тамара. Это было лет восемь тому назад. Я приехал в Столбцы в качестве командированного и остановился на несколько дней в семье местного железнодорожника. У меня было много свободного времени и я проводил его с маленькой дочуркой хозяина. Голубые, ясные, ласковые глаза, в косички вплетены ленточки, на кармашке фартучка вышита красная роза...

Мы рассказывали друг другу сказки, состязаясь в фантазии. Без конца мы выдумывали небылицы, это было приятно и смешно. Когда я рассказал ей только что выдуманную сказку о том, что чудовище с лапами краба, головой тигра и туловищем змеи выползло из печи, чтобы убить маленькую девочку Тину, Тамара спросила:

— А когда это?

— В двенадцать часов ночи, — ответил я, не зачумываясь.

— Я так и знала! Все чудеса бывают в двенадцать ночи.

— И в ту же минуту, — продолжал я, — прилетел голубь, добрый волшебник, тот самый, которого вскормила маленькая Тина. У чудовища было одно уязвимое место на спине, голубь клонул в это место, и тут же чудовище скорчилось, свернулось, скрючилось и поползло назад в печь, а там превратилось в дым и вылетело в трубу.

Тамара вздыхала облегченно и смотрела на меня глазами, полными слез. Все-таки победил добрый волшебник, и она, счастливая, обрадованная, благодарила меня за это.

Как-то я спросил у Тамары:

— А кем бы ты хотела быть, добрым волшебником или злым?

— Добрым.

— Почему? Не потому ли, что добрые всегда побеждают? Ты хочешь только побеждать?

— Нет, — сказала Тамара, — плохо быть злым. Это даже ужасно. Никто тебя не любит... Плохо!

И вот судьба меня снова забросила в этот городок, некогда чистенький и аккуратный, с красивыми домиками, ровными вымощенными улицами и подстриженными деревьями. Это милое воспоминание о девочке вспыхнуло, как отсвет над пепелищем...

Мы пришли в город.

Справа и слева возвышались трубы, как надмогильные памятники. Террасами поднимались разрушенные стены с темными, зияющими провалами окон. В уцелевших домах было мертво и пусто.

Еще сегодня ночью прилетали немецкие бомбардировщики. Вначале они пытались разбомбить на станции свои же эшелоны, оставленные при поспешном отступлении. Потом они набросились на охваченный пламенем город, беспорядочно сбрасывая бомбовый груз.

Улицы безлюдны. Только изредка проковыляет старушка с мешком или пройдут несколько человек с гробом на плечах. В гнетущем молчании вдруг послышится шипение догорающей деревянной рамы или грохот падающей колоды. Из старого колодца доносится отчаянное мяуканье котенка, напоминающее плач ребенка.

Сердце сжимается, хочется скорее оставить за собою этот город смерти и мчаться вперед и вперед, изгоняя уже бегущего врага. Но вот к нам подбежал мальчик и, задыхаясь, сказал, что в местной больнице лежит раненые, а врачей нет. Мы сразу же направились в больницу. Наступающие части прошли этот город и уже были далеко впереди. Однако вокруг еще вспыхивали небольшие стычки, немцы нападали на обозы, на оставших солдат. Здесь еще не было госпиталей, и раненые направлялись в местную больницу, среди развалин которой чудом сохранился небольшой каменный корпус. На крыше и вокруг дома было множество неразорванных мин, сброшенных с самолетов. Население, опасаясь бомбардировки, покинуло город. Раненые остава-

лись в уцелевшем корпусе больницы, терпеливо ожидая.

Пустой коридор. В палатах опрокинутые кровати без матрацов. В крайней комнате на белом столике одиноко стоит микроскоп. В конце коридора натолкнулся на раненого в шинели с шиной на правой ноге, перехваченной поясом и полотенцем. Он полулежал на полу, приклонившись к стене.

— А где другие? — спросил я.

— В подвале, внизу.

На лестничной площадке было уже темно. По каменным, очень узким ступенькам спускаюсь вниз. Я еще не вошел в подвал, а уже почувствовал запах гнилой влаги, проросшей прошлогодней картошки и жженного угля. В дверях, ведущих в подвал, увидел девушку, которая назвала себя сестрой.

— Совесть потеряли! — закричал я. — Где ваши врачи? Удрали?!

Девушка стояла молча, но глаз не опустила. Это еще больше злило меня. Я вошел в подвал. Сумрачные своды слабо освещались копилкой. На матрацах лежало около тридцати человек. Я поздоровался с ними. Я узнал, что сестра, на которую я набросился, во время бомбардировки сама перевела раненых в подвал, волочила на себе по крутым и узким ступенькам. Она оказывала медицинскую помощь, варила раненым картошку. В то время кругом уже бушевало пламя, из окон сыпались стекла.

Сегодня девушка начала переводить раненых обратно в палаты, но оступилась и повредила себе руку. Она успела перенести только одного раненого, которого я и увидел в коридоре больницы. Узнав, что прибыл госпиталь, раненые приободрились, весело перекликались, кто-то даже затянул песню.

Я вышел из подвала, быстро обошел весь дом, осмотрел его. Всюду уже суетились наши, готовясь развернуть госпиталь. Девушку я нигде не встретил.

Лишь через несколько дней, обходя раненых, в одной из палат я увидел ее, окруженную бойцами, горячо пожимавшими ей руку.

— Тамара ухаживала за нами во время бомбежки, — сказал высокий раненый в госпитальном халате, — а теперь пришла проведать...

Я посмотрел ей в лицо и вдруг почувствовал что-то неясное, еще неосознанное.

Несколько виновато я сказал:

— Моя совесть не совсем чиста перед вами. Я должен благодарить вас, а на самом деле обругал. Вы меня простите.

Она подала мне левую руку (правая была перевязана) и сказала, смущаясь:

— Тамара.

И тут внезапно озарился в памяти давний, полузабытый образ девочки-сказочницы, выдумщицы.

— Тамара! Родная! — воскликнул я.

Она посмотрела мне в глаза, еще больше смутилась и вдруг зарыдала, видимо, вспомнив.

Мы вышли на улицу, присели на камень. Вокруг высились обгоревшие стены, трубы печей. Освещенные закатом, они, казалось, еще горели неподвижным холодным пламенем. В пепле светились красным светом огоньки, возможно, это были осколки стекла, посуды. По мостовой на запад, в переливы красок, в трепетное мерцание заката шли наши бойцы. Они казались богатырями из сказки, призванными уничтожить страшного зверя с лапами краба, головой тигра и туловищем змеи.

И эти прозрачные краски заката, и чудовищные формы развалин, и кровь, и душная пыль пепла, и эта трогательная девушка на камне, — все было из страшной сказки нового времени, вдруг ставшей правдой. Мы долго молчали...

В Столбцы успела прибыть только третья часть нашего госпиталя: три врача, несколько сестер; материальная часть, продовольствие, палатки — все это в нашей группе было очень скромным. Основная часть госпиталя подтягивалась. До госпиталей первой линии было более ста километров, до тыловых госпиталей — до двухсот пятидесяти. Мы были в центре, так сказать, «госпитальной пустыни». А бои и на основной линии фронта, и в тылу с обойденными группами врага, все разгорались. Раненые к нам попадали и с передовой. Их на машинах везли в медсанбаты, но в это время медсанбаты снимались и продвигались дальше. Тогда раненых везли туда, где только что стоял полевой госпиталь, но он также уже продвигался за наступающими дивизиями. Раненых везли дальше в один из тыловых госпиталей.

Всех раненых мы принимали в наполовину сожженной больнице. Здесь могли разместиться лишь пятьдесят — шестьдесят человек. К нам поступали не только раненые бойцы, но и партизаны и гражданское население.

Куда же класть раненых? Как организовать им помощь? Минуты решали судьбу людей, и мы не могли выжидать. Доктор Бельский останавливал все случайно проезжавшие по улице подводы и мобилизовывал их на перевозку раненых, доставку продуктов, строительных материалов.

Он делал это с экспрессией, многословно, вступал с повозочными в подробные медицинские разговоры, пересыпая речь свою латинскими терминами, и удивлялся, когда его не понимали. Тем не менее, повозочные покорно следовали за ним. Они улавливали главное: есть раненые и их нужно везти или для них нужно что-то привезти.

В это время нам прикомандировали врача Савченко, неуживчивого человека, не удержавшегося ни в одном из госпиталей более двух месяцев. Это была прямая противоположность Бельскому. Теперь он меланхолично наблюдал, как работали другие. Когда ему предлагали что-либо сделать, он отказывался, мотивируя состоянием здоровья. Он с таким высокомерием и гордостью говорил: «Я болен», как будто это было его личной заслугой или добродетелью.

Найти среди развалин приют для раненых было почти невозможно. Пришлось использовать подвалы взорванных домов. Иногда случалось, что потолок под грузом обрушившихся этажей начинал прогибаться, и это вынуждало нас со всем своим имуществом и ранеными переезжать на новое место.

Под окнами валялись трупы убитых немцами при отступлении коров и лошадей, кучи мусора. Нужно было все убрать, раздобыть доски, солому для матрацов, в подвалах построить нары.

В разрушенном городе оставалось всего несколько стариков и старух, бродивших одиноко на пожарищах. Некоторые из них приходили помогать нам.

Четверо суток работали мы без сна, без отдыха.

При свете коптилок оперировали раненных в живот и грудь, останавливали кровотечения. Вот-вот мог взор-

ваться эфир от обнаженного огня. Глаза от длительного напряжения плохо различали ткани.

Я редко ругался за операционным столом. Теперь же меня раздражало абсолютно всё. В наставлениях я пользовался выражениями, не обнаруживавшими во мне качества приятного собеседника. Бедная Нина Павловна! Мне и поныне стыдно вспомнить, каким я был с вами подчас нетактичным.

Мы работали вдвоем: я и майор Вяземский. Я приходил сменять его, но работы было столько, что он оставался на своем посту. То же происходило со мной: когда майор Вяземский сменял меня, я также оставался в операционной. Так мы вдвоем выполняли сменный график работы.

С Вяземским мы познакомились недавно. Начсанарм прикомандировал его к нам в помощь.

Это был уже пожилой человек. Его любили в армии. Он был невысокого роста, коренаст, с крутым лбом и густыми седеющими волосами. Несмотря на пожилой возраст, он очень быстро ходил, — признак трудолюбивого человека. Догнать его было невозможно. Так и говорили: если хочешь догнать Вяземского, не иди за ним следом, а забеги вперед, чтобы выйти навстречу.

Сын Вяземского, сапер, младший лейтенант, служил в нашей армии. И в пылу работы, в сортировке, в перевязочной, сначала расспросив обо всем, что должен знать хирург, Вяземский осторожно наводил разговор на часть, где служил сын. Он радовался даже тому, что иногда раненый случайно слышал об этой части и говорил: саперы — молодцы! Для отца это звучало, как привет от сына. Однажды прибыли раненые саперы, подорвавшиеся на минном поле. Когда доложили об этом, Вяземский выбежал к машине. Через минуту он уже снова стоял у перевязочного стола, и я видел как по щеке его ползла крупная, яркая слеза. Он перехватил мой взгляд и сказал: — «Вовы среди раненых нет. Это из другой части...»

Каждый раз, когда я заходил в палатку, в которой лежали тяжелораненые, я встречал там маленькую женщину-партизанку, в домашнем ситцевом платье, с большим пистолетом на поясе. Муж ее, партизан, лежал в этой палате. Круглосуточно она ухаживала за ранеными, а ночью, когда утихали стоны, становилась на

колени перед кроватью мужа и долго стояла так, припав головой к его бледной руке.

Порой, когда я думаю о прошлом, я вижу ясно эту маленькую, скорбную фигурку в сумерках притихшей палаты.

22

То, что наш госпиталь был пока единственной воинской частью в городе, вызывало у нас некоторое беспокойство. У замполита Каршина в эти дни был вид человека сосредоточенного. О внутреннем волнении его можно было догадаться лишь по замедленным движениям и речи. Заметно было, что он о чем-то неотступно думает, что-то решает. Его внешнее спокойствие благотворно влияло на всех, кто не мог проникнуть под эту оболочку.

Опрашивая раненых, поступавших к нам с окраин города, Каршин узнал, что бродячих немцев вокруг много, что они иногда нападают на оставшие, разрозненные подразделения и обозы. Ничто не может помешать им ворваться в незащищенный городок. К этому времени наши части продвинулись еще дальше вперед километров на триста...

Чувство страха обычно возникает при бездействии. Каршин, понимая это, так нагружал всех работой, что мы и не думали об опасности: на это просто не хватало времени. Когда нам говорили, что видели группу немцев ночью неподалеку от больницы, мы, врачи, больше думали не о том, что нависла опасность, а о том, что нужно расширить операционную, раздобыть перевязочный материал и оборудовать новый подвал для раненых, тот, что под развалинами школы.

Каршин тем временем проводил серьезные приготовления. Делал все это незаметно: проверял оружие, усиливал посты на ночь, приобщал к охране госпиталя легкораненых, организовывал боевые группы, размечал пункты обороны, устраивал тревоги и проверял явку бойцов на места по сигналам.

Уцелевший после бомбардировки корпус больницы размещался в центре широкой площадки, обнесенной легким зеленым заборчиком с двумя калитками. Все другие здания в пределах этой площадки были разру-

шены. Ночью в развалинах еще мерцали красные огоньки. Станным казалось, что эти горы мусора обнесены ажурным, свежеекрашенным заборчиком.

На четвертые сутки на рассвете мы вдруг услышали крики часовых и выстрелы. В это время мы еще работали в операционной и перевязочной, так что большинство из нас не спало. В операционной находились Нина Павловна, Люба, младшая перевязочная сестра Ира Дроздова, мой ординарец, который теперь выполнял обязанности операционного санитаря, я и доктор Вяземский. Замполит Каршин был в палатах вместе с сестрами и санитарями. Свободные от дежурств люди спали в подвале. Когда послышались выстрелы и крики часовых, мы уже закончили операцию. Нина Павловна протираала инструменты, а Володя подбирал с пола грязные салфетки, бинты. Партизанка, дежурившая в палате около своего мужа, вбежала в операционную и, задыхаясь, крикнула: «Немцы!»

Мы выскочили в коридор и увидели замполита Каршина, бежавшего к выходу. Несколько раненых с перевязанными головами с винтовками в руках спешили за ним. Кто-то из санитаров закрыл двери, несколько бойцов пододвигали к дверям большой бельевой шкаф. Другие забрасывали двери табуретами, скамейками, столами.

Ира Дроздова покинула операционную после всех, нервно прижав кулаки к груди. На нее налетел раненый боец, сбил с ног и сам упал. Ира вскочила на ноги и хотела уже было побежать за всеми, но боец не поднимался. Она наклонилась над ним, настойчиво тормозила его голову, но он все не вставал. У него было тяжелое ранение груди. Ира перевернула его на спину, за руку потащила в сторону, к стене. Потом вернулась, подхватила винтовку раненого, подержала ее на вытянутых руках, как держат опасный предмет. Повидимому, она хотела кому-либо передать винтовку, но раздумала и проскочила в операционную.

Дроздова была хрупкой девушкой, бледной, со строгим и привлекательным профилем. Был у нее один физический недостаток, доставлявший ей много огорчений — легкое косоглазие. На работе она вела себя скромно, стыдливо, порой, без видимой причины, опускала глаза. Впрочем, это было скорее желание скрыть

свой недостаток. Работала она старательно. На сделанных ею перевязках, наложенных шинах лежала печать прилежания.

Замполит Каршин командовал:

— Окна охранять по-двое! Остальным оставаться в коридоре!

Коридор проходил через все здание, с обеих сторон он был защищен палатами. Замполит, очевидно, хотел иметь свободный резерв людей на случай, если в какую-нибудь палату через окно начнут прорываться враги.

Володя стоял рядом со мной. Потом вдруг сорвался с места и побежал по коридору, расталкивая сестер и раненых. Я даже не успел остановить его.

Немцы стреляли в окна, пули, наполняя здание тонким свистом, вливались в стены. В крайней палате на противоположном конце коридора взорвались одна за другой две гранаты. Потом послышались крики немцев, прорывавшихся в здание. Мы бросились туда. Здесь увидели партизанку: согнувшись, она выносила на руках раненого мужа. Рука раненого отвисала, касаясь пола. Трое немцев с перекошенными лицами дрались с санитарями. Видно было, как еще трое взбирались на подоконники. Каршин вскочил на кровать и, прижавшись к стене, целился в немца, душившего на полу санитаря. Санитар вырывался, сбрасывал с себя немца, а тот рычал, сползая с санитаря то вправо, то влево. Каршин повторял его движения пистолетом, выбирая момент, чтобы не попасть в своего. Миновало несколько напряженных секунд. Каршин выстрелил. Немец ссунулся с груди санитаря, безвольно разбросав руки. В ту же минуту четверо бойцов с обнаженными ранами на голове (повязки их сбились) напали на других двух немцев, оставшихся в палате. В борьбе они все вместе свалились на пол. Тем временем я и Вяземский стреляли в окна, не позволяя немцам проникнуть в комнату. Одному из раненых бойцов удалось вскочить на ноги и он изо всей силы колотил немца костылем по голове.

Доктор Вяземский, стоявший за дверью в коридоре, крикнул мне:

— Бегите в операционную! Быстрее в операционную!

Операционная находилась в противоположном конце коридора. В ней никого кроме Иры Дроздовой не было. В суматохе там позабыли выставить пост. Выглянув в

коридор, я заметил Нину Павловну в длинном разорванном халате и в маске, которую она забыла снять.

— Сюда, сюда, помогите! — кричала она.

В просвете открытых дверей операционной видны были порывистые движения, взмахи рук, силуэты людей.

Я бросился к Нине Павловне. На полу коридора валялись костыли, куски гипса, сброшенные повязки, госпитальные халаты. Двери на внутреннюю лестничную площадку были открыты. С площадки узкие каменные ступени вели в подвал, а деревянная крутая лестница — на чердак. Сквозь квадратное отверстие в потолке проглядывали ребра стропил. Тут я заметил Володю, который с обезьяньей ловкостью взбирался по ступенькам на чердак.

Я остановился, во мне вспыхнул гнев.

— Исполняя вверх! — крикнул Володя, ухватившись за край отверстия в потолке и забрасывая на чердак ногу.

— Трусь!

Может быть, я попытался бы его задержать, но Нина Павловна стояла рядом, теребила меня и кричала хрипло: «Немцы в операционной. Они прорвутся! Ира убита!»

Когда началось нападение на госпиталь, Ира с винтовкой в руках вбежала в операционную. Затаив дыхание, она сразу же запрягалась за стеклянный шкаф. Перепугавшись до смерти, она тревожно прислушивалась к выстрелам, вздрагивала при каждом взрыве гранат. Спрятавшись за шкафом, она зажмурилась и ждала, что будет дальше. Сердце часто и глухо стучало под самым горлом.

Рыжий немец с всклоченными волосами продавил стекло и теперь уже взбирался на подоконник. Ира с волнением прислушивалась к звукам железа: за дождевой железный скат по ту сторону окна цеплялись пуговицы, пряжка, револьвер взбиравшегося немца. Эти звуки смешивались с тяжелым дыханием человека, делавшего физические усилия. Немец не заметил Дроздовой. Пустая комната возбудила в нем смелость, он ухватился судорожно за внутренний край подоконника и стал энергично протискиваться через окно. В это время Ира, преодолев страх, выскочила из-за шкафа. Немец испуганно вытаращил глаза, отшатнулся, сообра-

жая, как поступить. Дроздова не выстрелила в немца, она бросилась к окну и инстинктивно, по-женски, ударила немца по руке. Тот убрал руку, но второй с подоконника не снял. Тогда Ира винтовкой ударила немца по голове, и немец исчез за окном операционной.

Следом за этим в окнах сразу же появилось несколько немцев. В одном из окон вспыхнул огонек и в ту же минуту Ира почувствовала страшный толчок в грудь. Она зашаталась и медленно, словно задумавшись, повернулась спиной к окнам. Сгибаясь, хрупкая фигура Иры опустилась на пол, словно присела. Нина Павловна, открыв дверь операционной, увидела Иру на полу и двух немцев, прыгавших в комнату с окон. Тут она выбежала в коридор и стала звать на помощь.

Теперь один из немцев стоял уже в дверях операционной и стрелял в нас, что-то выкрикивая хриплым голосом. Я прижался к стене коридора, продвинулся по ней несколько шагов и нырнул в темную комнату, бывшую рентгеновскую лабораторию больницы. Нина Павловна растерялась и не последовала за мной. Она продолжала идти среди коридора мелкими неуверенными шагами, протягивая вперед руки, словно слепая, утратившая проводника. Я окликнул ее, но она не останавливалась. Клубок ее кос рассыпался и упал на спину. Быстрым движением я схватил ее за руку и втянул в темную комнату.

В темноте наголокнулся на носилки, стоявшие на полу у дверей. Кто-то застонал. Это был раненый муж партизанки, которого она перенесла из крайней палаты в темную лабораторию. Он бредил:

— Где моя пилотка? Разыщите мою пилотку.

— Осторожно, здесь раненый... — слышался чей-то голос из глубины комнаты.

Я спросил:

— Кто здесь?

— Это я, капитан медицинской службы Савченко...

— А что вы здесь делаете?

— Наблюдаю з...за больным... Принесите мне ш...шприц...

Помолчав немного, он добавил:

— Поч...чему нам не оказывают военную помощь?

Открыв половину дверей, обращенную в сторону операционной, я мог заметить сквозь длинную щель

между занавесами сумбурную фигуру немца, стрелявшего в просвет коридора. Он еще не решался, видимо, двинуться дальше. Я выстрелил сквозь щель, но не попал в него. Он продолжал оставаться в дверях операционной и неистово кричал. Второй раз я уже не смог выстрелить: белая тень метнулась к немцу из дверей соседней палаты. Прыгнув немцу на спину, раненый в одном белье рукой обвил его за шею так, что локоть пришелся под подбородок, а другой — схватил за предплечье руки с револьвером. Немец пытался сбросить раненого. Но тот так крепко вцепился, что он не мог его сбросить. Тем временем в крайнюю палату, где происходила схватка, немцы прекратили попытки проникнуть, и Каршин с криком: «Бей гадов!», гневный, в расстегнутой гимнастерке, без пояса, бросился в операционную. Мы побежали следом за ним. Нина Павловна возбужденно приговаривала: «Родной Каршин!.. Дорогой Каршин!..»

Каршин сбил немца с ног и тот упал лицом на пол так, что раненый оставался сверху. В ту же минуту несколько раненых на костылях, в госпитальных халатах выскочили из палаты и надели на немца.

Вдруг послышались частые, сильные взрывы. С улицы доносились крики и стоны. Немцы, ворвавшиеся в операционную, выскакивали через окна обратно на улицу. Один из тех, кто торопился на помощь немцу в коридоре, зацепился кителем за двери стеклянного шкафа, потянул его за собой, и шкаф с грохотом упал, зазвенев разбитыми стеклами. Когда немец перебежал комнату, чтобы выпрыгнуть в окно, Ира Дроздова, превозмогая боль, схватила его за ногу, но не смогла задержать, — сапог остался у нее в руке. Кто-то неистово закричал.

— Наши! Наши!

Доктор Савченко высунулся из лаборатории, поправил на носу очки и, потрясая проволочной крамеровской шиной, закричал:

— Где же эти проклятые немцы?

Я заглянул в окно операционной: два десятка немцев убегали прочь от больницы, перепрыгивая через щели и забор. Однако, странно, наших бойцов нигде не было видно. Операционная помещалась в углу здания, с окон открывался широкий кругозор. И все-таки я не мог заметить ни одного нашего солдата. Я сообщил об этом

Каршину. Он невнимательно меня выслушал. Мы вышли в коридор. Навстречу двое раненых провели подруки Иру Дроздову. Тут же мы встретили Володю. У него был довольно комичный вид: лицо вымазано сажей, в волосах, на гимнастерке, на лице висела тонкая паутина, большой серый паук полз по волосам.

— Вот он, — сказал я, — альпинист! Полюбуйтесь!..

Каршин удивленно поднял брови.

— Позор! — добавил я. — Прятался на чердаке.

— И сидел не иначе, как в трубе, — сказал Каршин.

Володя вытер рукой лицо и, прищурившись, огорченно покачал головой.

— За что это вы меня? Ведь немцев я ж отогнал. Я с крыши на них гранат двадцать бросил. Я от вас, товарищ майор, побежал в подвал за гранатами. У меня там целый ящик был, тот, что я на коридоре в больнице нашел. Помните?..

Мы с Каршиным переглянулись. Каршин крепко обнял Володю и поцеловал его вымазанное сажей лицо.

Я неловко улыбнулся и пробормотал:

— Вот видите! Я всегда был о нем хорошего мнения.

23

Вельке Бжестовица была полна дыма и копоти. Ночью на пепелищах тлели тысячи мелких угольков.

Наше наступление развивалось успешно, и раненые особенно торопили нас с выпиской. Я помню одессита, который, размахивая перед моим носом перевязанным указательным пальцем, объяснял:

— Допустим, указательный палец у меня не действует, а рана на спине еще не зажила. Но чтобы я нашел свою часть, мне понадобятся три дня. Вы говорите, что рана на спине заживет через семь дней, значит, останется уже четыре дня, ну, а это пустяки. Что касается пальца, так разве что изменится от того, что я буду нажимать на собачку другим пальцем?

На нашем счету было много спасенных людей. Ярматова ночью и днем просиживала в газовом отделении. Гомольский работал со мной в перевязочной. Хирург Вяземский ни на минуту не отлучался от раненых. Он проявил себя как прекрасный, чуткий товарищ.

Я люблю свою специальность. Она глубоко человечна. В госпитале перекрещиваются пути жизни и смерти, и этот перекресток представляется мне в виде огромной станции, — поезда идут в двух направлениях. Мы искали, изобретали, боролись. Мы хотели обмануть природу. Заживление ран — слишком медленный процесс, несовместимый со стремительным ходом событий. Мы подгоняли природу, шли напрямик, обходили длинные извилистые пути, которыми шло заживление ран, ломали каноны, скрепленные цементом привычных, казалось, непогрешимых взглядов.

То возникла мысль, что нельзя вводить сыворотку в кровь, то мы снова отбрасывали эту мысль. То казалось, что нельзя спасти человека ножом от газовой инфекции, как нельзя рассечь ножом пополам возбудителя ее, то снова все надежды мы возлагали на нож.

Мы делали отчаянные попытки бороться с воспалением брюшины, с заражением крови. Появились сульфамиды, новые виды операций. В полуразрушенных избах наладили капельные вливания.

Мы шли непроторенной дорогой, искали, думали, у нас были сомнения, ошибки, бодрящие надежды. Мы спотыкались, но в тот же миг выравнивались, чтобы сделать новый шаг вперед.

Однажды с Вяземским мы проходили по узкой улочке, по сторонам которой дотлевали руины, и увидели посреди дороги подводу, на которой корчился худой и морщинистый пожилой человек. Около подводы стояла женщина в черном платье, повидимому жена, и целовала его руку. Высокий ксендз в длинной белой сутане склонился над женщиной.

Эта необычная сценка обратила наше внимание. Мы спросили у ксендза, что произошло, и тот ответил, что у мужа этой женщины какое-то желудочное заболевание. Сегодня у него возникли сильные боли, и жена растерялась, не знает, что делать.

— Она хочет просить вас о помощи. Но у вас, наверно, нет времени.

— У нас на это всегда есть время, — сказал майор Вяземский.

Ксендз многозначительно и недоверчиво поднял брови. Он что-то сказал женщине на польском языке, перекрестил больного и ушел.

Мы осмотрели больного. Было ясно: прорвалась язва. Спасти его могла только экстренная операция. Но жена больного недоверчиво, боязливо поглядывала на нас. Видимо, она опасалась, что мы лишь усилим страдания близкого ей человека.

В течение девяти дней после операции женщина эта не видела своего мужа, ибо он лежал вместе с ранеными, а мы запрещали гражданским лицам посещать палаты.

Идя на обход, я часто встречал ее у ворот госпиталя.

— У вас очень преданная жена, — сказал я больному, — она так беспокоится о вас.

Стефан (так звали поляка) просиял и произнес с загадочным видом:

— Наша любовь имеет интересную историю.

Позднее я попросил Стефана, чтобы он рассказал мне эту историю.

«...Зося была бедной сельской девушкой. Мы жили за Белостоком, в самом нищенском районе Польши. Отец возражал против нашего брака. Все приданное Зоси — это ее любовь ко мне. У моего отца было немного земли. Я надеялся что-нибудь получить у отца.

— Что ты нашел в этой грязной девке? — спросил старик, думая о земле своей, как о хлебе, который хотят вырвать у него изо рта. — Она хочет выхватить у меня кусок земли, политой моей кровью. Она посягает на мой хлеб.

— Не смей так говорить, отец! Я люблю Зосю.

— Я говорю, что думаю. Это ты прячешь свою думку. Тебе старика не жалко. Суму у нищего забрать хочешь!..

Он уговаривал меня бросить Зосю и просить руку, например, у соседки Стаси, у которой хотя и мало земли, но если к этой земле добавить немного своей, то и на хлеб хватит. А сваты все устроят.

Такие разговоры не раз кончались дракой и я, окровавленный, взбешенный, ослепленный, кричал, что тоже имею право на эту землю: я ее обрабатывал, я корчевал пни. Я напомнил ему, что являюсь наследником его земли, как старший сын, но я не хочу его смерти, хочу только, чтобы он мне помог.

Был какой-то праздник. Забыв на минуту о вражде, мы выпили. Отец обнимал меня, целовал, плакал.

За столом сидели мать и дети. Мать тоже плакала, а

дети, пользуясь случаем, тянули все со стола и пробовали языками водку, от которой потом кашляли и чихали.

— Отец, вот ты плачешь. Тебе жалко меня. Но я у тебя много не прошу... Я налил новую стопку водки. Отец вытер рукавом слезу, наморщился, усы у него зло шевельнулись. Меняясь в лице, он прохрипел:

— Ты умышленно спаиваешь меня, а сам трезвый! У меня есть еще дети, они—твои сестры и братья. Я уже свое сказал.

— Ты свое сказал? — вскипел я и с шумом поднялся из-за стола. — Разве ты отец?..

Я опьянел, опьянел от водки и злобы, а отец уже нащупал пьяной рукой бутылку и заносил ее у меня над головой. У него были мутные глаза, он был бледен и тяжело дышал. С перекошенным ртом надвигался он на меня. На нем была длинная полотняная крестьянская рубаха, под ней прорывавшийся грязный жилет, и эта одежда еще больше подчеркивала его могучий рост и силу. Он был страшен, и дети разбежались кто куда, а мать, прикусив губу, стояла рядом, маленькая и беспомощная, и не могла произнести ни слова, будто у нее отнялся язык.

Озлобленный и разгоряченный, я схватил вторую бутылку со стола и швырнул ее в лицо отцу, прежде чем он успел опустить руку на мою голову. Он тяжело застонал, качнулся, бутылка выскользнула у него из рук, он повалился на стол, потом медленно сполз и грохнулся на пол, потянув за собой посуду.

С каждым днем я чувствовал, что меняюсь, теряю совесть. Разве я мог обвинить Зосю в том, что все вышло так мерзко и грязно? Конечно, нет.

Вскоре я вынужден был выехать в город. Я хотел еще в городе попытать счастья. Все время мы переписывались с Зосей и уверяли друг друга в чувствах, которые никто не сможет омрачить или убить. Да, мы беззаветно любили друг друга.

Мне удалось найти работу официанта в трактире у одной старой трактирщицы. Я жил очень скромно, откладывал деньги, и ночью, когда возвращался домой, пересчитывал их, хотя знал им счет, как знаю имя своего отца. Я считал их в пачке, потом откладывал каждую кредитку отдельно, чтоб почувствовать ее вес, и видел

уже свою землю. Я замечал, как в сердце моем рождалась жадность.

Через короткое время меня уволили, и я вынужден был искать новую работу. Время проходило в поисках, я старался ограничить себя в еде, чтобы не затрагивать сбережений, но голод принуждал меня тратить деньги, и я рисковал потерять все.

Тогда я решил торговать. Я закупал молоко у крестьян пригородных сел и разносил его в бидонах по квартирам. Когда и это оказалось невыгодным, я закупал дешевые бусы в магазинах и продавал их крестьянским девушкам, любившим всяческую пеструю мишуру. Но торговля моя развивалась скверно, а время шло, и я рисковал, что чувства Зоси погаснут, ибо нет такого огня, который горит вечно, если не поддерживать его. И я, безработный, сын крестьянина, официант трактира, мелкий торговец и жених Зоси, решил пойти на риск. С группой уголовных преступников я пошел на кражу в одном из магазинов города. Я уже не знал, что в жизни хорошо, а что плохо. И я подумал, что в этом мире жестокостей и несправедливостей нужно стать самому жестоким, чтобы потом, может быть, искупить это всей последующей своей жизнью.

И вот я совершил преступление...

Зося пришла ко мне в тюрьму на свидание. Тем временем я многое передумал, я не спал ночей и все думал, и думал, и голова моя разрывалась от мыслей. А когда пришла Зося, я отказался выйти к ней. В моей душе было так пусто и холодно, что мне все теперь казалось ненужным и безразличным. Из-за Зоси я стал преступником. Я не знал, кого обвинять, и обвинял ее. Отец проклял меня и упрекал мать, пытавшуюся еще меня защищать.

Шесть лет я просидел в тюрьме. Вышел я из тюрьмы разбитый, слабый телом и духом. Я уже ни на что не надеялся. Но есть все же души, которые светятся всю жизнь, правдивые, честные. Никакие испытания не заставят их изменить. Такое светлое сердце было и у моей Зоси. Она сберегла свои чувства ко мне.

На этот раз мы встретились, чтобы больше никогда не разлучаться...»

После услышанного я присмотрелся к Зосе. Теперь это уже была сухая, пожилая женщина с морщинистым ли-

цом, но прозрачные, чистые глаза обнаруживали в ней молодую душу, любящее сердце, так возвышающее женщину.

На десятый день больной встал с постели и сам вышел к жене. Их встречу легче вообразить, чем описать. В тот же день Зося подошла ко мне и тихо спросила:

— Как вас отблагодарить за все?

— Это наш долг, — ответил я.

Вечером она пришла к нам. Мы как раз ужинали с Вяземским. Женщина неожиданно появилась в дверях. Она принесла нам цветы и водку. Цветы мы поставили в вазу, а водку тут же разлили в стаканы и выпили вместе с Зосей за здоровье Стефана.

Она покинула нас растроганная, с влажными от слез глазами.

24

Я сообразил, что раненый Глебов, действительно, верит в приметы, когда отказался в понедельник от операции. Он сказал, что плохо себя чувствует. Я ответил ему, что именно поэтому нужно оперировать сегодня, а не через неделю. Однако я не настаивал. Мой учитель говорил: «Операция — печальная необходимость. Когда речь идет о жизни больного и вы не совсем уверены в целесообразности операции, уступите больному». На этот раз я уступил Глебову. Я сделал так потому, что до вторника еще можно было ждать.

На вечернем обходе разгорелась дискуссия.

— Меня ранили тринадцатого числа, — привстал Глебов на локтях.

У него было озорное ребяческое лицо, вздернутый нос и серые умные глаза. Когда он пререкался, в них вспыхивал капризный огонек детского упрямства.

— Да, но не все же ранения приходятся на тринадцатое число, — возразил я. — Вот Сологуб, например, ранен был семнадцатого.

— Что бы вы ни говорили, доктор, приметы существуют. У вас также, вероятно, есть свои приметы. И не потому, что я и вы — суеверные люди. Кто-то нам с детства привил это. Черная кошка перебежит дорогу, пройдут с пустым ведром, тринадцатое число, понедельник... И когда вы на войне, и на каждом шагу вас подстере-

гает смерть, то, как ни смешно, привыкаешь верить в приметы. Ко всему этому добавьте, что я ранен.

— Ну, и что же?

— А раненые — народ впечатлительный.

— Скажите, — улыбнулся я, — такие больные, как вы, Глебов, для врача хорошая или плохая примета?

Сологуб, которого ранили семнадцатого и который в этом споре был на моей стороне, громко рассмеялся. Глебов хитровато прищурился.

— Если выздоровею, то хорошая.

Он отпустил «вожжи» (полотенце, привязанное к ножной спинке кровати) и лег на спину. Видно было, что у него снова заболела нога.

Глебов много настрадался после ранения. Я заметил: в приметы часто верят слабые или ослабевшие люди. Быть может, весь этот разговор о приметах был для него чем-то таким, что возбуждало надежды. Боль? Поверьте, я знаю, что такое боль. Я научился различать все ее переходы. Я знаю эту хитрую лисицу. Я видел, как она побеждает, изматывает волю человека, превращает больного в капризного ребенка. Человек теряется. Он хочет задобрить руку или ногу, умоляет, упрощает. Он даже заигрывает с кем-то неизвестным, копошащимся в теле и возбуждающим нестерпимое чувство боли. Человек начинает разговаривать языком ребенка: «Родненький, миленький». Все у него ласково-уменьшительное, но это от слабости, от просьбы, от жалости к самому себе.

Глебов же только возмущался. Он редко жаловался, чтобы не обнаружить боль. Он не сдавался, он считал для себя это постыдным. Он подавлял в себе ее, и я это замечал, когда видел побледневшие суставы на сжатых пальцах.

Оперировал я Глебова во вторник. Он достойно перенес операцию. Мне лично представлялось, что операция будет для него той мерой боли, которую он откажется перенести. Капель, переполняющей чашу. Но он выстоял.

Глебов молчал. Воля человека испытывается на операционном столе так же, как и на поле боя. Я слышал крик в движениях его бровей и рта, в выражении глаз. И потому молчание его трогало больше, чем крик.

Как же совместить слабость Глебова к приметам с этой выносливостью и силой воли, которые никогда не изменяли? С одной стороны, я приписывал это его чуда-

чествам, с другой — это мог быть еще один выступ над пропастью, за который он мог, скатываясь, ухватиться.

После операции он попросил положить его в палату сестры Тамары, девушки из города Столбцы, которую мы все называли «доброй волшебницей». Она осталась работать в нашем госпитале.

— Почему?

Он улыбнулся и отвел глаза, в которых светился детский каприз.

— У Тамары счастливая палата...

— Ах, так! Ну, этого я уже не сделаю, — возразил я, — ты становишься просто суеверной бабой.

Но Глебов не уступал. Я не имел права помещать Глебова в палату Тамары, предназначавшуюся для раненных в живот. Меня начинало даже охватывать чувство досады. В самом деле, не должен же я быть на поводу капризных желаний чудака.

— А что? Скажете, не счастливая? — прищурился Глебов, и где-то в глубине прищуренных глаз пряталось озорство и упрямство, а быть может, надежда и скрытое убеждение.

Глебов не сдавался:

— Никто в этой палате не умер, все выздоравливали...

Я хотел было возразить, но ничего не мог сказать ему. Я тщетно старался вспомнить хотя бы одного раненого, состояние которого ухудшилось в этой палате, но не было такого. И я согласился направить Глебова в палату Тамары. Я дал согласие на это, главным образом, потому, что знал, что немощь побеждается не только телом, но и силой духа. Надежда, кем и чем бы она ни была подсказана, — ценное оружие борьбы против болезней.

Узнав, что в палату несут нового раненого, Тамара прибежала в операционную, пристроилась к носилкам, которые уже подняли санитары.

Тамара обращала на себя в госпитале всеобщее внимание. Как-то она перехватила конверт с адресом матери Сологуба, того самого, который в дискуссии с Глебовым стал на мою сторону. Сологуб получил плохие вести из дому: немцы сожгли дом, угнали скот, изуродовали мать. Теперь мать просит сына помочь ей. Но как помочь матери? Не может же он приехать к ней. И вот Тамара тайком всю свою зарплату отсылала матери Сологуба.

— Настоящий человек! — говорили о ней раненые.

Тамаре нетрудно было завязать с Глебовым хорошие отношения. Она угадывала все желания больных прежде, чем они их высказывали. То, что было в ней, хотелось назвать талантом, дарованием, хотя, быть может, это была обыкновенная сердечность.

Глебов расцвел в палате Тамары. Она добивалась для Глебова только такой пищи, какую он любил. Ночью она поправляла подушки в головах раненого или потеплее укрывала, спящего. Все это делала незаметно, скромно, и потому все примечали ее старания. Она укладывала на подставку ногу Глебова так, что он не испытывал боли. В ее палате всегда пахло цветами, было идеально чисто и уютно. Она вела всю переписку своих раненых и никому не разрешала приносить им письма, а приносила их сама.

Так или иначе, а сердце Глебова было покорено. Тамара мило и бескорыстно обманывала. Когда Глебов метался в лихорадке и просил у нее зеркало, она говорила, что оставила дома. «Снижала» температуру; сообщала ему не ту, которая была на самом деле. Она умела уговорить: когда у Глебова нарастал отек ноги, Тамара так ловко доказывала, что отек уменьшается, что Глебов верил и соглашался. Она понимала своим чутьем настоящей сестры, что больной видит обычно не то, что есть, а то, что хочет увидеть.

Миновало несколько мучительных послеоперационных дней, и Глебов начал быстро выздоравливать. Сначала, опираясь на спинки кроватей, он передвигался по палате, и лицо его выражало столько радости, словно, лишившись ног, он обрел их снова и теперь наслаждался тем, что свободно передвигался в пространстве.

— До окна и обратно! — возвещал Глебов. Он добирался до окна, неуключе поворачивался и возвращался, и по его побледневшему, но все же озорному лицу видно было, что он воспринимал эти свои упражнения, как подвиг на фронте или, по меньшей мере, как рекорд в беге на короткие дистанции.

Как-то я увидел его в саду госпиталя; он прогуливался в сопровождении Тамары. Она слегка поддерживала его за локоть. Ходил он, в сущности говоря, уже свободно. Нетрудно было со стороны заметить, что Глебов привязался к Тамаре, и в этом — любовь больного к своей

исцелительнице. Но где та грань, когда привязанность перерастает в другое чувство? Осушенная надежда, ласка, внимание и дружба, доброжелательность и постоянство — все это иногда перерастает в нечто большее. Появилось ли такое чувство у Глебова? Возможно. Но я с уверенностью мог сказать, что Тамара умела останавливаться на «границе», потому что в ее палате было восемнадцать таких же раненых, как Глебов.

— А, фаталист, здравствуй! — окликнул я Глебова.

— Фаталист? — поднял брови Глебов и посмотрел на Тамару. Потом он расправил плечи, выпрямился, желая подчеркнуть этим, что он — здоров и крепок. Я расценил это так, будто он хотел сказать этим, что правда на его стороне: он оперировался не в понедельник, а во вторник и, наконец, он нашел исцеление в «счастливой палате». Теперь он выздоровел, к нему возвратились прежние силы.

— Вы, вероятно, простили мне мою маленькую слабость к приметам. Но я не отступаю: палата эта действительно счастливая. Только теперь я догадался, почему она счастливая.

Он склонился к моему уху и сказал почти шепотом:

— Потому, что в ней работает Тамара.

— Ах вот как! — воскликнул я. — Пожалуй, тогда с вами можно согласиться.

Мы подошли к палате Тамары. Двери в палату были закрыты и на них значился порядковый номер «тринадцать».

— А этого вы и не заметили? — показал я пальцем на номер.

Глебов смотрел то на меня, то на Тамару, то на двери с цифрой «тринадцать». Он виновато и растерянно улыбался.

Володя, младший лейтенант, сын майора Вяземского, стал часто приезжать к отцу. То неожиданно явится на машине, то забежит по дороге в госпиталь, если часть проходит вблизи. А отец, когда начинались бои, особенно последние, уже на территории Восточной Пруссии, под Кенигсбергом, заметно волновался. Часто в «сортировке», когда поступали раненые, ему казалось, что в дальнем углу лежит Володя. Встретив кого-либо из саперной

части, он пристально всматривался ему в лицо: не скрывает ли этот Володин товарищ что-либо? Когда, разговорившись, узнавал, что все благополучно, продолжал свою обычную работу со свойственной ему быстротой и ловкостью.

Всех раненых он знал по фамилии. Порой подойдет к нему сестра и скажет: «Больному в четвертой палате плохо». «Какому?» — спросит Вяземский. Сестра озабоченно напоминает: «Он ранен в живот, под окном лежит». «А, Федин», — скажет Вяземский. И сестра краснеет, ей неудобно перед хирургом за свою невнимательность. Вяземский сердито упрекает: «Госпиталь — не собрание животов и ног... Нужно фамилии людей помнить!»

В один из дней наступления под городом Вормдигт Володя был ранен. Пуля прошла через правую половину груди. Сестра сортировки узнала об этом первой. Сам Вяземский в это время был на операции. Сестра приняла Володю, поместила его в лучшую палату и потом явилась в предоперационную, туда, где хирурги обычно моют руки. Вяземский вышел из операционной, держа перед собой окрашенные иодом руки. Белая маска наполовину развязалась и приоткрыла его утомленное лицо.

Как сообщить Вяземскому о том, что произошло? Уже весь штат госпиталя знал об этом, но на долю сестры «сортировки» выпала миссия стать вестником горя.

— Товарищ майор, — начала сестра, едва сдерживая волнение, — приехал ваш Володя...

— Приехал? — удивился Вяземский. Он раздумывал, как мог в такой день приехать сын.

— ...Раненый, — сделав усилие, добавила сестра.

— Ах, раненый, — тихо сказал Вяземский и, может быть, впервые в жизни загрязнил стерильные руки, опершись о столик.

Потом он медленно развязал узлы маски на затылке, снял с головы белую шапочку, смяв ее, сунул в карман халата и так, с непокрытой головой, пошел следом за сестрой. Несколько раз сряду отбрасывал на затылок сползавшие на лоб непокорные седые волосы.

Покинув здание, в котором размещался операционный блок, он вышел во двор, чтобы пересечь его. Сеялся дождик. Было мокро и сыро и очень темно. Слева в темноте покачивался фонарь с красным крестом, и хотя он был далеко, но, как всегда, в темноте казалось, что сов-

сем близко. Там была приемная для поступавших раненых. Около приемной часто и недовольно ворчали автомашины: ежеминутно доставляли новых раненых из медсанбатов. Шоферы ругались в темноте. То загорались, то потухали фары; в белой полосе света, словно высеченной из плотной ткани ночи, тянулись тонкие прерывистые нити дождя.

Вяземский миновал приемную и круто свернул влево. Шел наугад. Тут где-то была вымощенная кирпичом дорожка. Вяземский натолкнулся на заборчик, протянувшийся параллельно зданию госпиталя. И по заборчику, касаясь зубцов его, побрел дальше. Первая площадка, вторая. Перед каждым входом были площадки.

Доктор поднялся на второй этаж и вошел в палату, указанную сестрой.

Комнату наполняло тяжелое клокочущее дыхание Володи. «Легкие», — промелькнула мысль. Володя лежал высоко в постели, метался испуганно огонек свечи, и отец не мог, как следует, разглядеть лицо сына.

Привычным движением протянул руку, чтобы проверить пульс. И странно: отец и сын молчали. Они не сказали друг другу ни одного слова.

Первым заговорил отец.

— Тебе, вероятно, не совсем удобно лежать. Поднимись выше.

— Попробую.

Вот, кажется, и все, что было сказано в эту ночь. Вяземский присел на постель. Сестра Тамара в это время выполняла все то, что отец назначил сыну.

Сидел, облокотившись на колени, сцепив пальцы. Упрямая, седая прядь дрожала на лбу, и, казалось, что прядей две, но то была только тень от пряди, колеблемая капризным лучом свечи.

За окном глухо рокотала артиллерия, словно в соседней комнате полоскали горло.

Тихонько и несмело кто-то приоткрыл двери и на цыпочках вошел в палату. Вяземский поднял глаза. То была операционная сестра Люба Фокина.

— Вас ждут... Кровотечение, — тихо, пугаясь собственного голоса, проговорила она.

Так же бесшумно, как появилась, она покинула комнату. Какую-то долю минуты Вяземский оставался си-

деть на краю кровати. Правая рука сына, обращенная ладонью кверху, немного свисала над краем кровати. Доктор взглянул на эту ладонь и почему-то вспомнился ему казах, который на обходе протягивал руку, обращенную ладонью вверх, и спрашивал Вяземского, как хироманта, угадывавшего по линиям судьбу:

— Дохтур, скажи что-нибудь про жизнь.

Казах имел в виду свой пульс.

Что мог сказать теперь отец о судьбе сына? В глазах Вяземского не было слез, — только сосредоточенность. Внешне он оставался удивительно спокойным. Война подготовила его к ударам, неминуемым, неотвратимым. Ждал их, и вот один из них пришел.

Ему было трудно оставлять в такую минуту комнату, наполненную теплым дыханием сына, навевшим гаснущие далекие воспоминания.

Все могло случиться с сыном: кровотечение, удушье, отек легких. Но Вяземский встал и направился к двери. Вот он уже спускается с лестницы. Площадка у входа в парадное. Снова тот же забор. Светится окно кухни, в его свете лоснится узенькая кирпичная дорожка. Показывается фонарь с красным крестом. Сеется дождик. Темно.

В операционной на столе лежал раненый, около него суетились врачи и сестры. Сбросив с себя горе, физически ощутимое, от которого сгибается спина, он, как и всегда, умело взялся за дело.

Обнаружилось ранение артерии. Торопился. Нельзя терять ни одной секунды. В эту минуту он был прекрасен: настоящий мастер жизни, художник. И у раненого, следившего умоляющим взглядом за каждым его движением, вдруг пробудились уверенность и спокойствие, твердая надежда — отражение спокойствия и уверенности хирурга. Можно сказать, вдохновение двигало рукой врача в эти минуты.

Удалив тампон, он обнажил кровоточащую рану и быстро рассек ее. Понимал, жизнь человека в его руках, но нужно быть осторожным и предусмотрительным, чтобы жизнь эта не соскользнула с кончика скальпеля, как капля, как шарик ртути.

Внимание, доктор! Вот нарастает пузырек, нарастает, расширяется, расширяется и внезапно лопается, плес-

нувши волной крови. Все зависит от тебя, от твоей изобретательности, твоих знаний, твоего опыта.

Вяземский блестяще проделал операцию.

Потом перелили раненому кровь. Он ожил. Светлые, теплые огоньки загорелись, залясали в его глазах.

Вяземский постоял немного в операционной, осмотрелся вокруг, заметил санитарку, которую у нас прозвали «канарейкой». Она была небрежно одета. После удачной операции он всегда шутил и теперь сказал: — «Канарейка, вот у тебя такой вид, словно надели на тебя мешок и плохо завязали».

И вышел.

Еще был предрассветно темный час. Не стихал дождик. Все качался фонарик с красным крестом над приемной. Дорожка. Кухня. Заборчик. У Вяземского горели сухие от иода ладони. Нить еще одной жизни, жизни этого солдата, лежавшего на операционном столе, рвалась в его руках, но он уберег ее. Много, много таких нитей было у него в руках, совсем тонких, как паутинка, и он почти физически явственно чувствовал: они сплетались в один толстый канат, связавший его крепко-накрепко с судьбами людей, с судьбой фронта и наступления.

Личное горе все же омрачило это чувство, и улыбка исчезла с лица, словно растаяла.

В палате Володи догорела свеча и погасла. Когда отец вошел в комнату, было уже темно. Ощупью добрался к постели, опустился, склонив голову к сыновней груди. Дыхание сына выравнивалось, становилось спокойным и тихим.

О чем думал Вяземский в эту минуту? К чему прислушивался? К дыханию сына, которому становилось лучше? К грохоту отдалявшихся взрывов? Может быть, усталость окончательно завладела им и на глаза спустился тяжелый, серый, короткий сон?

Все более глухой становилась канонада за окном. То наши войска с боями продвигались вперед, сквозь ночь, сквозь этот звонкий монотонный дождик, по слякотной земле. Уже пали Гутштат, Вормдитт, Мильзак. Наши части приближались к берегу Балтийского моря, навстречу победе, навстречу жизни.

На запад от Берлина, между Бранденбургом и маленьким городком Плауе, проходит асфальтовая магистраль от Берлина через Потсдам, Бург, к реке Эльба.

По этому шоссе днем и ночью в двух направлениях — на восток и на запад — шли бесконечные толпы людей, невольников Германии. Русские, украинцы, французы, словаки, румыны, чехи, югославы, они возвращались на родину.

У ворот госпиталя, стоявшего на самом шоссе, отделились от потока две девушки с маленькой повозочкой. Это был странный «транспорт». Маленькая повозочка на четырех крошечных колесиках напоминала дорожный чемодан. На заднем бортике светило круглое красное сигнальное стеклышко, такое, как у автомашин. Дышло имело крестовину для рук, за которую тянула эту повозочку белесая девушка, высокая, босая, с красной косынкой на плечах. Другая девушка, удивительно похожая на первую, только более бледная и истощенная, сидела в повозочке, но там было так тесно, что правая нога девушки свисала с борта и волоклась по земле.

Девушка, катившая повозочку, остановилась, опустилась на шоссе дышло и присела на борт повозочки. Отдышавшись и вытерев рукавом пот с лица, она попросила часового пропустить ее в госпиталь. Часовой сначала не соглашался, но девушка так умоляюще взглянула на него, что сердце солдата дрогнуло. Открывать ворот не пришлось — повозочка свободно проехала через калитку.

Как потом выяснилось, это были подруги, выгнанные из района Полтавы в Германию. С того времени они не разлучались, жили вместе, ели из одной миски. Первую, которая везла, звали Клавой, вторую Лидой.

В это время я пересекал двор, посыпанный мелким жженным углем, направляясь из одного госпитального корпуса в другой. Клава остановила меня за руку и сказала:

— Эта больная, вот уже три месяца, как не ходит.

В нашем госпитале я не имел права предоставить ей место, а госпиталь для репатриированных стоял где-то глубоко в тылу. Но вид девушки был такой печальный и

жалкий, что я не мог ей отказать в приюте, хотя в экстренной помощи она не нуждалась.

Клава напросилась ухаживать за ней. Впрочем, если это невозможно, она согласна остаться в госпитале на работе: носить дрова, топить печи, убирать, стирать, — что угодно, лишь бы не разлучиться с Лидой.

— Скажите, доктор, умрет она?

Что я мог ей ответить? Я покачал головой. У Лиды была саркома левого бедра, злокачественная опухоль, плавящая все на своем пути. Опухоль проникла уже, как мне казалось, в тазобедренный сустав. Видимо она уже распространилась. Что мы могли теперь сделать? Ничего. Один из тех случаев, когда врач бессилен. Всем сердцем вы хотите помочь больному, но бессилие вас доводит до бешенства и, растерявшись, вы крепко хватаете больного за руку, как будто можно силой удержать человека от падения в небытие.

Как-то в дежурке, убирая комнату, Клава сказала:

— Вот уже скоро и войне конец. А Лида не дожидется конца. Ах если бы вы знали...

— А что?

— Если бы вы знали, сколько она пережила. Мать и отец ее погибли, брата повесили немцы. А Лиду угнали на каторгу. Она скрывалась в ямах целыми месяцами, но ее нашли все же. Здесь в Германии мы обрабатывали землю, служили у помещиков. Потом Лида заболела, ходила с трудом, волочила ногу. Мы это от хозяина скрывали, как могли. Я уже под конец выбилась из сил — работала и за себя и за Лиду. А теперь, когда наши пришли, собралась с Лидой домой. Вот повозочку достала и везла.

Клава собрала мусор в уголок и поставила веник. Потом села на крайний стул, положила на колени руки, и в том, как она села, было что-то от тяжелого недавнего прошлого: страх, скованность...

Я ничего не сказал ей. Все было ясно.

Война приближалась к концу. Добивались последние немецкие группировки. И, конечно, самым ужасным в такое время была бы смерть человека, смерть перед самой победой.

Лида лежала под окном, обращенным к шоссе. В последние дни я старался проскользнуть мимо нее незамеченным. О чем я мог говорить с ней? Обманывать? Да-

вать лекарства? Но какие лекарства могли ей помочь теперь? Лекарства в подобном случае — ложь, хотя ложь сама по себе могла быть хорошим лекарством.

Когда я проходил мимо нее, стараясь не задерживаться под тем или иным благовидным предлогом, она начинала кое-что понимать. Сегодня спросила, скоро ли я буду ее оперировать?

— Скоро ли?

Я хотел было ответить, что с операцией следовало бы подождать; торопиться нет нужды, операция, мол, печальная необходимость, но сразу же сообразил, что это ее не успокоит.

— Вот сделаем все анализы, а потом... понимаете, чтобы все предусмотреть.

Когда был готов анализ крови, я направлял ее в рентгенкабинет, а когда был готов снимок, начинал исследование мокроты.

— Словом, Лида, еще один повторный анализ крови и тогда... Я хотел уже уйти, но она взяла меня за руку и пристально и умоляюще взглянула в глаза.

— Скажите правду, доктор, разве уже нет больше надежды?

— Нет, почему же?.. возразил я.

По шоссе тем временем нескончаемым потоком шли огромные толпы людей. Они глухо пели песни на всех языках мира, и в их усталых голосах звенели веселые радостные нотки. Люди передвигались пешком, на велосипедах, тянули повозки, груженные жалким скарбом, грузовые площадки на дутых шинах. Можно было встретить неисправную автомашину, которую тянула лошадь, или большеколесную фуру, в которую впряглись обнаженные до пояса, загорелые югославы. Кто-то нес на плечах свою мать. Француз в берете с красным галстуком на шее, без рубахи, в трусах подгонял ослика, на котором сидела девушка. Русские, белоруссы, украинцы шли с красными знаменами, поляки — со своими национальными флагами. Флаги развивались на повозочках, повозках, двуколках, тачках, машинах, на дугах лошадей. И у каждого на рукавах, на берете, на отворотах гимнастерки, на шапках пестрели ленточки цвета национальных флагов. Вспотевшие, утомленные, измученные, они шли нескончаемыми потоками по дорогам Германии. До-

мой! Домой! А ночью на обочинах всей этой магистрали всныхивали костры и затихало движение.

— Они идут на родину, домой... — сказала Лида и ее худое лицо вздрогнуло.

Я сидел у нее на кровати. Мы смотрели в окно на пеструю разноязыкую толпу на шоссе. Лида старалась спрятать от меня глаза.

На другой день я разговаривал с ее подругой Клавой, и этот разговор определил дальнейшую судьбу Лиды.

— Теперь только бы жить, — сказала Клава, а Лида должна умереть в такое время. Она говорит, что хочет только одно: увидеть конец войны, дожить до полной расплаты. Хочет узнать, что Гитлера повесили. Дожить бы ей до этого счастливого дня, потом можно и умереть.

Я молчал.

— Конечно, — продолжала Клава, — это невозможно. Я понимаю. Что ж сделаешь? Вы не оперируете, когда знаете, что напрасно. Но сделайте хотя бы так, чтобы она подумала, что будет жить...

— А как это сделать?

— Как? Я хочу вам сказать, что она очень верит в операцию. Она умная девушка. Она рассуждает так: если вы отказываетесь от операции, значит нет больше надежд. Значит, ей больше нечем помочь. И вот она ждет одного — операции. Она согласна на все, на любую муку, на любую жертву...

Я принимал горе Лиды близко к сердцу. Меня взволновали добрый порыв и сердечность ее подруги. Меня воспитали так, что я всегда прислушивался к голосу больных и их близких. Как врач я делал то, что подсказывала врачебная совесть, но жизнь научила меня прислушиваться к каждому слову больного, беречь его надежду или «строить» ее, пусть она будет даже иллюзорной. Клава подсказала мне хорошую мысль: если операция возбудит надежду у больной, то почему же не облегчить ей последние часы? Пусть, покидая жизнь, она будет убеждена, что стоит лишь у ее величественных ворот.

Я долго и мучительно думал. А может быть еще не поздно спасти девушку? Я вспоминал под впечатлением разговора с Клавой так называемых «обреченных» больных: мы уже утратили всякую надежду вернуть им жизнь, но вдруг все получалось иначе. Мы горячо бра-

лись за дело и, приложив все усилия, возвращали человеку жизнь. Чего на свете не бывает? И я пришел к Лиде, улыбнулся, протянул ей руку и поздравил ее:

— Вам посчастливилось, девушка, — выдумал я. — Исследования показали, что еще не поздно помочь вам. Операция назначена на завтра.

Ну, вот... Что сказать об операции, которую я делал в тот день, когда мир облетела весть о конце войны. Мне стало об этом известно буквально за несколько минут до того, как я подошел к операционному столу. И, откровенно говоря, я склонен был думать, что эта операция — только последний ход игрока, который уже не мог вернуть проигрыш. А проигрыш был: было проиграно время. С этой, как мне казалось, необратимой утратой срока явилась к нам девушка. Состояние ее уже определилось, чаша смерти перевесила, и на другую чашу весов я мог только бросить последнюю попытку, бросить свой скальпель, который силен лишь в дружбе со сроком.

Конечно, я знал и другое: нельзя расписываться в своей беспомощности. Если ты повесишь ярлык безнадежности на больного или раненого, грош тебе цена. В этом, так сказать, рабочий секрет хирурга. Не опускай рук, пусть даже все симптомы сообща указывают на приближение неумолимой развязки.

Сколько мы переживали в ту минуту. Конец войны! Долгие годы страданий, всяческих фронтовых передряг, личного горя и испытаний, и вот — конец войны. Конец войны! Значит, мы победили! И радость росла в груди, наполняя ее; что-то билось крыльями, быть может, обзумевшее сердце. И если в такую минуту мне суждено оперировать, то почему судьба будет так несправедлива ко мне? Передо мной была больная, которой я ничем не мог помочь...

Я приступил к операции. Все складывалось вконец плохо. Все было так перепутано и так сложно. Но в последнюю минуту я готов был закричать от радости, и я бы это сделал, если бы на больших сосудах не висели пинцеты: нужно было работать осторожно, в мертвой тишине. Тазобедренный сустав был чист, как стеклышко, опухоль в него не проникла. Мой ассистент, доктор Бельский заметил это также, и улыбнулся глазами (я видел только его глаза, лицо скрывала маска).

Конечно, это обещало успех. Я ничего не мог сказать о будущем, опухоль есть опухоль. Если бы Лида пробудилась от наркозного сна, я сказал бы ей, что и она встретит победу вместе с нами, нашу общую победу, и жить ей суждено еще много лет после победы.

В дверях я встретил Клаву. Она вся потянулась мне навстречу. Она была возбуждена и, казалось, сквозь двери, через всю комнату хотела услышать биение сердца своей подруги.

— Ну, что, что, доктор? Все сделано?

Миновал месяц. Здоровье девушки улучшалось. Однажды мы вышли во двор. Была хорошая солнечная погода. Опираясь на костыль, Лида пересекла двор, посыпанный мелким жженым углем, скрипевшим под ногами, словно снег, схваченный крепким морозом. Мы прошли через узкую калитку, около которой стоял часовой, и очутились на шоссе. Потом пересекли шоссе и поднялись на пологий склон, покрытый сосновым лесом. С холма далеко на восток и на запад видно было шоссе, по которому все так же шли огромные толпы людей, возвращавшихся на родину.

Девушка присела на срубленное дерево. Ветер ласкал ее лицо, и шелковые пряди волос трепетали на щеках, на лбу. Она вздохнула и, прищурив грустные, большие, серые глаза сказала:

— Ну, а теперь можно и умереть.

— Вряд ли стоит, — возразил я, пряча улыбку, — не позорьте мою операцию. Вам только жить теперь, милая, жить на зло врагам!

Возвратившись на родину, я прежде всего направился к матери Гажалы. Его последние слова еще и поныне звенят в моих ушах: «Помогите моей матери! Я еще не знал, что делать, как утешить мать, потерявшую сына.

При въезде в город я почувствовал волнение. Пять лет назад, когда я покинул его, он скрылся в дыму, и терпкая горечь жгла горло, душила сердце. В небе тогда висели фашистские бомбардировщики. Пламя освещало улицы, погружалось в асфальтовую темень Днепра, вздрагивавшими столбами зловеще освещало горизонты.

Хмурые, с поникшими головами жители покидали го-

род. Они и теперь еще перед моими глазами. Вот женщина поминутно торопит своих запыхавшихся детей. Вот маленькая сгорбленная старушка со спустившимся чулком, оголившим бледную ногу, тащит на плечах огромный узел — матрацный мешок с вещами. Мешок сползает, развязывается. Старушка останавливается, снова связывает узел и снова торопится. Лицо ее выражало предельную усталость и страдание. Вот стройный мальчик с решительным, но грустным лицом несет десяток белоснежных голубей: он не хочет оставлять их немцам.

Люди забивали окна домов, запирали двери, оставляли город. Все это происходило в могильном, гнетущем, тяжелом молчании. Они везли свой домашний скarb на тачках, несли на плечах, хмурые, непокорные, непреклонные.

Это было около пяти лет тому назад. А теперь я иду по тем же улицам, но уже расцветенным улыбкой победы.

Гажала говорил мне, что на тротуаре ему будет тесно, он пойдет по мостовой, посреди улицы: смотрите, люди, к родному берегу пристал! Я поймал себя на этом желании и, как ни смешно, пошел посреди улицы и запел какую-то песню без слов настолько негромко, чтобы не показаться безумным.

На улице Ленина, в глубине одной из усадеб, есть двухэтажный домик. Здесь жил честный молодой человек, фельдшер, солдат Советской Армии, горячо любивший свою родину, Анатолий Гажала. Я снял шапку и низко поклонился родному дому друга.

Мне открыла дверь старушка. Следом за ней и я вошел в комнату. Справа от дверей стояла неубранная кровать. Старушка извинилась и сказала, что больна. Она прихрамывала. Глаза ее плохо видели и это было заметно, потому что она не всегда угадывала, где я стоял.

— Я друг вашего сына Анатолия, — сказал я.

— Анатолия? Где же он? Что с ним? — вздрогнула старушка. Что-то упало на пол, зазвенело. Я поднял с пола ключ, который уронила мать Гажалы, и положил на стол.

— Раздевайтесь, прошу вас, садитесь. Боже мой, как это все неожиданно.

Теперь мне стало ясно: в доме не знают о смерти Анатолия. Из Большой Зимницы в междуречье я ничего не писал матери. Правильно или неправильно я сделал,

не знаю. Быть может, в силу моей привязанности к Анатолию мне было тяжело писать матери о смерти сына. Я понимал, какой это удар для матери. Я не хотел, чтобы слово, написанное моей рукой, было вестником горя. Так или иначе, о гибели Гажалы в этом доме ничего не знали.

— Вот уже два года, как мы не получаем от него писем, — сказала старушка. — Вы давно его видели?

— Нет, недавно, — солгал я.

Нельзя было в эту минуту ответить иначе. Имел ли я право сказать неумолимо жестокую правду больной, полуслепой старухе, жить которой осталось так мало?

— Вы привезли письмо от сына?

— Привез, — не колеблясь, ответил я и отстегнул пуговицу над боковым карманом гимнастерки. Теперь нужно было сохранить видимость правды, не возбудить подозрения, быть последовательным. Все, что я теперь говорил, хотя это и была ложь, стоило той тихой, лучистой материнской радости, которую я возбудил на морщинистом, болезненном лице матери.

— Я встретился с ним в Германии, под Бранденбургом. Он был в партизанских отрядах и поэтому не мог вам писать. Теперь он выехал в продолжительную командировку. На войне всегда возникают самые неожиданные ситуации.

Не обнаружив, конечно, письма в кармане гимнастерки, я объяснил, что оставил его дома, и пообещал принести письмо завтра.

На другой день я принес письмо, которое сам написал. Мать Гажалы попросила прочесть письмо: она почти утратила зрение. Это облегчило мою роль, иначе мать заметила бы разницу в почерке.

В письме было поздравление с победой, пожелание счастья. Анатолий представлял меня, как друга, который в случае нужды поможет ей и на которого можно спокойно положиться. Заканчивалось письмо словами: «Много матерей в эту войну потеряли своих сыновей. Мы спасли Родину, мы ее отстояли, и матерям есть кем гордиться. Гордись и ты, мать, своим сыном».

За окном прошумела минутная майская гроза. Я вышел на улицу. Начинало проясняться, и косой светложелтый луч солнца осветил яркую зелень каштанов, улыбочивые лица прохожих. В неводах, сотканых из лучей, трепетали листья, мокрые от дождя, подобно пой-

манным зеленым рыбкам. Автомобили оставляли за собой искристый веер брызг, в которых вспыхивала радуга. Воздух был прозрачен и чист, он насыщался озоном, в нем звенела электрическая сила, возбужденная недавней молнией.

И странно, в эту минуту я и сам поверил, что Гажала жив. Живы все те, кто пролил кровь, защищая родину, и я, всю войну простоявший у постели раненых, больше не увижу страданий раненного на войне человека...

Гажала жив! Я и вправду увидел его в этом городе, святящемся победой, в этом первом послегрозном луче солнца.

II АНДРЕЙ ВОЛГИН

Четыре онколога на пароходе следовали в Нью-Йорк на всемирный онкологический конгресс. Это были профессор Глебов, профессор Новаченко, врачи Волгин и Екатерина Чуйко. Глебов, руководитель делегации, был человеком сдержанным и немногословным. Несмотря на кажущуюся внешнюю сухость и эмоциональную неуживчивость у него было мягкое, отзывчивое сердце. Пожилой, огромный, тучный профессор Новаченко, напротив, отличался шумным, беспокойным добродушием и оптимизмом, качествами, редко украшающими онкологов. Ведь прежняя бесперспективность борьбы против рака накладывала мрачный отпечаток на душу врача.

Андрей Волгин и Екатерина Чуйко были на много моложе Глебова и Новаченко и относились к новому молодому поколению ученых. Они снискали себе громкую славу, снизив смертность от рака в ряде районов республики. Об их научном подвиге газеты публиковали очерки, их имена произносились с гордостью и уважением. Смуглое лицо Волгина, прямые черные волосы, угрюмые, точно высеченные губы, твердый подбородок, сплошные белые зубы действовали на всех как-то особенно располагающе. С Екатериной Чуйко Волгин познакомился в районной больнице, где она работала хирургом. Несколько лет совместной работы сблизили их, они поженились. Какое это было замечательное время, полное напряженного творческого труда! Часто они появлялись в колхозах, вели беседы, читали лекции, развенчивали убеждение в том, что рак непобедим. Андрей и Катя.

умели предостеречь беспечного, убедить недоверчивого, успокоить встревоженного, помочь отчаявшемуся. В больницах они рубили цепкие, костлявые клешни рака.

Дни в плаванье проходили однообразно. Волгина утомляла вынужденная бездеятельность. Подконец уже, за день до прибытия в Нью-Йорк, Андрей и Екатерина познакомились за ресторанным столиком с доктором Эбботом. О нем стоит рассказать хотя бы потому, что Волгину еще придется с ним встретиться в Нью-Йорке при совершенно неожиданных обстоятельствах. Это был человек лет сорока пяти с самодовольным лоснящимся лицом и хорошим пищеварением. Глаза его в нависающих веках смотрели нагло и властно. Он был всегда голоден и промежутки между завтраком, обедом и ужином считал чрезвычайно большими. Эбботу принадлежали в Нью-Йорке несколько больниц и фабрика патентованных средств.

— А вы избрали какую отрасль медицины? — развязано полубопытствовал Эббот.

— Онкологию.

— Неплохо. Модная специальность. Кому угрожает смерть, тот щедро платит.

У Екатерины округлились глаза. Эббот продолжал.

— Эту подробность и я учел. Рак желудка приносит больше дохода, чем какой-нибудь гастрит или воспаление легких.

Екатерина вспыхнула.

— Ваше ремесло, видимо, состоит в том, чтобы требовать у больных «жизнь или кошелек»?

Эббот расхохотался.

— Все женщины сентиментальны!

Екатерина и Андрей переглянулись. Волгин спросил:

— Какие препараты готовит ваша фабрика?

— Преимущественно противораковые.

— Вот как! И они приносят пользу?

— О, да! Владельцу фабрики, — самодовольно улыбнулся Эббот. Он выпил еще одну рюмку коньяка, сморщив нос.

— И врачи рекомендуют ваши препараты? — с возмущением спросила Екатерина.

— Еще бы! Мы достойно оцениваем их усердие. Никто не отказывается от поощрений, если, конечно, они не носят отвлеченный характер.

Эббот положил на стол рядом с бутылкой портсигар. Откинувшись на спинку кресла, он с минуту молча разминал в пальцах сигару. Потом сказал.

— Надежда — это последняя богиня. Такую мысль высказал Фоскало. Между нами говоря, мы мало эксплуатируем эту человеческую слабость. Не обещайте больным столько, сколько вы можете им дать, а обещайте им столько, сколько они сами пожелают. Мои патентованные средства внушают больным надежды. Мне скажут: это шарлатанство. А я отвечу: шарлатанство есть не что иное, как приложение промышленности в медицине. Кто из проповедников медицинской морали может похвастать, что он составил себе за короткое время крупный капитал?

— Это бесчестно, — зло прищурилась Екатерина Васильевна.

Эббот возразил:

— Когда одного поэта спросили, о чем он думал, когда писал свои знаменитые песни, он ответил: о гоночаре.

Покинув Эббота, Екатерина и Андрей поднялись на верхнюю прогулочную палубу. Катя долго еще не могла отделаться от охватившего ее чувства омерзения.

— Слушая его, я думала о мере растления души этого человека.

— А я думал о величии наших людей, — сказал Андрей.

Они устремили взгляд в тревожную толчею волн, с ожесточением отнимавших друг у друга серебряные слитки солнца.



Когда пароход приближался к Нью-Йорку, все пассажиры высыпали на палубу. В толпе Волгин заметил квадратную фигуру Эббота, его красный затылок.

Пароход шел быстро, казалось, не он приближался к городу, а город подплывал к нему. Справа оставалась широкая бухта. Раритан, берег острова Стейтен-Алейна с маленькой бухтой Нижней, слева бухта Ямайка с многочисленными островками. Пройдя пролив Де-Карроус, лайнер вошел в Верхнюю Бухту, главную бухту Нью-Йорка, куда широкой лентой вливалась река Гудзон.

В бухте взад и вперед сновали буксирные парохо-

дики, катера, яхты, каботажные суда. Легкие глиссеры проносились так быстро, что пенистые волны по сторонам казались их белыми крыльями. У причалов стояли громадные экспрессы дальнего плавания, сухогрузные суда, танкеры, зерновозы, рефрижераторы. В океан из бухты по жирной, покрытой нефтью воде, выходили лодмейстеры, расставляющие в океане оградительные знаки, кабельные суда, прокладывавшие по дну океана кабель. Бухта наполнена была цветной россыпью огней, отражавшихся в воде дрожащими вертикальными столбами.

Нелепые, угрюмые коробки зданий громоздились друг на друга. Чуйко, опиравшаяся на руки Новаченко и Волгина, была потрясена видом этого необычайного города.

— Город Желтого Дьявола! — вспомнила она.

Тем временем, протискиваясь сквозь толпу, пробрался к Волгину Эббот.

— Наш Нью-Йорк! — восторженно воскликнул он. С живописной почтительностью он протянул в сторону небоскребов Манхэттена руку и с любопытством и гордостью заглянул в лицо Екатерины.



Томас Пейн начал свою карьеру в России в качестве рядового сотрудника одного из иностранных посольств. Русским языком он владел в совершенстве. Он проявлял незаурядные способности в разведывательной службе. Он умел смотреть и слушать, не подавая вида. Он с глупым лицом касался при расспросах щепетильной темы. Его подчеркнутые откровенность и простоватость были лишь маской обмана. Он ухитрялся присутствовать всюду, где были движение и суэта. Премудрости кодов, шифров, невидимых чернил он усваивал быстро, словно налету.

Пейн знал свое дело: он добывал сведения. В нужную минуту он мог приятно улыбнуться, произвести выгодное впечатление, умел заразительно смеяться, острить. В другой раз он менялся настолько, что его красное лицо и водянистые глаза внушали только ужас и омерзение.

На службе в Федеральном бюро он одно время состоял связистом. Никто так не мог прятать сведения, как он: в волосах, в ухе, под крышкой часов, в подошве сапога, в гуттаперчевых капсулах, которые заглатывал, в полых тросточках. Из французской тюрьмы ему удалось

в свое время бежать: он сообразил лимонным соком на обратной стороне конверта написать друзьям нужные указания.

Вскоре Томас Пейн занял в Федеральном бюро заметное место. В тот самый день, когда советская делегация прибыла в Нью-Йорк, к Пейну пришел повар с экспресса и передал микропленку, полученную им через специального агента. Вооружившись лупой, Томас Пейн начал изучать пленку.

В ней сообщалось, что в составе делегации на медицинский конгресс выехали из России видные онкологи Андрей Волгин и Екатерина Чуйко, открывшие новое средство против рака. Агент сообщал, что сведения посылает лишь предварительные, что сущность открытия ему еще неизвестна и что он будет искать способ проникнуть в институт, в котором они работают. Известно только, что ученым удалось снизить смертность и заболеваемость. Тут же прилагались снимки и выдержки о Волгине и Чуйко из газет.

Пейн сразу же придал этому донесению особое значение.

Спустя полчаса он уже изучал в отеле списки советской делегации.

— Врачи разместились на шестнадцатом этаже в четырех комнатах, — угодливо доложил портюе, вынув руки из карманов и почтительно склонив голову.



В тот же день Волгин получил письмо. Оно было ему вручено в присутствии всех делегатов. Волгин вскрыл конверт и прочитал письмо вслух:

«Дорогой друг! Только что узнал из газет, что ты приехал в Нью-Йорк в составе делегации врачей. Можешь себе представить, как я был счастлив, узнав об этом. Немедленно отправился в отель, но, к сожалению, тебя не застал. В шесть часов вечера буду в ресторане на углу, рядом с отелем. Жду тебя там, будь аккуратен. Твой... Нет, свое имя пока я тебе не открою, чтобы наша радостная встреча не утратила обаяния неожиданности. Поговорим, вспомним прошлое...»

Катя вопросительно взглянула на Андрея.

— От кого это?

— Не знаю... — Погружая записку в конверт, он напряженно вспоминал. — У меня был приятель, с которым мы пережили страшную бомбежку в Орше, Васильев. Действительно, позднее он работал врачом в каком-то посольстве. Не от него ли?

Новаченко оживился:

— Конечно, от него! От кого же еще?

В шесть часов Волгин, подстегиваемый любопытством, покинул отель и направился в ресторан. По дороге какой-то уличный фотограф, каких здесь много, сфотографировал Волгина и тут же предложил ему снимок. Волгин от снимка отказался. Сняв макинтош и отдав его гардеробщику, он вошел в большой зал, в центре которого в цветных лучах прожектора искрились тонкие струйки фонтана. Навстречу Волгину, протягивая торжественно руки, поднялся человек средних лет с красным лицом, светлыми волосами и водянистыми глазами.

— Я тебя узнал сразу, как только ты появился в дверях. Ты совсем не изменился, друг мой!..

Широким жестом он взял его за плечи и провел к столу, за которым сидел.

Нет, это не Васильев. Кто же? Андрей терялся в догадках. Но он еще не подавал вида, что не знает его. Прищурившись, не выказывая смущения, Волгин изучал человека с красным лицом. Через минуту он сказал.

— Нет, мы не знакомы.

— Разве? — загадочно улыбнулся человек с красным лицом. — А вспомни!

Волгин помолчал с минуту, потом повторил решительно:

— Нет, мы с вами нигде не встречались. Мы не знакомы.

Собеседник наморщил лоб и уколол Волгина своими бесцветными глазами.

— Не знакомы, так будем знакомы. Это несущественно.

Наполнив рюмку коньяком он с удовольствием опрокинул ее в широкий зубастый рот. Ничуть не смутившись, он продолжал:

— Сколько вы зарабатываете у себя на родине?

Волгин привстал. Человек с красным лицом удержал его за рукав:

— Не торопитесь, это не в ваших интересах, друг мой. Вашего заработка недостаточно, насколько мне известно, чтобы жить так, как причлещует столь крупному ученому и врачу. Как вы считаете?

— Я считаю, что разговор мы исчерпали.

— А я не придерживаюсь этой точки зрения. Человек, знающий себе цену, никому не позволит обманывать себя.

Для Волгина все это происшествие было большой неожиданностью. Ему понадобилось несколько минут, чтобы сориентироваться в обстановке. Оценивая создавшееся положение, опасаясь сделать ложный шаг, которым могли бы воспользоваться в провокационных целях, он сказал:

— Вы писали, что знаете меня давно. Я все же не помню, чтобы я встречался с вами раньше.

— Вам нужны доказательства? Извольте: вы родились в Запорожье, ваш отец — бакенщик на Днепре. В войну вы работали в медсанбатах и были ранены в ногу.

Холодным немигающим взглядом следил Томас Пейн, какое впечатление производят на Волгина его слова.

— Вот, видите, я все знаю. Теперь вы понимаете, насколько легкомысленно было бы разрушать наше знакомство каким-либо необдуманным поступком.

Волгин встал и направился к выходу. Вслед за ним встал Пейн, резким движением отбросив стул, заслонявший проход. Он пошел с ним рядом, держась настолько близко, что Волгин тесно чувствовал его плечо.

— У вас строптивый характер, — приблизив свой рот к уху Волгина, шипел он. — Но вы упускаете из виду одну подробность: это Америка! Мне думается, однако, что мы друг друга не поняли в достаточной мере. Я не предлагаю вам служить в разведывательных органах или доставлять нам необходимую информацию. Сохрани бог! У меня нет таких намерений. Это было бы слишком неразумно с моей стороны, я вам не давал повод считать меня идиотом. Я думаю, что для вас, равно как и для Чуйко, есть резон остаться работать в Америке. Если вы любите науку, если вы, действительно, хотите облагодетельствовать человечество, то у нас в Америке вы сумеете сделать все для этого. Поймите же, наконец, чорт возьми! Это не нанесет ущерб вашей родине. Понятно,

как честный человек вы должны дорожить ею. Но ведь ваше открытие — не военная тайна, не атомная бомба. Таким оружием, как средство против рака, нельзя выиграть сражение или победить в войне...

Волгин упорно пробивался к выходу. Его подмывало ответить этим наглым водянистым глазам, высматривающим добычу. Ответить поострее, похлеще. Но он подавлял в себе вспышки негодования.

— Не могу. Я связан, — сказал Волгин.

— Чем вы связаны? — перебил с притворным участием Пейн.

— Сожалею, что наша встреча состоялась здесь...

— В этом ресторане? — подхватил Пейн.

— Нет, в Америке.

Томас Пейн прикусил губу. Он еще несколько минут сопровождал его по улице. Вздохнув нарочито беззаботно и непринужденно, он продолжал:

— Я понимаю, такой сложный вопрос нельзя решить сразу. Подумайте. В вашем распоряжении два дня. 48 часов вполне достаточно, чтобы принять решение. Через два дня в этот час я жду вас на прежнем месте. Прошу не опаздывать. Иначе вы еще вспомните об этом случае!

Пейн пропустил Волгина вперед. Когда Волгин уже находился на расстоянии восьми шагов от него, Пейн прокричал ему вслед:

— Так помните же! Через два дня в ресторане! Желаю спокойной ночи!



Обо всем, что произошло в ресторане, Волгин немедленно рассказал председателю делегации профессору Глебову в присутствии Новаченко и Чуйко.

Андрей Федорович, конечно, не вышел на свидание к Пейну. На следующий день портье через профессора Новаченко передал для Волгина пакет. Новаченко принял его, предположив, что пакет прислан секретариатом конгресса. Волгин распечатал конверт и к удивлению его и профессора Новаченко из конверта выпали триста долларов ассигнациями и записка. В записке выражалась благодарность Волгину «за услуги» и сообщалось, что это лишь скромный взнос, который просят принять, как доказательство благосклонности и дружелюбия.

Вместе с Новаченко и Екатериной Волгин тут же спустился в вестибюль. Он разыскал портье и попытался вернуть ему пакет. Однако портье решительно отказался принять его.

— Простите, здесь нет обратного адреса.

— Вы этот адрес прекрасно знаете! — настойчиво и многозначительно сказал Андрей. Он был бледен, губы его дрожали. Волгин терял самообладание. Он бы сделал все от него зависящее, чтобы через минуту портье не смогли узнать даже его близкие, но Катя предупредительно встала между мужчинами. Сознывая себя в полной безопасности, портье издевательски-подобострастно улыбнулся и склонил голову так, что виден был весь его пробор, начинавшийся от затылка.

Тогда Волгин швырнул пакет в лицо портье. Когда врачи покинули вестибюль и вышли на улицу, портье подобрал пакет и прошел в кабинет директора. Там его встретил Томас Пейн. Его глаза не метали молний, напротив, они ласково и самодовольно улыбались.

Смерив портье снисходительным взглядом, презрительно оценив его растерянность, он взял из рук портье пакет и сунул его в боковой карман. Затем, ничего не сказав, удалился.



Врачи молча шли по Бродвею. Большой Белый Путь — так называют Бродвей из-за обилия световых реклам, не гаснущих даже днем. Составленная плоскостями небоскребов улица напоминала щель. Десятки автомобилей следовали один за другим, дымящие, пахнущие бензином. Казалось машины были связаны между собой, как состав поезда. Эта длинная лакированная цепь словно стягивала в один нелепый каменный узел этот город. Странное впечатление производили теперь на Волгина небоскребы: обнаженные скелеты зданий, а не дома. Коробки, оставшиеся после пожаров и утратившие свое архитектурное убранство. Камни и щебень, нагромождение строительного материала, которым наспех придали кубические формы. Тупая путаница прямых линий. И в сложной паутине этих линий, в капканах квадратов, в их обнаженной геометрии металась огни реклам, вырывающаяся подчас в простор неба, похожего на дно колодца.

На всю высоту этажей кувыркались буквы, слова, изображения предметов. Вот изо рта мечтательного субъекта валит дым сигареты, самой, конечно, лучшей сигаретты в мире. Вот красная электрическая струя выплескивается из бутылки, превращаясь в крикливую надпись, возвещающую качества напитка. Над ресторанами, барами, коктейль-холлами, кинотеатрами ежеминутно вспыхивают хитроумные сплетения неоновых трубок.

У стены врачи заметили одноглазого безногого человека с заостренными чертами лица. На груди у него висела надпись: «Не проходите равнодушно мимо! Во имя вашего благополучия я пролил свою кровь».

Катя сказала.

— Страшный город... В нем все подло и страшно: и эти световые рекламы, нагло обманывающие толпу, расцвечиваются уродливой жадной наживы. И эти небоскребы-кащей!..

— Это правда, — сказал Новаченко. — Не город, а дикая орда небоскребов, пляшущих с зажженными факелами.

Андрей всю дорогу думал о Пейне, о портье, о всем том, что произошло в эти дни. Глебов, заметив сосредоточенность Волгина, сказал:

— Они, конечно, на этом не остановятся. Нужно ожидать новых провокаций. Руководствуйтесь в поступках своих не столько голосом сердца, сколько трезвым рассудком. Ваше намерение внести коррективы во внешний облик портье мы сразу же распознали. Полагаю, что нам следует теперь держаться только вместе.

Андрей смущенно поднял брови:

— Вы мне не доверяете?

Глебов обошел сзади Новаченко и втиснулся между ним и Волгиным.

— Вам я верю, как самому себе. — Глебов крепко сжал руку Андрея. — Обещайте, что у вас на этот счет не будет возникать сомнений.



Выступление Волгина на конгрессе намечалось на субботу. В четверг, за два дня до выступления, делегацию пригласили ознакомиться с онкологическими и хирургическими больницами города.

Утром все четверо поднимались по изящной каменной лестнице многоэтажной больницы. Она принадлежала частному лицу. Одно из отделений предназначалось только для негров.

— Наш хозяин направления прогрессивного, — сказал Глебову встретивший делегацию врач, которому почему-то показалось, что Глебова шокирует присутствие негров. — Позвольте заметить, помощь неграм оказывается бесплатно.

— Бесплатно? — переспросил Глебов.

— Да, бесплатно. — Он добавил: — Поскольку они менее обеспечены.

— А белые?

— Белые оплачивают услуги больницы по расценкам.

Делегаты поднялись лифтом на шестнадцатый этаж. Здесь они встретили хирурга, буквально мчавшегося по коридору и на ходу сбрасывавшего верхний стерильный халат. У специального лифта хирурга поджидала сестра с новой сменой стерильных халатов и перчаток.

— Хирурги оперируют в палатах, — объяснял гид, — это имеет свой резон.

Волгин спросил:

— А есть операционные в больнице?

— Разумеется. Этажом выше. Мы пройдем туда. В палатах больные легче переносят операции. К тому же это увеличивает пропускную способность больницы.

— Рентабельность? — улынулся Андрей Федорович.

— Совершенно верно.

Катя шепнула Андрею на ухо:

— Как это мило звучит: рентабельно эксплуатировать человеческие недуги? Такое впечатление, что мы осматриваем... рынок болезней.

Профессор Глебов попросил гида проводить их в операционную. Они поднялись этажом выше, где размещался операционный блок. Здесь уже стояли врачи и наблюдали операцию. Хирург оперировал четко, спокойно. Неприятно поражало лишь то, что он, словно провинциальный парикмахер или плохой актер, всякий раз принимал живописные позы, изламывал кисть руки, отставлял мизинец, шевелил пальцами, показывал публике профиль, не отличавшийся, кстати, особым благородством линий.

Во время операции послышался легкий свист. Хирург

приподнялся на носках и, заметив в дверях маленького сухого человечка с длинной шеей и сильно развитым кадыком, приветливо улыбнулся.

— Приветствую вас, мистер Томпсон, — сказал хирург.

Старичок в расстегнутом халате, размахивая тросточкой, вошел в зал. Лицо его выражало спокойствие независимого человека и вместе с тем пренебрежение, брезгливое равнодушие, высокомерие, все то, что свойственно американцу, на все смотрящему как на вещи, которые можно купить. Свистать в операционной в Америке дозволено так же, как и в кинотеатрах.

Приблизившись к врачам, он равнодушно прошамкал:

— Могу ли я быть полезен вам как владелец больницы? С удовольствием посвящу вам минут двадцать.

Операция рака грудной железы приближалась к концу, и врачи проследовали за стариком. Из вестибюля двери были распахнуты во все операционные и вспомогательные комнаты. В сушилке на никелевых палках висели сотни резиновых перчаток. В материальных комнатах комплектовались стерильные переносные столики. Старичок терялся в толпе врачей, поэтому он старался держаться в стороне или впереди на почтительном расстоянии, чтобы не казаться незаметным. Огромный, неповоротливый профессор Новаченко следовал за Томпсоном с таким видом, словно боялся наступить на него.

Старичок, усиленно рекламируя свою больницу, больше напирал на обстановку и комфорт. По всему было видно, что мистера Томпсона больше вдохновляет число лабораторий, чем их назначение, тешит бойкая трескотня пишущих машинок, суета девиц, носящихся по коридорам с листками историй болезней, жужжание пылесосов, электрических поломоек — вся эта шумная видимость преуспеяния.

В ковровой комнате, предназначенной для отдыха выздоравливающих больных, врачи расположились, чтобы побеседовать.

Старичок Томпсон опустился в глубокое кресло и обвил высохшими руками колено ноги, переброшенной через другую ногу.

— Мои усилия, — говорил он, — сейчас сосредоточены на том, чтобы увеличить производительность. Достигнуть этого можно путем специализации. Прошу не

смешивать с той специализацией, против которой ополчилась вся американская медицинская ассоциация. Я хочу довести специализацию до выполнения врачом какой-нибудь одной небольшой детали, как на производственных конвейерах. Приучить врача, например, перевязывать только одну какую-нибудь артерию; представляете, какого совершенства достигнет он? Таким образом, мы выиграем время, сократим продолжительность операции. А время — всегда деньги.

— Смысл всей жизни врача вы сводите, значит, к завязыванию узелка на одной артерии? — запротестовал кто-то.

— Если это в интересах дела.

— Какого дела? — полюбопытствовала Екатерина.

— Я говорю о доходах больницы, — спокойно и невозмутимо уточнил старик.

Гид, сопровождавший делегатов, во время этой беседы стоял у стены с выражением почтительного внимания. Когда речь зашла о специализации врачей, он попытался вставить какое-то слово, но ничего не сказал, так как говорил Томпсон. Теперь, когда настала пауза, он разъяснил:

— В принципе мы против специализации врачей. Мы за то, чтобы множить врачей общей практики. Иначе перестанет существовать семейный врач.

Томпсон оживился.

— И это естественно, — сказал он, — нельзя устроить так, чтобы семья болела только одной какой-нибудь болезнью, например, катаром желудка. Если американцам с каждой новой болезнью придется обращаться к новому врачу, то, чего доброго, они потребуют социализации медицины.

Выпустив колено, Томпсон в раздумье пробежал костяшками пальцев по коричневому зеркалу круглого столика.

— У нас врач имеет многообразные функции в семье. Многие врачи наши сами являются дельцами, если судить по состоянию их доходов. В семье больного врач может выступать и в качестве советника по деловым вопросам. Состояние дел больного часто определяет состояние его здоровья. Врач должен быть и лицом духовным. Вера, как известно, делает чудеса там, где оказывается беспомощной медицина. Врач — священник: он

понимает, что миссия медицины не менее духовна, чем материальна.

Профессору Глебову, как, впрочем, и всем остальным, начинала надоедать проповедь Томпсона. Спасло их то, что вошел лаборант и пригласил врачей, конечно с благосклонного согласия Томпсона, осмотреть лаборатории. Все направилось к лифту. Главные лаборатории размещались на втором этаже. В первый лифт вошли профессор Глебов, профессор Новаченко, Катя. Следовавшего за Катей Андрея оттеснили, двери лифта захлопнулись, и Волгин остался на шестнадцатом этаже. Через полминуты в пролете послышалось щелканье, лифт выпустил пассажиров, но более не поднялся. По телефону сообщили, что лифт испортился. Волгин хотел спуститься вниз по лестнице, но Томпсон предупредил, что между двенадцатым и восьмым этажами ремонтируется лестница и пройти невозможно. Из машинного отделения передали тем временем, что лифт начнет работать через пятнадцать-двадцать минут. Чтобы не терять понапрасну времени, Волгин поднялся на семнадцатый этаж и провел эти пятнадцать минут в операционной.

Глебов, Новаченко и Екатерина, узнав об аварии лифта, направилась осматривать лаборатории, не дождав Андрея. Когда они вернулись, лифт все еще не работал. Прождав несколько минут у дверей, они попытались связаться с Волгиным по телефону, но им сказали, что Волгин в операционной на семнадцатом этаже. Тогда какой-то мужчина, стоявший рядом, предложил им подождать Волгина в больничном садике. Глебов поблагодарил и попросил лифтера-негра передать Волгину, как только он его увидит, что его ждут в садике.

Андрей дважды спуускался к лифту, но лифт все еще не работал. Когда Волгин спустился к лифту в третий раз, розовощекий доктор с нависающими мохнатыми бровями, топтавшийся у лифта, любезно сказал:

— Ваши друзья просили передать, что они покинули больницу и направилась в отель. Мистер Томпсон приносит свои извинения. Чтобы загладить вину перед вами, он любезно предлагает в ваше распоряжение машину.

Андрей вошел в лифт, за ним проследовал розовощекий доктор. На втором этаже Андрей остановил лифт, он хотел сам убедиться в том, что его товарищей в лабора-

тории нет. Розовощекий недоуменно взглянул на Волгина:

— Повидимому, вы меня не поняли? Повторяю, ваши коллеги покинули здание больницы.

Потом они вместе по лестнице спустились в бельэтаж. Вместо негра у лифта стоял другой человек. Завидев Волгина, он поспешил к нему.

— Простите, мистер. Вас просили ехать в отель. Туда отправились ваши коллеги.

— Благодарю, — медленно, раздумывая, произнес Андрей. Доктор с розовыми щеками сопровождал онколога к выходу.

— Прикажете вызвать машину?

Волгин пристально взглянул на доктора. Что-то в нем показалось ему странным.

— Я тронут вниманием. Но я не хочу злоупотреблять любезностью мистера Томпсона.

Волгин попрощался, сбежал по лестнице на тротуар и позвонил такси.

— Счастливо! — крикнул доктор вдогонку Волгину. Когда Андрей садился в машину, он заметил, как приветливо доктор взмахнул рукой и самодовольно улыбнулся своим неприятно розовым лицом.

В голове Андрея проносились разные мысли, впечатления дня: о рассуждениях Томпсона, о домашних врачах и свободной практике, о хирургах, которые служат хозяину, а не больному, о хозяине, который числит болезни в ряду своих собственных вещей. Метко сказала Катя: рынок человеческих болезней! Никаких чистых идей, возвышенных целей. Тупая страсть к наживе, коммерческий расчет!

Долго ли Волгин был в пути, он и не заметил. Он даже не обратил внимания на то, в каком направлении едет. Впрочем, он ничего не определил бы: в незнакомом городе, особенно в этом, все улицы похожи.

В лимузине было душно, однако Андрей не смог опустить стекла: рукоятки для спуска стекол отсутствовали. Когда машина остановилась, он увидел через стекло безлюдный, глухой переулок; справа и слева высились огромные, серые, бетонные стены без окон, похожие на стены складских помещений.

Через секунду — Волгин не успел даже опомниться — распахнулись все три дверцы и в машину ввалились люди

в шляпах, крупные, с квадратными физиономиями. Гнилой запах табачного дыма, отравленное, сопящее дыхание обожгло лицо Волгина. Слепой глазок револьвера несколько раз промелькнул перед ним. Андрей попытался вырваться, крикнул, выбил кулаком стекло. Осколки стекла зазвенели, посыпались на тротуар и в машину. В рукаве стало мокро и противно липко. Тяжелые потные тела навалились на него со всех сторон. Тем временем машина уже мчалась с большой скоростью. Еще несколько минут, и тяжелые железные ворота захлопнулись за лимузином. Выскочив из машины, улыбаясь и пряча в карманы пистолеты, агенты в изысканных выражениях пригласили Волгина пройти в помещение.



В больничном садике было много клумб, фонтанов, всюду на аллеях стояли массивные чугунные скамейки. По аллеям прогуливались в полосатых пижамах больные, многие из них у высокого фигурного забора переговаривались с людьми на улице, видимо, их близкими. В колясках на солнце грелись безногие.

Глебов, Новаченко и Екатерина Чуйко прошли к фонтану и присели на скамью. Здесь они решили подождать Андрея.

Сидевший в коляске человек средних лет, без ноги, с усталым взглядом и квадратным с ямкою подбородком отложил в сторону газету. Он прищурился и спросил, откашлявшись:

— Вам понравилась больница, — он снова откашлялся, — вашей делегации? Я видел, как вам ее показывали.

Глебов озабоченно наморщил лоб. Он почувствовал некоторое затруднение, которое без труда заметил безногий в коляске. Он сам пришел ему на помощь:

— Врачи здесь многим спасли жизнь...

— Да, — ответил Глебов многозначительно, — здание хорошее, оснащение, меблировка. Чисто, уютно.

— Но дороговато, — добавил безногий, сложив вчетверо газету и расправляя ее на здоровом колене. — Много денег стоит здесь лечиться. — Он вздохнул, снова откашлялся и задумался. — Да... Свершилось то, чего я больше всего боялся в жизни...

— Большая плата? — удивился Глебов. — Но вот негров ведь лечат бесплатно.

Безногий недоверчиво покосился на Глебова.

— Да, бесплатно.

— Так в чем же дело?

Безногий повел плечами. У него был такой вид, словно он понимал, что с ним хитрят.

— Надеюсь вам ясно, что положение человека, на котором упражняются, как на трупе или животном, еще более печально, чем наше. Томпсон — хитрая bestия. Если ему не удастся содрать с больного, он сдирает с врача. Врачи платят ему за то, что им позволяют ковыряться в животах у негров. Врачи учатся на них, это их учебный материал.

— И это узаконено? — возмутилась Катя.

— Не знаю, однако этому не препятствуют...

Безногий поправил пустую штанину на культе, подвязал ленточкой, чтобы не болталась. Пока он проделывал все это, лицо его выражало страдание. Потом он вытер тылом руки пот с побледневшего лба и облегченно вздохнул.

— Так всякий раз. Ужасная боль в культе, словно на меня снова навалился пятитонный кран. Когда все это кончится?

Глебов ответил:

— Трудно сказать.

— Каждый день мне влетает в двадцать долларов.

— Ногу вы где потеряли? — спросила Катя.

— На заводе. Сорвалось крепление крана...

— Так почему же медицинскую помощь не оплачивает завод?

Безногий откинулся на спинку коляски и улыбнулся.

— Юристы, за свое усердие получающие деньги от хозяина завода, сумели доказать, что ногу я потерял из желания... сократить свои расходы на обувь. Они убедили суд в том, что я преднамеренно подставил ногу под сорвавшийся кран, так как, с одной стороны, я вполне могу обойтись без одной ноги (с двумя больше хлопот), а с другой стороны, я избрал такой утонченный способ посягать на капиталы хозяина завода. Они доказали, видимо, что я не мог поступить иначе, как разыграть всю эту комедию с ногой, так как я бездельник и негодай. На этом основании все расходы за медицинскую помощь

несу я. Закон обязывает хозяина завода платить лишь в том случае, если травма произошла по вине завода, а не в связи с личной неосторожностью. Я полностью разорен. Вы сомневаетесь в этом? Вы не верите мне? Возьмите в руки карандаш, и я докажу вам, что говорю правду. Я хорошо зарабатывал. Все скажут вам, что три тысячи долларов в год — это такая сумма, о которой мечтает добрая половина американцев. Моя семья состоит из пяти человек — меня, жены, двух детей и моей матери. Вся эта история с ногой произошла четыре месяца тому назад. Двадцать долларов я плачу в день. Это — 2 400 долларов. Операция мне стоит 200 долларов. Семья за это время прожила около 400 долларов. Вы понимаете, конечно, что они жили впроголодь? У моей младшей дочурки заболели уши; за первый визит врачу заплатили пять долларов, а все лечение обошлось в восемьдесят. Всего за эти четыре месяца я израсходовал... Сколько там получилось у вас? Впрочем, я уже сам подсчитывал свои расходы не менее двадцати раз. Итак, всего я израсходовал 3 080 долларов. Сбережения мои составляли 400 долларов. Таким образом, свыше 2 600 долларов мы задолжали своим близким и кое-что продали из вещей. Что же теперь ожидает мою семью? Недаром меня всегда преследовал страх перед болезнью...

Сказав все это, безногий взялся за ручки коляски и подвигал рычаги.

— Простите, я расстроил вас своим глупым разговором. Когда человеку тяжело, у него возникает идиотское желание переложить часть тяжести на другие плечи, словно обладатели этих плеч об этом и мечтают. Досвиданья! — он опустил глаза и покачал головой.

По песчаной аллее тихо зашуршала удалявшаяся коляска.

Катя взглянула на часы и озабоченно напомнила:

— А Андрея все нет! Что с ним?

Профессор Новаченко встал.

— Я проверю. Ждите меня здесь.

Через несколько минут Новаченко вернулся. Глаза его выражали беспокойство и удивление.

— Говорят, он уехал в отель.

— Этого быть не может! — встревожилась Катя.

— Без нас он не покинул бы больницу, — согласился Глебов.

В бельэтаже розовощекий доктор любезно объяснил: — Лично я проводил доктора Волгина к выходу. Я видел, как он позвонил такси и сел в него. По всему было видно, что он направляется домой.

Глебов оглянулся и заметил негра-лифтера. Он подошел к нему.

— Вы передали доктору Волгину нашу просьбу?

Негр виновато улыбнулся.

— Я не видел доктора Волгина. Возможно мистер Волгин был здесь, когда я уходил, чтобы выполнить поручение.

Глебов задумался. Катя с нескрываемой тревогой в глазах подошла к нему:

— Скажите, не мучьте, вы что-нибудь подозреваете?

— Думаю, что он еще здесь.

— Я обегу больницу... — предложила Катя, чувствуя как всю ее охватывает волнение.

Глебов удержал ее.

— Пойдемте вместе, — тихо и спокойно сказал он.

Розовощекий недовольно процедил сквозь зубы:

— У меня нет оснований вас обманывать.

— Зачем же? — ответил Глебов. — Видимо, мы говорим о разных людях. И только.

Розыски в больнице окончились безуспешно. Тогда Глебов принял решение ехать в отель.

Всю дорогу Катя молчала. Побледневшие губы ее вздрагивали, в глазах вспыхивали испуганные мерцающие искорки. Когда и в отеле Волгина не оказалось, Катя, войдя в комнату, опустилась в кресло и закрыла лицо руками. Страшное предчувствие сжимало сердце. Новаченко сел рядом. Глебов ходил из угла в угол по комнате, опустив голову. Вдруг Катя схватилась с места, она почувствовала, что теряет самое дорогое в жизни: свою мечту, свои страдания, свое счастье... Глебов в это время стоял в противоположном конце комнаты. Она бросилась к Глебову, держа у губ смятый платочек. Глаза ее ничего не видели. Она заговорила быстро, задыхаясь.

— Вы опытный, умный человек... Помогите! Сообщите послу, в консульство... Известите конгресс! Объявите в газетах! Скажите всему миру!.. Мы должны спасти его, спасти... Слышите?!

Глебов поддерживал Катю за локоть. Профессор Новаченко подошел и ласково склонился над ее ухом.

— Успокойтесь, Екатерина Васильевна. Он вернется. Мы просто разминулись.

— Не обманывайте себя и нас! — Катя нетерпеливо и предостерегающе взглянула в большое, участливое лицо Новаченко.

Глебов предложил подождать еще пару часов, чтобы рассеять сомнения насчет случайностей. Сидели молча, каждый был погружен в свои мысли. Кате рисовались мрачные картины: Андрею выворачивают руки, вталкивают в холодную узкую камеру, он падает на каменный пол... Его пытаются, лицо обганяется кровью. Кто-то жесточайшей рукой наводит револьвер на грудь Андрея.

Новаченко искоса взглянул на Екатерину.

— Не отчаивайтесь, прошу вас!..

Катя спрятала в рукав платочек, ее врожденная седая прядка волос разметалась по лбу. В блестящих влажных глазах промелькнуло волевое напряжение, усилие.

Глебов взглянул на часы, встал, надел шляпу.

— Если скоро не возвращусь, не беспокойтесь. Могу задержаться в посольстве.

Несколько часов прошло в тяжелых переживаниях. Время от времени Катя проваливалась в сон. Нет, это был не сон, а душная дремота, сумеречное сознание. Кате мерещилось что-то тревожное. Вот она на окраине ищет Андрея. Какие-то трущобы, развалины... На мостовой видны полосы шарящего света автомобильных фар, а автомобилей не видно и не слышно. И вдруг красная вспышка и в ней строгое лицо Андрея. И еще, и еще: испуганные тени, выстрелы, крики... Много раз Катя схватывалась, просыпалась, а потом снова погружалась в тяжелый бредовый сон.

В два часа ночи кто-то настойчиво постучал в дверь.



Лицо Томаса Пейна выражало неудовольствие.

— Вы неаккуратны, мистер Волгин. Проще было прийти самому в ресторан в назначенное время. Способ, к которому мне пришлось прибегнуть, чтобы встретиться с вами, нельзя назвать деликатным. У меня не было выбора. Согласитесь с этим.

Томас Пейн встал из-за стола и подошел к Волгину. Заметив кровь на рукаве доктора, он резко обернулся к агентам и прокричал срывающимся голосом:

— Свины! Я всегда считал, что вам нехватает такта и вежливости!

Потом он смягчил голос и обратился к Волгину:

— Прошу прощения. Я могу вам обещать, что впредь...

Волгин смотрел на кривлявшегося Пейна спокойным, холодным взглядом, смотрел сверху вниз. Он был на голову выше Пейна, и Пейна раздражал этот прямой, колючий, прицеливающийся взгляд. Андрей сказал:

— Вы распорядились привезти меня не для того, я думаю, чтобы показать, как вы воспитываете своих помощников. Что вам от меня нужно?

Пейн опустил в кресло и показал рукой на такое же кресло рядом. Волгин сел.

— Я давно подозревал, что между нами есть недоговоренность. Теперь, я полагаю, мы найдем общий язык. Я не хочу принуждать вас, ваша добрая воля меня больше устраивает, чем согласие, вырванное под угрозой. Можно заставить человека переносить тяжести, но заставить его нельзя заставить даже силой оружия.

Пейн извлек из бокового кармана самопишущую ручку и стал вращать ее в пальцах. Глаза Пейна были настолько бесцветны, что, казалось, у него пустые орбиты. Волгин слушал Пейна подчеркнуто небрежно, и тот делал усилие, чтобы говорить спокойно.

— Вы не можете заподозрить меня в неосведомленности, — продолжал он. — Ваши успехи в области лечения рака не должны оставаться только достоянием России. Америка всегда живо откликается на каждое новое научное слово. Я пришел к мысли — и я сумею доказать свою правоту, — что есть смысл вам остаться в Америке и здесь продолжать свою работу, свои изыскания.

— Другими словами, вы хотите, чтобы я передал вам свои открытия в области борьбы против рака?

— В том, как вы сформулировали мое предложение, есть маленькая неточность. Мне кажется, что слово «передал» неуместно и несколько извращает то, что я предлагаю. Вы просто поделитесь своим опытом.

Волгин сосредоточился, словно обдумывая, выгодно ли ему войти в сделку.

— А если я откажусь, что тогда?

Пейн развел руками. Памятуя о своем золотом правиле при допросах предпочитать мягкость жестокости и хитрость принуждению, пока, конечно, он мог еще на что-то рассчитывать, Пейн сказал:

— Вольному воля...

Пейн встал, прошелся по комнате. Вернувшись к столу, он вынул из ящика пакет, раскрыл его и бросил на стол несколько фотографий и бумажек. Фотографии он разложил веером, как гадалка раскладывает карты, лицо его напряглось и от того стало еще более красным.

— Насчет вашего возвращения в Россию у вас не должно быть двух мнений. От этой мысли вы раз и навсегда должны отказаться. В противном случае все эти документы мы передадим вашим властям.

Волгин склонился над столом, чтобы рассмотреть фотографии. Пейн комментировал их со злорадством в голосе:

— Вот доктор Волгин входит в ресторан, чтобы встретиться с тайным агентом ФБР. (Андрей вспомнил уличного фотографа). Вот небезызвестный Пейн обнимает доктора Волгина в ресторане и провожает его к столику. Вот они сидят за столиком и пьют коньяк. Всем известно также, что вы уже получили вознаграждение из рук портье. То, что вы вернули деньги, это не имеет никакого значения. Вы разыграли эту комедию для того, чтобы оправдать себя в глазах своих товарищей. Вот Пейн провожает вас из ресторана: сцена дружеского прощания. И, наконец, письмо от подозрительного друга. Разве этих фактов недостаточно, чтобы возбудить к вам недоверие? Верьте моему опыту, в таких случаях трудно отличить правду от вымысла.

Волгин выслушал все, что сказал Пейн, с таким видом, словно речь шла не о нем. Он даже с некоторым озорным любопытством, как показалось Пейну, следил за пояснениями. Пейна это взорвало.

— Что вы смотрите на меня так, будто это не вас касается?!

— Правду от вымысла, говорите?.. Правду от подлости всегда отличить можно.

— Оставьте! Это не театральные подмостки. Если вам еще не все ясно, и то, что я сказал, недостаточно убедительно, так слушайте же: — Нью-Йорк многомиллион-

ный город. Вот вам несколько справок: от уличных катастроф ежедневно гибнут двенадцать человек. Убийств с целью грабежа...

Волгин встал, улыбнулся и сказал:

— Теперь вы меня убедили. Я согласен.

Пейн набрал полную грудь воздуха, шумно выдохнул его, протянул вперед руки и сделал несколько шагов в направлении Волгина. Он хотел пожать ему руки, но они повисли в воздухе. Андрей спрятал свои руки за спину.

— Брезгуете? Но теперь же у нас нет разных интересов!

Помолчав минуту, он добавил:

— Я понимаю, что такое решение не дается легко. Я не хочу быть ни навязчивым, ни грубым. Теперь вы получите возможность отдохнуть в интеллектуальной беседе. Профессор Стронг и доктор Эббот к вашим услугам.

В смежной комнате со скучающим видом на диване сидели профессор Стронг, руководитель онкологических экспериментальных лабораторий, и доктор Эббот, владелец онкологических клиник. Когда вошел Волгин, Эббот прищурился, лицо его выразило сначала недоумение, а потом восторг.

— О, мистер Волгин! Какая неожиданная встреча!

— Вы знакомы! — удивился Томас Пейн.

— Да, мы познакомились на пароходе по дороге в Нью-Йорк. Я и не подозревал, что в лице моего спутника я познакомился с великим человеком современности, талантливым ученым.

Пейн удалился. В комнате остались трое: профессор Стронг, Эббот и Волгин. Андрей держал себя свободно, непринужденно. Сначала они обменялись ничего не значащими общими фразами, потом коснулись конгресса. Стронг заметил, что успехи медицины отстают от успехов техники. Привыкнув немного к собеседнику, Стронг спросил:

— Эта обстановка не мешает нам начать специальный разговор? — Он извинился: — Я поставлен в тяжелую необходимость...

— Нисколько не мешает.

— Ученые способны вести научный спор в любой обстановке, — заметил Эббот. Он положил свои сильные

волосатые руки на стол, прикрыв левую кисть ладонью правой.

Стронг жеманно и умиленно склонил голову набок.

— Что могло бы способствовать успеху вашей работы? Я не считаю возможным в данную минуту касаться шепетильной темы... научных секретов и тому подобного.

— У меня нет секретов, — просто сказал Волгин.

Стронг принял это, как намек на то, что все вопросы такого порядка уже разрешены с мистером Пейном.

— Тогда в чем состоит ваш метод?

Эббот дополнил вопрос Стронга, который в это время самодовольно поглаживал свою бородку.

— И что необходимо, чтобы ваш метод возымел действие?

— Социальные преобразования, — ответил Волгин с невозмутимым видом, перебрасывая ногу на ногу.

— Н... не понимаю! — удивился Стронг.

— Вы не ослышались: нужны социальные преобразования. Тогда мой метод окажется эффективным у вас в Америке в такой же мере, как и у нас в России. Как все это сделать? Лабораторий тут мало. Нельзя приготовить сыворотку или вакцину, которые привили бы людям революционные взгляды. Я отсылаю вас к трудам Маркса, Энгельса. Чем вы смущены, профессор Стронг?

— Вы издеваетесь над нами! — вмешался доктор Эббот.

Стронг недовольно крикнул.

— Это совсем неостроумно. Многое можно вам простить. Сколько вам лет?

— Намек на мою молодость неуместен: бывают и старые ослы.

У Стронга отвалилась нижняя губа.

— Вы намерены говорить с нами серьезно?

— Я это с удовольствием делаю.

— Нет, вы дурачите нас! — возмутился Эббот.

— Я попрежнему настаиваю, — спокойно продолжал Волгин, устремив на Стронга насмешливые, озорные глаза, — что без предварительных изменений в социальной структуре общества...

— Вы все о том же? — нетерпеливо перебил Эббот.

— Да, о преимуществах социалистической системы перед капиталистической.

Стронг снял роговые очки и уложил их в футляр.

Волгин тем временем изложил план противораковой борьбы в Советском Союзе.

— Мы — врачи, и мы не должны возмущать свою совесть политической борьбой, — сказал Стронг.

Стронг и Эббот встали.

— Для своей пропаганды вы избрали неподходящее место и неблагоприятных слушателей, — сказал Эббот.

— Выбор места сделали вы, а не я, — равнодушно ответил Волгин.

Стронг что-то промычал, потом раздраженно постучал футляром по ладони.

— Итак, вы не хотите с нами поделиться вашими истинными достижениями. Что вам мешает это сделать? Вашим пристрастием к юмору можно объяснить все то, что вы сообщили нам.

Стронг стоя ожидал ответа, в то время как Волгин продолжал сидеть. Борода Стронга вздрагивала. Эббот стоял рядом, расставив ноги и заложив руки за спину. Он покачивался выжидающе, то становясь на носки, то откидываясь на каблуки.

— Что мешает мне поделиться с вами? Вопрос этот нужно изменить: что мешает вам понять меня? Ответаю: разница в мировоззрениях. Вы смотрите на всякое открытие, как на способ выколачивать деньги, а мы в открытиях видим орудие для добывания народного блага.

Когда со слов Стронга и Эббота Томас Пейн узнал о том обороте, какой принял их разговор, он был взбешен. В неудобоназываемых выражениях он обрушился на них, обвинил их в тупости, в неуместной вспыльчивости, в поспешности выводов:

— Вы позволили себя одурачить, как школьников, вас обвели вокруг пальца, как провинциалов! — кричал Пейн.

Стронг защищался: «Здесь есть какое-то недоразумение. Никакого открытия Волгин не сделал. Это вас ввели в заблуждение. Еще не созрела наука в той мере, когда можно ожидать открытия средства против рака. Такое открытие еще не подготовлено самим развитием науки, и я хочу, чтобы у вас на этот счет не оставалось никаких сомнений. Летящую крепость нельзя было сконструировать лет восемьдесят назад».

Эббот поддержал Стронга и упрекнул Пейна в том, что он, видимо, из сочувствия к новым социальным веяниям учредил при ФБР курс лекций по вопросам советской медицины. Это нанесло чувствительную рану профессиональному самолюбию Пейна. Он потребовал от Эббота сохранять приличие и не оскорблять достоинство официальных чинов Бюро. Потсм он ворвался в комнату к Волгину.

Он хотел убедиться в том, что Стронг и Эббот неправы, что они позволили себя обмануть.

— Можно ли найти общий язык с такими зазнайками и с непосвященными самоуверенными дураками? — обратился Пейн к онкологу. Возвав к совести и добропорядочности Волгина, он с дрожью в голосе сказал:

— Я привык уважать и ценить данное слово. Раз мы уже договорились, раз вы обещали...

— Но я ведь честно выполнил свое обещание.

— Тем, что вы уже сообщили Стронгу? — спросил Пейн.

— Естественно.

— И вы ничего не добавите к тому, что сказали?

— Разве только то, — спокойно и вызывающе продолжал Волгин, — что социальные преобразования, о которых шла речь, обязательно произойдут, притом независимо от ваших усилий. Совершенно независимо! Эти-то преобразования и есть как раз прекрасное средство не только против рака, но и против всех прочих язв человечества. Вы, любезный Томас Пейн, даже не подозреваете, что среди всех бактерий, угрожающих жизни человеческой, самая страшная и жестокая есть бактерия капитализма.

В тот же день в ФБР поступили тезисы предстоящего доклада Волгина на конгрессе. Когда Пейну доложили об этом, Эббот и Стронг еще находились в ФБР. В их присутствии Пейн пробежал тезисы, потом с мрачным видом передал их своим медицинским консультантам.

— Если бы я имел эти тезисы несколькими днями раньше, — сказал Пейн, не поднимая глаз, — я бы не затевал всей этой нелепой истории.

Эббот улыбнулся.

— Пустой билет.

Когда Пейн провожал Волгина к выходу, в дверях он сказал:

— Мы задержали вас по той причине, что вы нанесли оскорбление одному из сотрудников больницы. Забудьте обо всем, что произошло. Это в ваших интересах, — закончил он многозначительно.



Волгин шел по плохо освещенной незнакомой улице. Ему все стало ясно. Способ борьбы против рака в его изложении явно не понравился Пейну. Дальнейшая «обработка» Волгина могла бы принести Пейну скандальную славу. Тем скорее он попытался избавиться от него, чтобы не стать в кругу своих друзей и в глазах начальства всеобщим посмешищем. Если вся эта история приобретет широкую огласку, Пейн потеряет свое доброе имя, он станет героем фельетонов, предметом насмешек, издевательств, презрение обрушится на его голову. «С помощью Пейна похищено у коммунистов открытие, засекреченное средство. Как вы думаете, какое? Соображения Карла Маркса насчет социального переустройства мира! Отныне Уолл-Стрит получит возможность свободно распоряжаться этим открытием. Слава Пейну!» Волгин громко расхохотался при мысли о том пикантном положении, в какое попал видимо опытный разведчик.

Эти размышления были настолько приятны Волгину, что он даже не обращал внимание на боль в руке. Вспомнив о Кате, он ускорил шаги. Сердце его забилось чаще, он угадал ее волнение. «Родная моя, беспокойная ласточка!» — шептал он. Теперь Волгин чувствовал себя вне опасности, он был убежден, что на людных улицах его никто не остановит, не схватит. Застегивая пиджак, Волгин вдруг вскрикнул от острой боли. На правой ладони зияла кровоточащая рана. Он тут же вошел в первое попавшееся парадное, освещенное ярким светом. В ране Андрей заметил обнаженное сухожилие, блестящее, как осколок перламутра. Рукав и борт пиджака были забрызганы кровью.

Андрей вышел из парадного и повернул за угол. На новой улице было светло как днем. У каждого дома он останавливался и прочитывал вывески. Вскоре он набрел на скромную табличку врача-хирурга. Он поднялся на шестой этаж и постучал в дверь. Ему открыла седая женщина, приветливая, суетливая. Она проявила даже

некоторую растерянную взволнованность, какой встречают приятного гостя или человека, явившегося с подарком. «Присядьте, пожалуйста, прошу вас».

Через несколько минут в дверях кабинета появился доктор в длинном шелковом халате с гесточкой, с раздражительными складками у рта и отвисающими щеками. Он пригласил Волгина в кабинет. Здесь было неуютно и тесно. В многочисленных шкафчиках и на письменном столе были разбросаны коробочки, флаконы, пакетики с патентованными средствами, издававшими тяжелый аптекарский запах. Андрей показал раненую руку врачу. Врач осмотрел ее, повертел, пощупал, предложил пошевелить пальцами, потом положил руку Волгина на свою ладонь, точно взвешивал ее, и поднял усталые глаза на онколога.

— Это будет стоить шесть долларов.

— перевязка?

— Тут не только перевязка. Стоимость лекарств теперь очень возросла. М-да... Вас, я вижу смущает то, что я называю цену за свои услуги. А кто вы? Коммерсант? Виноторговец? Фабрикант? Впрочем, это несущественно. Я вам плачу по цене, которую вы устанавливаете, почему же я не имею права называть цену за свой труд?

Волгин смущенно улыбнулся.

— Нет, пожалуйста, я не возражаю.

— Смешно было бы возражать, — убежденно заметил доктор и направился к умывальнику.

Закончив перевязку, он сел за стол и написал рецепт. В нем было не менее десяти средств...

— Прощу. Рекомендую заказать в аптеке напротив. Там работают добросовестные люди.

Волгин отсчитал шесть долларов. Хирург возбудил в нем любопытство и, прежде чем покинуть кабинет, он спросил:

— А почему вы решили, что я собираюсь устанавливать цену на ваш труд?

— Мне так показалось. Это теперь обычная история. Как правило, я не ошибаюсь. Все считают, что врачи обязаны быть филантропами. Для других профессий, разумеется, это не обязательно. Но если мой врачебный труд плохо оплачивают или вовсе не оплачивают, как это часто случается, то это почему-то не считают за грабеж...

Меня возмущает такое отношение к нашему труду.

Спрятав в карман доллары, доктор после небольшой паузы продолжал:

— В подвале этого дома живет безработный. Он вчера вызвал меня к себе. Я нашел в правом легком каверну. Посоветовал ему сменить квартиру, предложил одеваться потеплее, хорошо питаться, — молоко, яйца, масло, — прописал ему стрептомицин. Сегодня меня снова к нему вызвали. Состояние резко ухудшилось. Ни одного моего назначения больной не выполнил. Домовладелец не предоставил ему бесплатной квартиры, в молочном магазине за масло требуют деньги, мануфактуристы, как и аптекари, и слушать не хотят о бесплатной выдаче ему одежды и лекарств. Оказывается, филантропия обязательна только для меня. Для всех остальных она не обязательна. Всем остальным у бедняка брать деньги дозволено, гуманно, справедливо. Почему же только я должен любить ближнего больше, чем самого себя? Почему эти филантропические законы пригодны только для нас, врачей, и не распространяются на вас, коммерсантов, или владельцев заводов?

Волгин выслушал все это, молча поправляя бинт на ладони. Он чувствовал себя слишком утомленным, чтобы вступать в длинный разговор. Все эти рассуждения доктора повеяли на него каким-то холодом прошлого, жесткостью минувшего времени, а не веком, в котором он живет, творит, любит, борется. Все то, что он увидел здесь в Америке, выглядело для советского человека так дико, что казалось выдумкой, бредом, фантазией, словно солнце никогда и не всходило над этими серыми глыбами нью-йоркского камня.

Волгин взглянул на двери и отступил несколько от письменного стола. Рассудив, что пациент торопится, доктор встал и проводил его к выходу.

— В других аптеках нет лекарств такого безукоризненного качества, как в этой. Чем больше лекарств, тем скорее заживет рана, — напутствовал он Андрея.

— И тем больше заработает аптекарь, — заключил Волгин, раскрывая немудрую хитрость доктора.

— Медицина еще не столь совершенна, чтобы одним средством предупредить все возможные осложнения, — смущенно заключил доктор.



Когда стук в двери повторился, Катя как бы очнулась от сковывавшей ее тревожной и душевной дремоты. Повернув ключ в замке, она открыла. В коридоре горел свет, в комнате же было темно. В светлом прямоугольнике дверей она увидела темный силуэт мужа, медленно переступавшего через порог комнаты. Профессор Новаченко включил настольную лампу. Катя испуганно вскрикнула: «Андрей! Андрюша!» Она бросилась к нему, обняла, стала судорожно ощупывать плечи, грудь, голову. Она целовала его в глаза, лоб, щеки.

Усаживая Андрея в кресло, Катя вдруг заметила окровавленную повязку. Андрей поймал ее вопросительно-встревоженный взгляд.

— Пустяки... Небольшая царапина.

— Ты успокаиваешь меня?

Волгин только сейчас обвел глазами комнату, бережно высвобождаясь от заботливого плена жены.

— Профессора Глебова нет?

— Он в посольстве, — ответил Новаченко. И тут же добавил, обращаясь к Кате: — Пришел, вот видите? А вы не верили мне.

Андрей обнял Катю, прижал к себе, смиряя ее суетливое беспокойство.

— А мог не вернуться...

Резко встав, он вышел на середину комнаты, глаза его возбужденно блестели.

— Вот оно где илистое дно, по которому снуют змеи! Теперь я постиг всю глубину их подлости!

Катя не сводила глаз с Андрея, следила за каждым его движением. В нем было что-то такое, чего она не замечала прежде: напряженная усталость в глазах, следы внутренней борьбы, резче обозначились на переносице волевые складки. Что-то новое появилось в нем, или это новое состояло в том, что исчезло старое, то, что было прежде ему свойственно: ироническая светлая улыбка, спокойное сияние уверенного в своей правде человека. Катя эти изменения в Андрее воспринимала с болью в сердце. Она любила его, и боль, которую испытывал Андрей, отзывалась в ее груди с утроенной силой.

— Климат этот не для нас. Чем дышат здесь люди? Зловонными испарениями, нечистотами этого продажного

мира, где нет ничего святого, где торгуют всем: совестью, честью, идеями! Я не могу здесь оставаться более ни одной секунды. Скорей бы вернуться в наш светлый мир, к нашим простым бескорыстным людям, подальше от эбботов и пейнов, отравляющих воздух гнилым, смрадным дыханием!

Это был взрыв, душевная разрядка после напряженной продолжительной борьбы. Андрей истощал себя тем, что все время сдерживался, смиряя свои чувства. Своим невозмутимым спокойствием он свалил Пейна, заставил его трусливо поднять руки вверх. Когда потом Пейн разобрался, какое открытие было предметом его вождлений, у него язык присох к небу. Он имел вид человека, прикоснувшегося к обнаженному электрическому проводу.

Рядом с Волгиным теперь стояла Катя. Напротив в кресле сидел Новаченко. Возбужденный недавними переживаниями Андрей рассказал все, что произошло с ним в этот день.

— Ты вел себя достойно. Иначе и быть не могло, — положив ему руки на плечи и заглядывая в глаза, сказала Катя. Она судорожно прижалась к нему, словно защищая от тех, кто хотел отнять его.



Большой, строгий зал конгресса был переполнен. Волгин неторопливо прошел к высокой, узкой трибуне, заметно прихрамывая (он всегда прихрамывал сильнее, когда волновался). Черным непроницаемым полукольцом сомкнулась перед ним аудитория. Окинув беглым взглядом зал, он увидел во втором ряду Глебова, поощрительно улыбавшегося, профессора Новаченко, возвышавшегося на две головы над соседями, серебряный разлет прядки в волосах Кати.

Спокойно и ровно Волгин начал говорить. Смуглое лицо его оживилось подвижной и энергичной мимикой. По мере того как он развивал свои мысли, он замечал одобрительные улыбки на одних лицах и встревоженное негодование и даже злость на других. Теперь живое полукольцо амфитеатра не казалось ему однородным, сплошным, враждебным. Речь его нередко прерывалась аплодисментами, круг его друзей и безвестных едино-

мышленников расширялся. Он чувствовал это все отчетливее и глубже.

— Рак — жестокий враг человечества, — твердо и величественно звучал его сильный мужественный голос, — мы еще не сорвали покрывало с его тайной сущности. Значит ли это, что мы беспомощны, что мы должны смириться перед его разрушительной силой?

— Есть состояния, — продолжал он, — которые мы называем «предрак»: язвы, рубцы, эрозий, хронические воспаления. Мы как раз вышли на линию этих предраковых состояний. Мы направили свои главные удары на эти заболевания. Слава тому, кто вынес ребенка из горящего дома! Но разве не выше и не громче должна быть слава того, кто предупредил пожар? Мы научились распознавать шорохи приближения рака и сразу же, опережая время, обрушиваемся на него.

То место доклада, в каком он сообщил о снижении смертности от рака, было выслушано с особым напряженным вниманием. Зал притаился, лица вытянулись, недоверчивый восторг выражали одни, разочарование — другие, обостренный интерес — третьи. Волгин тем временем со страстным увлечением рассказывал о поголовных осмотрах населения, о том, как больным безвозмездно и незамедлительно оказывается медицинская помощь.

— Твердыня рака поколеблена, — говорил Волгин. — Мы не безоружны в борьбе против рака. Наше оружие — коммунистическая забота о народе, о его благополучии, о его счастье!

— Это пропаганда! — выкрикнул кто-то из зала.

Сухопарый человек с отвисающей челюстью и мохнатыми седыми бровями с достоинством и авторитетно сказал:

— Напоминаю вам, что здесь медицинский конгресс.

Но в ту же минуту со всех сторон послышались одобрительные возгласы:

— Просим! Просим! Продолжайте, мистер Волгин!

— Не пропаганда, а факты! — выкрикнули откуда-то слева.

Выбрав время между двумя репликами, Волгин заключил:

— Мы всюду разбросали противораковые заставы. Не допустить рак, преградить ему путь легче, чем бороться с ним, когда он уже вторгся в организм человека.

В перерыве Волгина окружили несколько делегатов. Сухопарый человек с отвисающей челюстью был тут же. Высокий, худой, с сигарой во рту, он стоял позади всех, прислонившись к дверям. Густым, как басовая струна, голосом он медленно отчеканил:

— Вы повели наступление не против рака, а против врачебного сословия.

Все оглянулись на голос. Человек с отвисающей челюстью пренебрежительно покачивался и проворачивал во рту сигару.

— Тем, что не умножаем болезни, а сокращаем их? — прищурился Волгин.

Сухопарый растолкал толпу и приблизился к Волгину:

— Тем, что подрываете основы общества. Вы хотите пустить под откос поезд...

— Чей поезд? — вмешался в разговор угловатый, гладко выбритый доктор.

— Поезд нашей жизни.

— Поезд, из которого вы бесцеремонно вышвыриваете пассажиров и хотите притом, чтобы они в порыве признательности посылали нам воздушные поцелуи? Взгляните, сколько людей лежат под откосами, раздавленные вашим поездом! — горячо возразил кто-то.

— Все это мы уже слышали от Генри Уоллеса. В этом смысле его еще никто не превзошел. Я о другом.

Сухопарый обратился к Волгину:

— Благотворительность нельзя расширить в такой мере, чтобы проводить поголовные осмотры населения безвозмездно. Тогда врачи у нас будут питаться корой и мохом. Наш противник — рак. Согласен. Вы преследуете его. И это верно. Но вы никчемный полководец. Преследуя врага, вы вывели свои войска на тонкий лед. С кем же вы будете драться против рака? С другой стороны, вы возбудите народ, посеете смятение. Вспугните их только призраком неизбежной смерти. Их животный страх обратится против вас же!

Волгин молчал.

— Что же вы тогда предлагаете? — спросили у сухопарого.

— Искать сыворотку.

— А тем временем пусть умирают миллионы!

Сухопарый провожал любопытным взглядом кольца

голубого дыма, уплывавшие в потолок. Он развел руками, выражая этим смирение перед неизбежным.

— Необходимая уступка болезни.

— Но там, в России, не уступают!

— И не ждут сыворотки, — добавил врач-негр, внимательно следивший за дискуссией.

— Мы и с сывороткой умирать будем. Дело не в сыворотке. Мы умираем потому...

— ...потому, что это участь каждого, — прогудел сухопарый.

— ...каждого бедняка, — уточнили из толпы.

— ...каждого негра, — добавил негр.

— Перед смертью все равны, — снисходительно улыбнулся сухопарый, — и богатые умирают.

— Не насильственной смертью. Не под откосами! — спокойно ответили ему.

Сухопарый опустил в пепельницу догоревшую сигару, пошевелил пальцами, отряхивая прилипшие мелкие пластинки табака. Недовольно сморщив свое длинное лицо, он отрывисто сказал:

— Наш спор приобретает нежелательную политическую окраску. Пенициллин не растворяют в философских идеях. Его растворяют в воде. Вы предлагаете нам прописывать пациентам коммунистические истины, как прописывают бром или валериану? Я еще раз повторяю: медицина не должна возбуждать толпу против социальных порядков, которыми мы обязаны нашим героическим предкам.

Звонок оповестил об окончании перерыва. Все поднялись и направились в зал. Первым после перерыва выступил врач из Пенсильвании Уилфред Харви. Выступление его, пожалуй, было самым ярким и вдохновенным. Несколько раз его прерывал сухопарый злобными репликами.

— Мы приветствуем успехи противораковой борьбы в России, — начал свое выступление Харви. — Там добились успехов без сыворотки. Это потому, что интересы народа у них на первом плане. Поможет ли нам сыворотка, если больным недоступно лечение? Многие больницы поэтому пусты. Наш общественный строй превратил врача в лавочника, в предпринимателя от медицины, в коммивояжера лекарственных фирм. Хваленая частная инициатива возбуждает в таких врачах

алчность, несовместимую с гуманной миссией врача. Взгляните правде в глаза! Разве я обманываю вас? Свидетель бог, я говорю правду. Неудобную, жестокую, но правду. Не затыкайте уши, выслушайте ее и согласитесь, если вас еще не покинуло мужество: вы больше заинтересованы в распространении болезней, чем в их ликвидации. Это ваш хлеб. Бизнесмены холодны и бездушны, они не станут подпиливать дерево, на котором сидят. Они думают не о том, как подешевле продать свой товар, а о том, как больше заработать. Они ищут рынков. Наш рынок — болезни, больные люди, туберкулез и рак, сифилис и тифы. Чем их больше, тем больше спрос на наш «товар». Вот почему в Америке врачи против здоровья. Есть цель — доллары, здоровье человека оценивается ими. Под гильотиной доллара гибнет все. А народу нужно то, что есть в России: светлая и бескорыстная любовь к простым людям...

Екатерина взволнованно аплодировала. Вслед за ней зааплодировали сотни врачей, профессоров, ученых. Волгин окинул взглядом зал. Он увидел на лицах восторг, удовлетворение, разочарование, оскорбленное достоинство, возмущение и бесстрастную невозмутимость. В первом ряду кто-то громко протестовал. Харви продолжал свою речь голосом, идущим от наболевшего, разбуженного сердца:

— Мы с вами стоим у истоков человеческого горя. Мы его видим каждый день, обнаженное и неумолимое. 25 миллионов человек в Америке страдает от хронических болезней. 325 тысяч человек ежегодно умирает только из-за отсутствия медицинской помощи. Ежегодно 250 тысяч человек превращаются в инвалидов, непригодных к труду. 150 тысяч детей больны туберкулезом. Болезнь влечет за собой не только докторские счета, но с нею прекращаются и заработки. Вы говорите: сыворотка? Нет, не в сыворотке дело! Нужны средства более радикальные, и они лежат уже не в области аптекарских снадобий. Нужна та же решимость, которая возвысила советскую цивилизацию над всеми цивилизациями прошлого и настоящего. Тут возмущались: не вмешивайте науку в политику. Но ведь это и есть политика, политика ваших хозяев! От вас требуют, чтобы вы равнодушно прошли мимо того, что 350 тысяч человек ежегодно умирают, им не оказывается медицинская помощь. Разве

это не политика? Стыдливым плащом непротivления вы хотите прикрыть волчью пасть капитала. Наша наука — угодливый кельнер, лакей в ливрее, слуга с сутулой от почтительных поклонов спиной. Так обратите же свой гнев и свое оружие против тех, кто ослабляет борьбу с болезнями, и вы увидите, что ваши стрелы устремятся в алчных властелинов доллара!

С радостной мыслью о речи Харви советские делегаты возвратились в отель.

Утром следующего дня Глебов срочно вызвали к телефону и сообщили, что Государственный секретарь требует от советской делегации, чтобы она немедленно покинула Америку. Разговор был короткий и безапелляционный:

— Вы оскорбили страну, которая оказала вам гостеприимство.

— Простите, мы говорили только о своей стране, о своих достижениях и ни словом не обмолвились об Америке.

— Безразлично, какой способ вы избрали, чтобы унижить нас. В шесть часов вечера из Верхней Бухты отходит лайнер в Европу. Билеты вам заказаны.



В толпе провожающих Волгин увидел Уилфреда Харви, врача-негра и еще нескольких врачей и ученых, с которыми он встретился на конгрессе. Они пришли с цветами, у них были возбужденные лица.

Харви расцеловался с Волгиным.

— Настоящая дружба рождается в борьбе, — сказал он.

Негр подарил Глебову свой стетоскоп из слоновой кости. Эту трубку преподнесли ему больные в день его сорокалетия. С дрожью в голосе, смущенно морща лоб, он сказал:

— В ней запечатлено биение сердец тысяч людей, больных негров Гарлема. Пусть она напоминает вам о них. Их сердца всегда с вами.

Громада лайнера, освещенная прожекторами, медленно отваливалась от пристани. Тупые, мрачные здания Нью-Йорка уплывали в туман, в ночь. Волгин и Катя долго стояли у борта молча, устремив взгляды в тре-

вожное мерцание огней удалявшегося города — чудовища.

Всю ночь провели они на палубе. К ним присоединились Глебов и Новаченко. Большой красный диск солнца всплывал над морем. В зеленых волнах, словно в гранях драгоценных камней, вспыхивали первые утренние лучи. С востока неиссякаемым потоком лился яркий, озаряющий свет.

Глебов тихо, проникновенно сказал:

— Это наша Родина светит миру.

III. ПОДАРОК

В 1945 году демобилизовался из армии хирург Соловьев. Он возвратился овеянный славой, возмужавший, опытный. В каждом движении его чувствовалась уверенность боровшегося в жизни человека.

В клинике встретили приветливо. Воспоминания, теплые задушевные беседы. Все, конечно, изменилось, немного постарели. Появились новые ординаторы. У некоторых под халатами угадывались военные гимнастерки.

Профессор Игнатъев, шеф клиники, доцент Квашин и еще двое ассистентов были в эвакуации, остальные сотрудники — на фронте. Кое-кто уже вернулся из армии и среди них доцент Савицкий, которому особенно доверял профессор. Доцента Савицкого все любили и уважали в клинике. Это был высокий, широкоплечий мужчина с некрасивым лицом. Ни один халат не сходил на его мощной и неуклюжей фигуре. Медлительный в жизни, он совершенно преображался за операционным столом. Вдохновение озаряло его. Он оперировал быстро, ловко, тонко. И тогда никто уже не замечал его некрасивого лица: он был прекрасен, неподражаем, незабываем. А на улице, в трамвае, в будничной сутолоке он сразу же тускнел, и снова всем бросались в глаза его бугристое лицо, воспаленные веки и толстый нос.

Десять лет миновало с тех пор, как Соловьев начал впервые работать в клинике. Работал он в ней недолго: первые три года после окончания института. А потом — районная больница, ленинградские клиники. Способности Соловьева, талант его особенно расцвели в годы Отечественной войны: его последовательно назначили веду-

щим хирургом полевого госпиталя, инспектором полевого эвакуационного пункта, главным хирургом одной из армий.

И вот, через десять лет, в 1945 году, Соловьев снова пришел в свою клинику. И почему-то показалось Соловьеву, что не десять лет тому назад, а только вчера он был в клинике, ходил по этим паркетным полам, касался сияющих лабораторных склянок, производил исследования. Так бывает всегда: прожитое — как миг, а то, что предстоит прожить, представляется вечностью.

Однако для профессора Игнатъева Соловьев остался тем же Соловьевым, которого он знал десять лет тому назад: робким, неловким юношей, дрожащей, неуверенной рукой накладывающим шов на рану. Молодой человек, подающий надежды. Восторженный поклонник.

Был даже такой случай. С Игнатъевым встретился генерал-лейтенант медицинской службы Давыдов и лестно отозвался о Соловьеве.

— В армии у нас, — сказал он, — работал Соловьев, удивительно способный человек. Так вот, в его научной работе об анаризмах есть очень интересное место...

— Не о моем ли это соловушке речь? Полноте! — воскликнул Игнатъев. — Можно ли серьезно ссылаться на изыскания желторотого птенца, даже если это соловей?

Соловьев уважал профессора Игнатъева. Он обожествлял его, склонялся перед его авторитетом, мастерством, работами. Ему нравились прямота и резковатость Игнатъева. Кто-то из ученых впрыскивал никотин кроликам и кролики гибли. Ученый докладывал об этом. Игнатъев, председательствовавший на конференции, вынул из кармана трубку, набил ее душистым табаком и сказал: «Сделаем же вывод, что кроликам ...курить вредно».

Игнатъев вообще считал, что врачи несколько злоупотребляют своим правом запрещать: «не ходите быстро, не кушайте соленого, горького, острого, сладкого, вкусного». Такие назначения его раздражали. Он был ярким поклонником физической культуры. Каждое утро он проделывал зарядку с такой энергией, что его близкие, предвидя катастрофу, невольно хватались за телефонную трубку, чтобы заблаговременно вызвать карету скорой помощи.

Лекции он читал в приятной разговорной манере, как бы сливался с аудиторией. Он увлекал ее любопытным волнующим рассказом. Точным словом, будто вол-

шебной палочкой, касался запутанной темы, узла противоречий, и все сразу становилось ясным, рассеивался туман усложненных теорий.

На протяжении многих лет Игнатъев не слышал ни одного критического замечания. Напротив, его только хвалили: «это мнение профессора Игнатъева»; «таково заключение профессора Игнатъева». Вскоре Игнатъев заблудился в тумане славословия. Он не говорил, а изрекал. Свое мнение уважал чрезмерно, возражений не терпел. Он убедил себя, что непогрешим. Поэтому не беспокоился об аргументах, высказывался безапелляционно. Иногда он подавлял противника не логикой, а силой авторитета.

Прежде Соловьев слепо верил всему, что говорил шеф. Теперь же он понял порочность некоторых его взглядов, метода воспитания молодых врачей, увидел его личные недостатки, которых раньше не замечал, ибо трудно заметить пятна на солнце человеку, физически ослепленному его сиянием.

Чему научил шеф Соловьева? Игнатъев «охранял» больных от молодых врачей: «Присматривайтесь, присматривайтесь! — неустанно повторял шеф. — Год, два, три присматривайтесь!» Соловьеву так долго рекомендовали присматриваться, предостерегали, угрожали, запугивали больным, что возбудили в нем просто страх перед операцией. Он боялся скальпеля, робел перед ним. Он сам заболел, когда объявляли, что завтра его операция. Шеф возбуждал в Соловьеве страх перед профессией, а не любовь к ней. Игнатъеву же казалось, что он отстаивает интересы больного. Больного нельзя защищать от врача, врач призван сам защищать больного. Это была не осторожность шефа, а близорукость. Врачи покидают клинику, уходят в жизнь. И там, за стенами клиники, им не на кого опереться, лицом к лицу встречаясь с болезнями. Вот и Соловьев выпорхнул из гнезда, но крыльев у него не было, шеф выпустил в суровую жизнь желторотого птенца, боязливого, неуверенного, выпустил на произвол судьбы.

«Старожилам» клиники профессор порой предоставлял возможность самостоятельно оперировать. Впрочем, какая же это была самостоятельность! Игнатъев стоял сбоку и диктовал. Хирург возражал. Профессор раздражался.

Ближайшие сотрудники и ученики привыкли к странностям шефа. Редкий из них смог бы сделать ему замечание даже в удобную минуту. Когда же произошла беседа на эту тему, то она закончилась бурно.

— Извините, Федор Андреевич, — как то наедине сказал Игнатъеву Соловьев, — не считаете ли вы, что ваши замечания связывают хирурга? Конечно, если это замечания мелкие, непринципиальные.

— Что? — профессор сделал вид, что не расслышал. Соловьев сказал:

— Хирург с подавленной инициативой навредит больному. Ведь вы от начала и до конца диктуете операцию. Это уже не руководство, а опека.

Профессор искоса взглянул на Соловьева и усмехнулся.

— Не хирургу больно, а больному. Главное для меня — больной, а не ущемленное самолюбие хирурга.

— То, что вы называете помощью, я называю насилием. Если хирург в чем-либо ошибается, исправьте ошибку, но ведь нельзя человека, несущего тяжесть, толкать. Если вы хотите помочь, то должны поддерживать его.

Игнатъев расхохотался.

— Иногда и толкнуть нужно!

Соловьев не уступал. Лет десять назад он бы не решился вмешиваться в методику воспитания врачей, а теперь не мог скрыть от шефа соображения, которые помогли бы кое-что переоценить. Нужна лишь добрая воля шефа.

— Вы запрещаете своим опытным ученикам оперировать самостоятельно. Как же они, педагоги, могут после этого учить молодежь? Не умея оперировать, наши ассистенты научатся лишь бойко рассказывать, как нужно оперировать. Вы воспитаете таким образом учеников, помощников, а кто будет продолжателем вашим, наследником, самостоятельным, инициативным хирургом?

Профессор остро ответил:

— У меня клиника, а не школа верховой езды. Это у вас там, в армии, разрешали кому угодно оперировать... Здесь же неуместна казацкая удаль.

Соловьев не ожидал такого взрыва. Он хотел было удалиться, но вдруг остановился, скрыв свое намерение. Соловьева глубоко задела и обидели слова профессора. Это на войне разрешалось кому угодно оперировать? Не слишком ли это? Он, Соловьев, как и тысячи других военных врачей, на себе несли всю тяжесть лечения раненых на фронте. Можно ли военным врачам бросать столь несправедливые и жестокие укоры?

Профессор поднялся с кресла, отодвинул завтрак и нервными пальцами пробежал по столу. В другое время Игнатъев назвал бы Соловьева «соловушкой», как он это всегда делал, но теперь сухо и официально сказал:

— Андрей Васильевич, я слишком стар, чтобы выслушивать нотаций.

— Мне трудно возражать вам, — сдержанно ответил Соловьев, — потому что разговор наш омрачился бесновательным чувством обиды. Но вы совершаете ошибку. Стране нужны хирурги, специалисты, самостоятельные ученые, а не робкие, неустойчивые существа, с атрофированными конечностями, передвигающиеся лишь благодаря близости материнской юбки или отцовского сюртука.

Соловьев попрощался и вышел из кабинета.

Возвращаясь домой, он все думал об этом неожиданном и неприятно резком разговоре. Ему было больно думать, что человек, которого он уважал и любил, как, впрочем, уважает и любит и теперь, даже после этой злополучной размолвки, как мог этот человек не сознавать своей ошибки и грубо отбрасывать все, что противоречит его взглядам. Эгоизм ли это или что другое? Чем объяснить эту нетерпимость? И как отныне определить свое поведение в клинике?

Соловьев решительно отбрасывал то, что имело оцутимый привкус наговора, «боязни конкуренции». Поведение шефа было, скорее, следствием ошибочных взглядов честного человека, а не злой воли честолюбца.

Однажды в дежурство Соловьева привезли больного с прободением язвы желудка. Это был слесарь ночной смены вагоноремонтного завода. Бледный, измученный, он метался в постели и корчился, молил о помощи. Соловьев распорядился готовить операцию.

Наталия Павловна, операционная сестра, двигалась быстро, работала быстро, говорила быстро. По звону ключей в притихшем ночном коридоре Соловьев понял, что сестра направилась в операционную. Спокойно она ничего не делала, но при всем том она не была суетливой: все движения ее имели определенное назначение. Когда она улыбалась, она улыбалась не только глазами или уголком рта, как люди, скрывающие что-то или не совсем искренние, а всем лицом, всем существом своим.

Запах операционной возбуждали в Соловьеве заостренное внимание, рефлекторную внутреннюю активность.

Ночью операционная имеет особый вид. Сияющая, полная ослепительного света, вспыхивающая никелем, она, словно чудесный корабль, плывет в густых ночных сумерках.

Свободным и привычным движением Соловьев нанес первый разрез. Он чувствовал свои выверенные движения, пластичное прикосновение. Соловьев оперировал быстро, но не поспешно. В ране слышно было бодрое шелканье зажимов. Болезнь отступала перед зрячими и умными пальцами хирурга. Во время операции выяснилось, что нельзя ограничиться только ушиванием прорвавшейся язвы. Пришлось произвести более сложную операцию. После того как все было сделано, он испытал знакомое чувство удовлетворения, — следствие веры в то, что сделал. Впрочем, операция — только первый, хотя и наиболее активный шаг в борьбе за жизнь человека. Что же последует за ним?

Утром профессор Игнатъев вызвал к себе Соловьева.

— Друг мой, — сказал шеф и бросил на Соловьева взгляд, выразивший огорчение и удивление, — как же ты осмелился?.. Откуда к тебе такая прыть? Нужно было вызвать меня, доцента Савицкого. Я никому не запрещал тревожить меня. Мой телефон и адрес, полагаю, известны здесь. Я без колебаний пришел бы даже ночью!

Соловьев ответил.

— Но ведь не было причин вас беспокоить.

— Ах, снова эта самоуверенность! Не рано ли вы отважились на сложные операции?

А через два дня в клинике разразилась буря. Ночью у больного вспыхнуло страшное кровотечение. Ему сде-

дали все, что можно было: перелили кровь, ввели желатину, кальций, сыворотку. Но спасти его не удалось.

В тот же день профессор собрал врачей и сказал:

— Кто пожелает высказаться по поводу смерти больного?

Все молчали. Необычная напряженная тишина стояла в кабинете. Врачи переглядывались, стараясь не встречаться глазами с Соловьевым. Соловьев отсутствующим взглядом смотрел в окно, где вздрагивала занавеска (форточка была открыта).

— Доцент Савицкий, вы возьмете слово?

Савицкий повел плечами, неловко улыбнулся.

— Еще трудно и, пожалуй, преждевременно определять место, откуда возникло кровотечение.

Под Квашиным заскрипел стул. Все поняли, что Квашин опасается утратить возможность высказаться. Это был толстый, но подвижный человек, усищами своими напоминавший таракана. Он отличался эрудицией, был многословен и все свои утверждения скреплял именем шефа. Ординаторы злословили: «Квашин резонирует, как пустая бочка».

Память у Квашина была отличная. Но эрудиция его имела своеобразный характер: знания Квашина представляли механическую смесь, разрозненную массу, без органической подвижной связи. Быть может, в силу своей эрудиции Квашин одному и тому же больному назначал десятки прописей. В клинике шутили: больные Квашина могут перенести заболевание, но заболевание и лечение они перенести не в состоянии.

Он имел удивительную способность все засушивать, живую жизнь превращать в гербарий. Лекции Квашин читал гладко, но бесцветно, легко и свободно пересказывал чужие мысли. Он прилежно выполнял канцелярскую работу по клинике: составлял учебные ведомости, расписания лекций. Однако от шефа ему попадало всегда больше, чем кому-либо другому. Быть может, это объясняется тем, что независимо от воли у Квашина было всегда виноватое выражение лица. Как-то шеф, — пришлось к слову, — недовольно заметил: «неприятная погода». Квашин не расслышал, но, по привычке связывая недовольство профессора со своим именем, неожиданно

для присутствующих сказал: «Извините, это больше не повторится».

Теперь на совещании Квашин безошибочно определил настроение шефа. Он угодливо сказал:

— Все ясно. Швы наложены плохо, небрежно. Вот и произошло кровотечение, а потом — шок и смерть. Внезапная, молниеносная...

Савицкий наклонился к уху Соловьева: «Квашин заметил на горизонте хромую клячу, а скажет, что скачет дивизия». Соловьев вяло улыбнулся в ответ.

— Скороспелые выводы! Так сказать, внезапные, молниеносные, — подделяваясь под тон Квашина, сказал врач Яшунин. Это не было желание выгородить товарища, попавшего в беду. Нет! Яшунин душой всегда угадывал несправедливость и открыто, резко, не стесняясь в выражениях, говорил об этом.

Даже мечтательный и меланхолический Котельников, местный изобретатель, несколько растерянно засвидетельствовал свои соображения:

— Несчастный случай... У нас нет измерительных приборов, мы — не физики, не инженеры.

Профессор бросил холодный и как бы безнадежный взгляд на Соловьева.

— Ваша точка зрения?

Соловьев встал.

— Я подожду вскрытия...

Но Игнатьев почему-то проявлял нетерпение. Всегда сдержанный в своих выводах, всегда осторожный, он сегодня явно торопился. Возможно потому, что в этой катастрофе видел убедительный аргумент в пользу своей позиции. Теперь он хотел им умерить пыл тех, кто проявлял нетерпение, остановить их и, наконец, подавить это подводное, скрытое движение недовольства. Игнатьев был настолько убежден в причинах кровотечения, что не считал нужным ожидать вскрытия.

— Так вот что, — начал он, горестно покачав головой, — самоуверенные упражнения Андрея Васильевича стоили жизни больному. — Он при этом опустил ладонь на подлокотник. — Да! Квашин на этот раз прав. Вы, повидимому, небрежно накладывали швы, между узелками оставались непережатые сосуды, которые позднее дали смертельное кровотечение. Это поучительный случай. Котельников сказал: «несчастный случай». Нет,

речь идет не о роковом стечении обстоятельств, не зависящем от мастерства хирурга, а о прямой неосведомленности, о тщеславной переоценке своих сил. Вы провозвели фатальную операцию.

Профессор шумно встал из-за стола, повернулся лицом к окну, прикрыл форточку и простоял так до тех пор, пока все не оставили кабинет.

Соловьев был бледен, губы его дрожали. В коридоре подошла к нему Наталья Павловна, операционная сестра: «Успокойтесь, не придавайте этому значения. Ведь вы знаете странности шефа». Соловьев осторожно, но настойчиво освободил руку, которую ласково удерживала сестра. «Я же видела, как вы оперировали... Вы провели операцию блестяще!»

— А больной умер... — холодно, почти беззвучно сказал Соловьев. Едва заметная горькая улыбка задрожала на его губах. — Милая Наталья Павловна, благодарю вас за добрые чувства!..

Потом подошел Савицкий. Соловьев почувствовал, что Савицкий решает: пройти мимо или остановиться. Если он, Савицкий не остановится, Соловьев подумает, что с ним не хотят встречаться. Подойти к нему? А что сказать ему, чем утешить? Говорить о постороннем, о случайных вещах в такую минуту просто оскорбительно.

Когда ушла Наталья Павловна, он сказал:

— Шеф, конечно, поторопился...

Соловьев со вздохом заметил:

— Не утешайте меня, есть люди, которым труднее.

Савицкий возразил:

— Пожалуй, тебе тяжелее, чем даже близким больного. Я ведь знаю, это нельзя скрыть. Но я не об этом хочу сказать. Поговорим как профессионалы. Кровотечение могло возникнуть из другой язвы. У меня есть доказательство. Мне эта мысль теперь отчетливо пришла в голову.

Соловьев насторожился. Он также думал об этом.

В вестибюле слышались шаги изобретателя Котельникова. Он шел, как всегда, разбрасывая ступни в стороны, как Чаплин, просунув руки за пояс халата на животе, шевеля свободными большими пальцами. Это был способный, но увлекающийся врач. Факты ему представлялись не такими, какими они были на самом деле, а такими, какими он их хотел видеть. Предложив

однажды препарат против злокачественных опухолей, он применил его в эксперименте на кролике, и никак не мог определить, уменьшается ли опухоль под действием препарата. «Ну как вы считаете, — спрашивал он, — опухоль рассасывается?» «Да, конечно, — отвечали ему, — но вместе с ... кроликом».

— А вот и Котельников, — объявил Савицкий, — мы уже с ним говорили на эту тему.

— Да, много объяснения я не допускаю, — сказал Котельников.

Соловьеву казалось, что с его плеч снимают огромный, физически нестерпимый груз.

— Ты уходишь? — сказал Савицкий, заметив в руках Соловьева кепи.

— Да, мне нужно отдохнуть.

— Иди, иди! Мы здесь все за тебя сделаем. Не беспокойся. — Он помолчал немного. — У нас нет людей, если не считать, конечно, Квашина, которые любят смаковать «скандальные истории». Не для того, чтобы успокоить, говорю, — тебе сочувствует вся клиника. Шеф заблуждается. Подождем вскрытия.

Соловьев попрощался и направился к выходу.

У дверей толпились посетители. Одни на ходу писали записки, другие тихо перешептывались. Почти у всех были корзины с «передачами». Но вдруг Соловьев вздрогнул. В углу увидел женщину с широко раскрытыми глазами, с мерцающей в них тревогой, по которым безошибочно угадывается утрата. «Жена погибшего», — промелькнула мысль, и он, опустив голову, ускорил шаг.

Было два часа дня. Светило ласковое весеннее солнце. Соловьев шел медленно, ветер шевелил его волосы. Свернул на широкую аллею запущенного, одичавшего после войны парка. Наполовину разрушенная ажурная беседка. Скульптура купальщицы с отломанной рукой. Прошлогодние неубранные листья. Пустое, треснувшее блюдце фонтана. В зеленоватой лужице, оставшейся после дождя, плавали листья каштана, погибший мотылек и клочки исписанной бумаги: кто-то разорвал письмо и бросил в воду. В глубине аллеи засохшие деревья выделялись своей безжизненной серостью.

Соловьев все примечал, все видел, и это было подсознательное тяготение к отдыху, жадные поиски того,

что могло бы отвлечь от трудных и беспощадных мыслей.

Беспокойный седой старик с выпуклым лбом, запавшими висками и чудесной бородой подстригал садовыми ножницами дерево. Дерево было поражено наростами, на нем было много сухих веток. Оно умирало. Поравнявшись с садовником, Соловьев услышал, как он шептал: «Бедняжка моя...» И лицо старика выражало неподдельную нежность.

Соловьев в сотый раз шаг за шагом проверял в памяти ход операции. Он вспоминал все до мельчайших подробностей, каждое движение своей руки, но не находил ошибки или технической погрешности. Поэтому он решительно отбрасывал нарочито обостренные обвинения шефа. Он хотел им, видимо, придать воспитательное значение. Если человек виновен в чем-либо, он переживает свою вину, но Соловьев переживал не вину, — ее не было, он переживал поспешность и несправедливость обвинения. Это была простая человеческая обида, но не злое мстительное чувство заносчивого человека, профессиональному самолюбию которого нанесли смертельную рану. Это была одна сторона его душевного беспокойства. Другая: как бы там ни было, больной умер и умер после операции, пусть даже не из-за нее, а лишь в связи с нею. В такие минуты, подобно всем хирургам, которых постигло несчастье, он говорил: «Ужасная специальность!» Как ни странно, сразу же забываются тысячи спасенных людей, их заслоняет тень одной погибшей жизни.

Дома долго за полночь лежал Соловьев без сна, думая свою думу.



Патологоанатом монотонным голосом зачитывал данные вскрытия. Согласно этим данным, кровотечение возникло не из соустья, то-есть не из линии разреза, а из скрытой язвы, из крупного сосуда, зиявшего в ней. Предвидеть это, а тем более предупредить на операционном столе было невозможно. Профессор сидел, вращая в пальцах красный карандаш. Савицкий отряхнул пепел в пепельницу и многозначительно поднял брови. Лицо Квашина изобразило разочарование. Он подобрал под

стул свои короткие ноги, как-то неестественно вывернул их и с внутренней стороны зацепил носками за ножки стула.

— Да, — сказал Квашин, желая угодить шефу и глядявая на него с выражением беспредельной преданности, — да, но все это случилось после операции. Я подчеркиваю: после операции.

— Помолчите! — резко оборвал Игнатъев.

Доцент Савицкий, обращаясь к Квашину, сказал:

— Факты — упрямая вещь, они превосходят даже ваше упрямство.

Душевный, непосредственный доктор Яшунин дсбавил:

— Вчера Квашин говорил с такой определенностью, как будто он все сообщал нам непосредственно из чрева больного.

Стрелы, разившие Квашина, разили также и шефа. Игнатъев все это понимал, но ему было неудобно защищать Квашина, лицо которого сразу же приняло привычное виноватое выражение. Упреки по адресу Квашина — это скрытая полемика с ним, Игнатъевым. Он подумал: «Плохо, если на моей стороне только один беспринципный Квашин». Но профессор не мог в один миг отказаться от своих взглядов. Он изменил бы своему прямодушью и чувству объективности (а он признавал их в себе), если бы тут же не заявил, что ошибся. Но ошибка, конечно, заключается скорее в трактовке происхождения осложнения, не больше. Разве не ясно, что случайно кровотечение произошло вне связи с операцией? На этот раз хирург вышел из воды сухим. Вообще же отваживаться на такие операции при живом шефе молодежь не должна.

И профессор сказал:

— Вам просто повезло.

— Соловьев — прекрасный хирург, — заметил доцент Савицкий.

Врачи клиники возбужденно перешептывались.

Федор Алексеевич поморщился, почесал карандашом подбородок.

В эту минуту Соловьев почему-то подумал: «В лице шефа стерлись черты молодости... Есть лица, которые нельзя представить себе молодыми. Старческие черты в них стали столь типичны, словно они от века такие...»

— Мой долг, — сказал притихшим голосом шеф, — предостеречь вас. В молодые годы я также был безрас- судно активен, — как бы оправдываясь, добавил Игнатъев.

Возвращаясь домой после конференции, он испытывал неясное чувство огорчения и даже досады. Трудно было признаться самому себе в ошибке, но тем не менее, он краешком сознания угадывал правоту Соловьева, более широкую, чем та которая была непосредственно связана с больным, он почувствовал неожиданно в Соловьеве какую-то новую жизнеутверждающую силу.



Вечером к Игнатьеву пришел старый друг, товарищ по студенческой скамье, профессор Владимир Корнеевич Суходольский. Жизнерадостный, подвижный Суходольский, «безнадежный оптимист» (так называл его Игнатъев) рассказал о своих поездках на фронт.

— Федя! Федя! — Это было любопытное зрелище. — Суходольский называл Игнатьева Федей, а Игнатъев Суходольского — Володей или просто Вовкой. В общении между стариками это выглядело смешно и трогательно. — Разрушенный дом, торчат стены. Мы спускаемся вниз, в подвал и попадаем в роскошнейший госпиталь. И этот госпиталь эти молодые дьяволы развернули в один день! В четырнадцатом году, вспомни, мой друг, мы на это не были способны. Я поднял кверху руки. Сдаюсь!

Игнатъев недовольно отвернулся.

— Еще бы! Теперь материальная база не та, оснащение лучше. А вот лечили мы лучше.

— И совсем не лучше! Я выехал на фронт просто с обхода своей клиники. Боже, как мы отстали! Отстали от тех госпиталей, которые размещены в подвалах, в палатках, непосредственно под огнем противника. Их достижения бесспорны. Сколько у нас умирало от гангрены? Ну, сколько, скажи, старый черт? Шестьдесят, семьдесят процентов? Так? А у них — тридцать, двадцать, десять! Что мы делали на войне, чем помогали? Гангрена — ампутация. Перелом бедра — ампутация. А они не уступают, сохраняют солдатам руки и ноги. Просто сердце радуется!

Игнатъев насторожился.

— И все это делают наши ученики, — продолжал Суходольский, — наша прекрасная молодежь...

Когда Суходольский ушел, Игнатъев долго ходил из угла в угол, останавливался у окна, стирал пальцем со стекла пылинки, вздыхал, насвистывал старую студенческую песенку.

Обычно, когда Игнатъев возвращался домой из клиники, он спрашивал свежие газеты, располагался на диване и перед обедом прочитывал их. Сегодня он не спросил газет. Значение этого факта было давно известно Серафиме Петровне, жене Игнатьева. «Служебные неприятности, усталость после операций, — подумала Серафима Петровна. — Однако сегодня не было операций... Неужели неприятности?»

Игнатъев, кстати, не любил рассказывать дома о неприятностях. Он переживал их сам. Вопросы, проявления сочувствия он не переносил. Они его только раздражали. Они оскорбляли его, задевали самолюбие, уязвляли гордость, достоинство, а ведь все это в нем было болезненно развито. Жена всегда узнавала о неприятностях случайно, от третьих лиц, по телефонному разговору, по неосторожной фразе Федора Алексеевича.

Волновалась Серафима Петровна только по одной причине: не болезнь ли это? Игнатъев угадывал молчаливое беспокойство жены и раздраженно, но не без мягкой сочувственной иронии, говорил.

— На сквозняках не стоял, сырой воды не пил, здороваясь, не снимал на улице шляпы! Устраивает тебя такая информация? Заслуживаю ли я того, чтобы недовольное твое лицо не омрачало моего настроения?

Игнатъев вздохнул, прошелся по комнате, снова вздохнул, оглянулся на двери. Там все еще стояла Серафима Петровна.

— Ну, вот, видишь, и нет причин беспокоиться.

Помолчав секунду, он добавил:

— Не откажи в услуге, принеси, пожалуйста, мой оселок.

Оселок всегда успокаивал его. Утихали вспыльчивость, взвинченность. Правка скальпеля была его любимым занятием. Он гордился им, как гордится музыкант своей скрипкой. Подобно тому, как талант музыканта дополняет избранная им скрипка, ставшая как бы частью самого скрипача, так и скальпель Игнатьева был его

продолжением, частью его дарования. Скальпель свой он любил, хранил в чехле; похуже на те, в которых обычно хранят курительные трубки. Этот скальпель сделал ему известный московский мастер.

Случалось, что во время операции сестра подавала ему другой скальпель, тогда Игнатъев приходил в ярость и все неудачи и погрешности приписывал этому факту. «Мой скальпель!» — возбужденно требовал Игнатъев. И когда в его руках снова вспыхивал никель любимого инструмента, профессор оживлялся, более ловко работал. Он не просто рассекал ткани, он рисовал, ваял, творил. И ткани под его скальпелем были послушны, покорны, управляемы. Казалось улыбались тогда Игнатъеву не только врачи, но и больные, как улыбаются счастью, рожденному в муке.

Расположившись в кресле у окна, он положил оселок на подлокотник и стал править скальпель.

Некоторые успокаиваются отдыхая, другие отдыхают лишь в заботах, в новых усилиях, в работе. Игнатъев успокаивался только, когда действовал.

Правкой скальпеля он должен был, собственно, заняться лишь через полторы-две недели. Дело в том, что предстояла сложная операция по поводу аневризмы подключичной артерии. Произвести ее собирался Игнатъев лично. Аневризма у больного Марченко образовалась после ранения. В 1944 году ночью Марченко минировал кустарник в шестидесяти метрах от противника. Он устанавливал мины затяжного действия. Вдруг налетела буря, кусты зашевелились, натянулись струны и одна из мин взорвалась. Марченко упал навзничь, потеряв сознание. Товарищи доставили минера в часть.

Игнатъев полюбил этого простого крестьянского парня с ясными голубыми глазами. Он всей душой хотел помочь ему. И теперь, коснувшись оселка, прежде всего вспомнил о Марченко.

Выдернув нитку из чехла кресла, он пересек ее. Потом тонким прерывистым движением провел лезвием по кончику ногтя, как это делают парикмахеры.

«А Соловьев все же прав, — думал он. — Ну, признавайся же, старина! Признавайся! И в нем нет этого, как тебе казалось, самонадеянного упрямства. Это не упрямство, а, пожалуй, спокойная уверенность. Решает, конечно, не мнение авторитета, а, так сказать, авторитет-

ность мнения. Не то, кто сказал, а то, что сказано. Сущность мысли, а не принадлежность мысли. Он оскорбил меня? Но чем? Не тем ли, что не я, а он оказался прав? Или тем, что, как теперь стало ясно, он способнее и образованнее, чем я о нем думал? Если все это не так, то чем тогда я могу объяснить мою неприязнь? Ведь он не был же мне неприятен раньше. Напротив, я уважал в нем растущего молодого ученого. Неприязнь эта возникла теперь. Не потому ли, что он осмелился развиваться не по той схеме, какую я составил себе и привык к ней настолько, что всякое отклонение от нее представляется мне нелепой дерзостью или даже наглостью? Может быть, меня раздражает в нем его молодость? Я бросил якорь в прошлое, а он движется вперед. Я лучше вижу прошлое, чем будущее. Это уже свойство старости. Не ясно ли тебе, старина, что век твой недолог? В этом смысле у тебя нет будущего. Твое будущее это Соловьев, Соловьевы, сотни Соловьевых. Они не затмевают тебя, а продолжают. Я не должен жить воспоминаниями, а должен вспоминать, для того чтобы лучше и красивее жить. Я должен не закрывать перед ними двери, а открывать. Не презирать неумение, а преодолевать его...»

Игнатъев встал, прошелся по комнате, положил оселок на край письменного стола. При свете электрической лампы он протер влажный скальпель.



В клинике теперь профессор более не возвращался к вопросу о злополучной операции, но поведение его — и это все заметили — изменилось. Присутствие Квашина его крайне раздражало. Он возмущался каждым его замечанием, каждым словом, порой даже несправедливо грубо, без видимого повода обрушивался на него. А Соловьева сначала он просто не замечал. Но все были удивлены, когда через несколько дней профессор на обходе неожиданно обратился к Соловьеву и спросил у него совета. А еще через несколько дней предложил Соловьеву произвести вместо Савицкого большую и сложную операцию.

Для Игнатъева наблюдение за тем, как оперирует Соловьев, было настоящим откровением. «Боже, как же я ошибался!» Правда, Игнатъева кое-что раздражало. И скальпель он держит не так, как он учил. И разрез де-

лает меньший, чем положено. Но при всем том какое разумение тканей, какая уверенная ясность плана, четкая направленность движений! Сложная операция, в сущности, в его руках стала простой и доступной.

В то утро, на которое была назначена операция Марченко, полил дождь. По широким окнам кабинета барабанили крупные капли, по стеклам стекали быстрые неверные струйки, в косом ливне потонули дома и каштаны.

Профессор вынул из ящика письменного стола чехол со скальпелем, опустил его в боковой карман и вышел в столовую.

— Серафима, а Серафима, где мои доспехи?

Все уже в доме знали, что речь идет о зонтике, плаще и калошах.

— Никуда ты не пойдешь. В такой дождь я не пушу тебя в клинику. Что ты? Я позвоню, что ты не выйдешь.

— Позвони, позвони, дорогая! Обязательно позвони и скажи, что я уже вышел. Чего доброго, они вообразят, что я еще не приеду.

Дождь? Какой там дождь! Сегодня не дождливый, а солнечный день. Чистая серебряная струна зазвенела в груди Игнатъева. Такое чувство возникало у него, когда он спасал от верной гибели человека, возвращал ускользавшую жизнь. Но это чувство всегда возникало в нем после операции, после действия. Но почему же он так счастлив сейчас? Ведь еще неизвестен исход предстоящей тяжелой операции. Кто может угадать судьбу человека?

Наталья Павловна особенно усердно готовилась к этой операции: проверяла шелк на крепость, откладывала сомнительные пинцеты и зажимы, стерилизовала материал. — А утром перед операцией в моечной на стене она повесила расписание: «Марченко, аневризма подключичной артерии, оперирует профессор Игнатъев».

Когда Игнатъев пришел в клинику, он долго отряхивал в вестибюле влагу с плаща. Потом прошел в кабинет и пригласил Соловьева.

— Андрей Васильевич, — сказал он, выпрямившись и ласково глядя ему в глаза. — Вот эту штучку я принес сегодня для вас. Возьмите. Желаю успеха от всей души. Сегодня у вас большой день.

И Игнатъев вложил в руку растерявшегося Соловьева плотный чехольчик, похожий на те, в которых хранят курительные трубки.

IV. ПОДВИГ УЧЕНОГО

Глаза — не только зрение, но и краса человека. По ним можно прочесть мысли и чувства. Они выразительны: гнев и радость, спокойствие и тревогу, презрение и любовь можно угадать по глазам. Поэты пишут: «глаза словно озера». Станным может показаться это сравнение: маленькие глаза и бескрайние озера. Но глаз и вправду глубок, как озеро. Загляните в него: он отражает мир, широкие необъятные дали, глубочайшие мысли и чувства.

В Одессе на берегу моря я встретил человека в белой панаме и синей рабочей блузе. Он сидел на деревянном стульчике и рисовал. Под кистью вскипала высокая зеленая волна.

— Вы знаете, кто это? Филатов! — шепнул мне спутник.

Да, Филатов, прежде всего, художник. Он художник во всем: в своих научных предвидениях и догадках, у операционного стола и мольберта. Он наблюдателен и впечатлителен. Его талант многогранен.

Филатов не только офтальмолог. Свой знаменитый пластический стебель он подарил хирургии, тканевую терапию — всей медицине. Он пишет стихи и рисует, в консерватории выступает с лекциями о музыке. В какой бы области он ни работал, он творит.

Офтальмология издавна привлекала его. Он говорил: — Слепые не избирают себе специальность по велеанию сердца. Для слепых есть только определенные специальности. Кто знает, если бы эти люди не были слепыми, среди них были бы и капитаны, и летчики, и

художники, и скульпторы, и агрономы. Сколько дарованый отняла у них слепота!

Своим непримиримым врагом Филатов считал бельмо. Как мрачен и непроницаем этот белесый диск, густой, как молочное стекло, как туман на море. Словно хищник впился он в глаз, заслонив зрачок, нет, заслонив весь мир. Он воздвиг хмурую, непроницаемую стену между человеком и миром.

Почти сорок процентов слепых утратили зрение по причине этой уродливой, мутной кляксы. Царская Россия оставила нам наследие: 234 800 слепых. Во всем мире до войны было 6 000 000 слепых и 15 000 000 людей с неполноценным зрением. Жестокая война с фашистами еще увеличила это число.

Больные являлись к врачам, умоляли: «Снимите бельмо!» Но врачи были бессильны.

Еще в 1913 году Филатов определил направление своих усилий. Он начал прекрасную борьбу за зрение.

Перелистывая странички старых журналов, Владимир Петрович с волнением следил за мыслями своих предшественников. Окулисты представлялись ему также слепцами, ищущими выход из мрака.

Здравый рассудок подсказывал, что бельмо необходимо вырезать. Ясно: причина слепоты в том, что глаз заслонило бельмо. Таким образом, устранить бельмо, значит восстановить зрение.

Однако действительность пренебрегала здравым рассудком. Когда в бельме вырезывали отверстие, и солнечный луч проникал в глаз, слепой, захлебываясь от радости, кричал: «Я вижу! Я вижу!»

Но только на короткое время он становился счастливым, чтобы позднее стать еще более несчастным. Отверстие в бельме либо затягивалось непрозрачной рубцовой тканью, либо развивалось нагноение и глаз погибал. Как это жестоко: подарить зрение слепому, показать ему мир, и снова потом бросить в темноту...

Хорошо. Есть другой выход: срезать бельмо частично, оставить только тоненькую пластинку роговицы. Такой слой бельма обычно полупрозрачен, свет через него все же проникает. Но и это не приносило ощутимых результатов: частично срезанное бельмо затягивалось соединительной тканью.

Другие вырезывали бельмо, пытались вставить вместо него маленький диск горного кристалла в золотой оправе с шипами.

Идея пересадки роговицы возникла в начале прошлого столетия. В 1905 году в литературе упоминается первая успешная пересадка роговицы человеку. Для пересадки применялся трепан Гиппеля. Но именно этот трепан был самым уязвимым пунктом операции. Трепан Гиппеля — инструмент опасный. Это стержень, на конце которого имеется небольшой цилиндр с режущими краями. Стержень вращается по оси при помощи специальной заводной пружины. Пружину заводят, трепан пустотелым цилиндром ставит на бельмо и пускают в ход, цилиндр, быстро вращаясь, прорезывает бельмо.

Ассистенты Филатова замечали волнение шефа, когда он работал этим трепаном. Риск применения трепана нарушал плавность операции, сжимал сердце, наполнял страхом. Красные пятна выступали на щеках. Острый цилиндр трепана врезывался в бельмо. Но звон инструмента, колебание воздуха, крик на улице, все могло спровоцировать неловкое незначительное движение, которого достаточно, чтобы вместо помощи серьезно повредить глаз. Сразу же за роговицей находится передняя камера глаза глубиной в два-три миллиметра, а дальше — хрусталик. Если повредить хрусталик и тоненькую пластинку за ним, через отверстие в бельме вытечет стекловидное тело, и больной потеряет глаз. А именно гиппелевский трепан создавал такую опасность.

После операции, когда все шло хорошо, Филатов облегченно вздыхал. В глубине его глаз все время напряженно билась мысль. Хотелось спустить эту операцию со звездных высот виртуозности на землю. Он знал хирургов, умудрившихся накладывать швы на разваренный бурок и разрезать с одного маха условленное количество листов папиросной бумаги в большой пачке. Он сам мог гордиться блестящей техникой. Но он понимал, что самая почетная задача ученого — сделать опасную и сложную операцию безопасной и доступной.

Поэтому Владимир Петрович начал с трепана. Трепан Гиппеля — лотерея, но проигрыш означает потерю всех надежд.

«Заводной механизм в трепане излишен, — соображал

Филатов, изучая трепан Гиппеля, — он отнимает ориентацию у хирурга, чувство руки, передавая все это в распоряжение бездушной пружины. И потом, почему же все-таки трепан Гиппеля повреждает хрусталик? Как предупредить это?»

Передняя камера глаза наполнена жидкостью. Опасность повреждения хрусталика возникает тогда, когда из передней камеры во время прободения роговицы выходит жидкость, и острый цилиндр трепана в ту же минуту как бы проваливается, погружаясь в хрусталик. Необходим трепан, который предупреждал бы выхождение жидкости из передней камеры. Или нужно плотной пластинкой защитить хрусталик, заранее поместив ее впереди хрусталика. Тогда после прободения бельма трепан упрется в пластинку, а не в хрусталик.

Изобретение инструмента решало судьбу операции. То, что потом сделал Филатов, было очень просто. Но к этой простоте, как и ко всему выдающемуся, вела путаная, змеистая дорога. Вместе с техником Марцинковским он изобрел трепан ФМ1, потом ФМ2, ФМ3, ФМ4, ФМ5. Каждый новый трепан был совершеннее предыдущего.

В ФМ1 катастрофу предупреждала пластинка из слоновой кости, которая устанавливалась позади бельма в передней камере глаза. В других трепанах этой пластинки уже не было. Изобретатели конструировали трепан так, чтобы предупредить вытекание жидкости из передней камеры. Вместо цилиндрической коронки они делали цилиндрико-коническую, отступя на полмиллиметра от края, стачивали конусом под углом в тридцать градусов. Прорезав бельмо, такая коронка конусом герметично, словно пробка, запирает отверстие и жидкость уже не просачивалась наружу.

Внутри трепана на шесть миллиметров вверх от режущего края устанавливалась герметическая перегородка. Это давало возможность только незначительному количеству жидкости вместе с вырезанным диском бельма входить в канал цилиндра, когда режущие края проникали в переднюю камеру глаза. Столбик воздуха в канале сжимался и трепан не мог провалиться глубже в переднюю камеру и повредить хрусталик. Это все было настолько просто, что позднее ученый сам удивлялся:

«Такую простую по существу вещь нужно было так долго и утомительно искать!»

Много пострадало из тех, кого оперировали трепаном Гиппеля. Филатов напоминает слова Беранже: «Они погибли в бездне моря, нам указавши пристань вдалеке».



«Мертвый хватает живого». Теперь эту поговорку нужно изменить: «Мертвый помогает живому».

В распоряжении Филатова было несколько фактов: анабиоз и две давних операции, известных из литературы. Из учения об анабиозе он знал, что рыбы и даже летучие мыши не гибнут даже при температуре ниже нуля. Как торжество случая был известен факт пересадки роговицы зародыша человеку.

К одному врачу явился больной, которому необходимо было удалить глаз. Изъяв глаз, врач решил сохранить его, быть может на несколько часов, чтобы в течение этого времени подыскать слепого с бельмами и попытаться пересадить ему, счастливцу, уцелевшую роговицу энуклеированного глаза. У больного врач взял немного крови, чтобы сохранить в ней глаз при температуре $+4^{\circ}$. Но прошло два-три дня, а человека с бельмом не находили. Чорт возьми, не выбросить же этот глаз! Миновало еще несколько дней, и вот только на восьмой день нашли больного с бельмами. Собственно, уже мало было надежды на успех, но все же роговицу пересадили. И она прижилась! Приживление было прозрачным. Правда, роговица была взята из глаза, удаленного у живого человека. Недоступный материал! Но это давало основания предположить, что и роговицу трупного глаза можно пересаживать. Русские врачи Шимановский и Савельев так и сделали, но пересаженная роговица помутнела.

Все эти факты Филатова не остановили. Он верил в победу, всем существом своим угадывал единственно правильный путь, достойный внимания, и уверенно пошел по этому пути. Он был уверен, что можно консервировать глаз человека, подобно тому как консервируют целые организмы рыб, летучих мышей.

Прогуливаясь по вечерним улицам приморского города, Филатов думал о горизонтах, которые откроются перед сотнями офтальмологов, если будет доказано, что

можно пересаживать роговицу из глаза трупа. Ведь энуклеировать глаз приходится не так часто. Это может случиться во время травмы, катастрофы, несчастья. Но ведь именно при травме повреждается и роговица. А доноры здесь немыслимы. Кто пожертвует своим глазом, отдав его так, как отдают кровь для переливания? Недавно к Владимиру Петровичу обратилась мать слепого ребенка: «Профессор, — сказала она, — возьмите мой глаз, но только возвратите зрение сыну»... Но это только трагический случай, которым не может воспользоваться врач.

Нехватка роговицы — наибольшее препятствие к осуществлению операций. Это всегда будет тормозить развитие метода пересадки роговицы.

Нужно еще больше и упорнее работать, искать. Филатов не покидал лабораторий, начинал терять вкус к рисованию и музыке. Он был занят своими мыслями, слишком занят, чтобы ходить с мольбертом по окраинам города в поисках распустившихся кустов сирени (среди художников Одессы была такая весенняя традиция).

В известном из литературы случае энуклеированный глаз человека сохранялся на протяжении восьми дней в крови того же человека. В этом была своя логика. Владимир Петрович также решил хранить глаза трупов в крови при температуре 3—6°.

И вот каждый раз роговица стала приживать, возвращая слепому зрение. Так была разрешена проблема пересадки трупной роговицы.

Когда об этом узнали заграничные офтальмологи, они писали: «Вы живете в прекрасной стране. Во имя науки ваш народ, лишенный предрассудков, открывает перед вами самые широкие возможности. А наши традиции несовместимы с прогрессом...»

С чувством гордости, завершив этот период борьбы за восстановление зрения, Филатов писал:

«Пересадка роговицы трупных консервированных глаз — проблема, поставленная и разрешенная только советской офтальмологией».



Владимир Петрович произвел тысячи операций пересадки роговицы. Старые окулисты с недоверием относились к работе Филатова. Они писали ему: «Послушайте,

вы растревожите слепых, не дав им ничего. Вы беретесь за рискованную вещь. Остановитесь! Вы заблуждаетесь в своих успехах. Это, конечно, еще не слепота, но вы ослеплены...»

Я посетил клинику Филатова. Теперь мне хочется рассказать о слепых, которые прозрели, о солнце, о радости человеческого существования. Я расскажу об «окнах души», распахнутых в душевную, молодую весну. Тут я встретил необычных людей: взволнованных, вдохновенных, с восторженной улыбкой на лице. Кое-кто напоминал озабоченных новичков, попавших в неизведанные, чудесные места, о которых они не имели ни малейшего представления и где каждая вещь — неразгаданная тайна.

Меня познакомили с ослепшим на шестом месяце жизни двадцатилетним юношей, которому вернули зрение. Юноша ничего не понимал, хотя и видел. Когда показывали ему руку, он не мог назвать ее, не осяпав прежде: все решало прикосновение. Я разговаривал с человеком, который год тому потерял единственный глаз, заporoшив его в бурю. Это был желчный, нелюдимый, горбатый старик. Он ни с кем не разговаривал, ему тяжело было говорить: жизнь человека погрузилась в мрак, опустошивший душу. Потеряв единственный глаз, он потерял все в жизни. А когда ему вернули зрение, никто более в больнице не встречал желчного старика, — счастливая улыбка не сходила с лица этого сразу помолодевшего человека.

Меня познакомили с казахом Давановым, приехавшим за тысячи километров в этот приморский город: «Я родился в Казахстане, но не видел родины своей. А теперь я поеду на родину. Я буду работать. У меня крепкие руки и хорошее зрение!»

Я встретил также человека, ослепшего 17 лет назад после ранения. Он уже начинал забывать формы, образы прошлого, терялись, расплывались в памяти. Ему восстановили зрение, и он часами простаивал у зеркала, разглядывая себя. Щупал нос, щеки, причесывал волосы: перед ним стоял незнакомый человек, но все же это был он, бывший слепой. Он сказал мне: «Эта операция называется пересадкой. В самом деле это пересадка в жизнь!»

Но больше всего меня взволновала Ольга, двадцатилетняя девушка из Крыма.

Ей было восемь лет, когда она ослепла. Она видела только во сне. Ей часто снилась ее комната. Она видела шкаф, стол, над кроватью несколько фотографий, размещенных, как карты, веером. Она подходит к окну, раскрывает его. Море солнечного света слепит глаза. За окном — высокие кипарисы, магнолии, люди спешат на улицах, а ее подруга, маленькая Наташа, перебегая улицу и взмахивая рукой, кричит: «Доброе утро, Оля!»

Ольга просыпается, но... не в утро, а в ночь. Молочный туман плотно окружил ее. Нет Наташи, нет кипарисов, нет солнца...

Только во сне приходила зрячьсть...

С этого времени прошло немало лет. Ей много читали, ее учили. Теперь она «видела» только прикосновениями, обонянием, слухом. Зрительные образы составлялись из звуков: шум прибоя представлялся ей в виде высокой волны с пенистой гривой, запахи прелых листьев в глубине ее сознания преобразовались в оголенные деревья парка. Все она воспринимала по-иному. Вот она входит в комнату и садится на стул. Этого достаточно, чтобы определить, что комнату только что оставила Катя, ее подруга: «Я узнала об этом потому, что сиденье еще теплое». Движение воздуха в комнате, небольшие, едва уловимые сквозняки, изменения температуры, все то, на что мы, зрячие, не обращаем внимания, замечала Ольга. По этим признакам она узнавала, раскрыты ли окна, светит ли солнце. По скрипу ступенек она угадывала, сколько ступенек остается еще до лестничной площадки. Чувство почвы, неровности, бугорки, наклоны, выпуклости, все это отмечала она в сознании своем и поэтому по улице передвигалась почти свободно и самостоятельно.

Однажды я пригласил Ольгу на прогулку. Мы шли по улице без определенной цели. Она сказала мне:

— Тут где-то близко море.

— Как вы узнали об этом?

— Я почувствовала запах соленой воды.

Этого запаха я не улавливал. До моря еще было далеко. Мое удивление все возрастало. Например, мы переходили дорогу, но не я, а она предупредила о приближавшей машине. А в другом месте она сказала:

— Где-то здесь стоят лошади.

Я ответил:

— На этот раз вы ошиблись.

Но мы сделали еще несколько десятков шагов, и в узком переулке я увидел лошадей.

Ольга рассказала мне, что запахи она воспринимает особенно остро.

Она даже так выразилась: «Запахи меня ослепляют, как яркий свет ослепляет зрячего. От резкого запаха (для вас, впрочем, он может показаться не совсем резким) у меня начинает кружиться голова».

Мы приблизились к морю. Ольга тихо и задумчиво сказала:

— Я люблю море...

Было бы нетактично вслух выразить свое удивление. Как может любить море слепой человек? Может быть, с давних пор у нее осталось какое-то воспоминание с море, бледное зрительное ощущение его простора, красок, призрачное, туманное, неясное. Образ моря создан, скорее, ее крылатой фантазией и ничего общего не имеет с действительностью. Так полагал я. Чтобы не причинить ей боли, я осторожно, стараясь не обнаружить недоумение, спросил:

— Вы помните море с детства?

— Нет... Я и теперь очень часто хожу к морю. Какое это приятное зрелище — море...

Я мысленно проделал над собой такой эксперимент: на секунду закрыл глаза и попытался представить себе, мог ли бы я испытать удовольствие от того, что сижу у моря. Ну, положим, я слышу его шум, ощущаю запахи соленой влаги, морской травы. Но я ведь ничего не вижу! Из восприятия моего выпадает самое главное — ощущение бескрайнего простора, вид зеленой волны, переливы красок на волне и, быть может, где-то в глубокой дали смелое призрачное крыло паруса. Нет, я просто не распознал горькой иронии в ее словах: «Какое это приятное зрелище...» Ольга поняла мое затруднение и пришла на помощь:

— Я душой вижу море, всем своим существом. Ведь море — это не только то, что вы видите. Морской ветерок, который ласкает мое лицо. Чистый воздух, который обдрит меня... Мне кажется, что я вижу море всей поверхностью моего тела, вижу свет, который отражает

море. Море солоновато на вкус, его можно услышать: оно стучит о берег, оно шумит, и шум этот катится далеко — далеко, и по стихающему шуму я угадываю бесконечный простор. Когда я купаюсь, я чувствую его силу. Когда я вдыхаю воздух, я улавливаю столько запахов, что вы не представляете себе: запах рыбы, водорослей, соли, песка, нефти, смолы, сосновых досок...

Возвращались мы в клинику перед вечером. В небе появились тучи, они быстро и низко проплывали над нами. Запахло дождем. Ольга сказала мне: «Нам нужно торопиться...»

Перед тем, как войти в клинику, мы прошли в узенький коридорчик, который круглые сутки освещался электричеством. Лампочка обычно стояла на столе привратницы. Когда мы вошли в коридорчик, в ту же минуту начался ливень. Раскаты грома сотрясали здание. В клинике погас свет, в коридорчике стало настолько темно, что я ничего в нем не смог различить. Ольга пришла впереди меня и мы потеряли связь. Я окликнул ее: «Ольга, не торопитесь!»

— Я понимаю, здесь темно, — сказала Ольга. — Я прикоснулась к лампочке на столе: она холодная. Какие беспомощные зрячие, когда они попадают в темное помещение!

Теперь она взяла меня за руку и провела по коридору. «Осторожно, здесь лестница».

Позднее, уже в палате, Ольга сказала мне:

— Я сама знаю, что я глубоко несчастна. И не удивляйтесь, если я вам скажу, что больше всего мне неприятно сочувствие, сострадание, если оно выражается только словами. Когда меня жалеют, я еще больше страдаю. Это не позволяет забыть мне свое горе...

Она помолчала немного и потом добавила:

— Владимир Петрович жалеет меня. Но это особая жалость. Такое сострадание мне приятно. Ну, как приятно сострадание матери. Жалеет по-настоящему тот, кто помогает, спасает. А есть такие, которые жалеют лишь для того, чтобы о них сказали: «Смотрите, какие они добросердечные». Я верю и надеюсь. У нас не отгораживаются от слепых. Мы все так же работаем, живем со странной одной трудовой жизнью. Мы — не лишние люди. Профессор сделал мне лучший подарок: он подарил мне надежду. Его добрая рука откроет мне свет, который

я утратила. Это будет самая прекрасная сказка из тех, которые мне когда-либо приходилось слышать.

На щеках у Ольги вспыхнул румянец. Она заметно волновалась.

— Я бы хотела еще раз увидеть свет. Вы слышали о таком растении — агаве? Оно живет сто лет, потом выпускает цветок, и когда вянет цветок, умирает агав.

Через несколько дней ее оперировали. Я видел, как раздувались ноздри Ольги. Ей хотелось вдохнуть как можно больше запахов операционной, вдохнуть, чтобы запомнить на всю жизнь. Она тревожно прислушивалась к звону инструментов и непонятному приглушенному гсбору.

Владимир Петрович склонился над больной. Только что он вырезал диск роговицы с законсервированного глаза. Глаз отсвечивал, как мыльный пузырь на солнце, украшенный нежным кружевом сосудов. Потом профессор осторожно поставил миниатюрный трепан на бельмо. Диск бельма вырезан и удален. Теперь в отверстие он опустил кружок роговицы и укрепил его конъюнктивальным лоскутом. Вы видели когда-нибудь ювелира, вооруженного лупой и тонким мелким инструментом?

Подчас кажется, что все его движения — обман, — настолько они мелки. Рука профессора проверена на миллиметрах.

И в самом деле, диаметр глаза — 24 миллиметра. Отверстие в роговице прободает диаметром в 4 миллиметра. Ширина конъюнктивального лоскута 6—7 миллиметров. Глубина передней камеры глаза — 3 миллиметра.

Миллиметр! Вот единица измерения офтальмолога. Но какой это волшебный миллиметр! Он открывает бескрайние просторы человеку.

Операция окончена. Наложена повязка. И снова — палата, снова — мрак... Тяжелые минуты переживала Ольга. Это было самое тяжелое испытание в ее жизни. Что ждет ее: успех, счастье, свет или снова «печальная тюрьма без солнца?»

Что сказать о Демокрите, ослепившем самого себя? Слепые ярче мыслят? Когда сбредоточенно думаешь, закрываешь глаза. Этот философ и ученый из города Абдер, конечно, утратил рассудок.

Проходили дни: один, два, три... Ольге хотелось приподнять повязку и посмотреть на людей, с которыми она разговаривает, на кровать, на которой лежит, взглянуть в окно на каштаны, шум которых слышит.

Когда снимали повязку, сердце Ольги горячо забилося. Что можно сравнить с этой минутой?

Непонятное, большое, большее, чем могло вместить ее маленькое сердце, поднималось, росло в груди. Несколько минут она молчала. Не могла шевельнуть языком. Казалось, кто-то поджег бикфордов шнур, и вот пламя уже приближается к самому сердцу. И сердце вспыхнет, взорвется... Она не знала, что ей хотелось. Кричать? Плакать? Смеяться?

Владимир Петрович приблизил к глазам Ольги руку:

— Ну, посчитай, сколько пальцев?

И обезумевшая девушка, захлебываясь от радости и волнения, схватив руку профессора, прошептала:

— Один... два... три... — и дальше, переводя дыхание: четыре... пять пальцев!

— В самом деле? — спокойно и удивленно переспросил Владимир Петрович.

— Нет это сон! Это сон! Так можно с ума сойти!..

Зрение все улучшалось и улучшалось. Лицо Ольги становилось одухотворенным, живым, выразительным. С приподнятым настроением она ходила по длинным коридорам клиники, разглядывая все, даже стулья. Она боялась «проснуться». Ей казалось, что она должна рано или поздно проснуться в действительность — в темноту, в ночь.

Теперь она часто выходила на улицу, прогуливалась допоздна. Море красок вечернего неба волновало ее, тревожило воображение. А потом — ночь, но не та, к которой она привыкла и которую ненавидела, а другая ночь — ночь со звездами и луной, с тихим замороженным блеском моря, с далекими огнями на горизонте.

Все это, прекрасное и величественное, наполняло сердце жадной жить, бороться, учиться, постигать новое, работать.

Теперь в клинике всюду слышен ее жизнерадостный голос. Каждое утро она подходит к окну и поджидает машину Владимира Петровича. Она хорошо уже знает

его машину: приземистый лимузин с широкими блестящими крыльями и никелированными фарами. Когда машина мягко подкатывает к клинике, Ольга стремглав бежит по лестнице открыть двери профессору. Она открывает их и говорит:

— Доброе утро!

— Доброе утро! — отвечает профессор, поднимая за подбородок жизнерадостное, озаренное внутренним светом лицо Ольги.

V. КРУС УВИДЕЛ СОЛНЦЕ

Здесь я не мог скрыть своих чувств. Я смотрел на этого обезумевшего старика, стоявшего у дверей госпиталя и ежеминутно кланявшегося, словно в этом был смысл его жизни, и почувствовал, как сжимается мое горло. Да, я не мог скрыть своих чувств.

И вот почему.

Крусу было сорок шесть лет, но он уже сгорбил, лицо его покрылось морщинами, а во рту нехватало многих зубов, и поэтому нижняя часть лица стала короткой, губы запали, словно у старика. Руки у него были длинные, натруженные, узловатые; короткие рукава обнажали загоревшие предплечья, по которым змеились вздутые вены.

Он всю жизнь работал дворником большого дома, хозяин которого, худощавый, заносчивый фабрикант, знал о Кресе лишь то, что он дворник.

После смерти жены дворнику стало значительно труднее работать. От бессонных ночей туманились и воспалялись глаза. В пять утра он выходил уже на улицу в акkuratном переднике, выглаженном его маленькой дочерью, убирал мостовую, опорожнял урны. Потом убирал двор, мусорный ящик, чистил уборную. У управляющего домом были лошади, за которыми присматривал также дворник. На всех лестницах убирает дворник. Рубит дрова дворник. На побегушках дворник. Разносит нанимателям квартир записки с напоминаниями о плате дворник. И так до поздней ночи. О, это было сверх его сил. Дверь приказывали запирать в двенадцать часов

ночи, но именно с двенадцати до утра не утихал звонок в его маленькой цементированной коморке: возвращались домой пьяные господа. И когда утомленный, измученный, он опаздывал хотя бы на минуту, на него набрасывались с ругательствами, иногда били.

— Виноват, господин, виноват... Прошу извинить...

Он и вправду думал, что виноват. Он должен быть признателен хозяину за то, что имеет работу и квартиру, тогда как другие живут под заборами, затравленные полицейскими и голодом. Какой же благодетель его господин, протянувший руку в беде, предоставивший ему комнату, пусть грязную, пахнущую сыростью и грибами. Да, тяжело Крису, но он, ограничив себя, может все же кое-как прокормить единственную любимую дочь. И он, получив пощечину, твердил:

— Виноват, господин... Прошу извинить...

Потом он снова возвращался к себе, сбрасывал в сенях ботинки, чтобы не разбудить дочь, поправлял одеяло, сползшее на пол, садился на сундук, чтобы не заснуть в ожидании нового звонка пьяного господина.

К хозяину своему он почти никогда не подходил. Когда тот появлялся на улице, дворник кланялся, но фабрикант не замечал его и лениво отводил надменные, слегка прищуренные глаза.

Но вот заболела дочь дворника. Это было время, когда ожидали каких-то особых событий. Дворник не был в курсе того, что происходило вокруг; о чем перешептывались на улицах, в кафе, в доме, в котором он работал. Он был слишком занят работой и личным горем, чтобы прислушиваться к посторонним разговорам. Правда, его очень поразило, что хозяин впервые за несколько лет подошел к нему и сказал что-то о России, об убийствах детей, совершаемых русскими. Дворник выслушал все и подумал про себя, что ему не представится более удобный случай обратиться к фабриканту с просьбой помочь чем-либо дочери.

— Да, — сказал Крус, — конечно.. У меня, господин, больная дочь и я позволю себе просить вас... Я проработал у вас несколько лет...

— Дочь? Очень неприятно — сказал господин и вздохнул. — Русские ее совсем погубят.

И ушел, лениво отводя глаза, мутные и безразличные, с прищуренными веками.

Крус собрал деньги и пригласил врача. Врач пришел, осмотрел девочку, покачал головой. Потом молча сел к столу, обвел глазами, в которых светилось нетерпение, комнату и постучал по столу пальцами.

— Я пропишу лекарство, но не думаю, что оно поможет ей. Я мало верю в то, что ей что-либо поможет, кроме операции. Если вы хотите спасти дочь, поторопитесь.

Врач небрежным почерком написал рецепт, встал из-за стола и, обтрусив рукава, передал рецепт дворнику, тщетно пытаясь скрыть чувство гадливости. Потом постоял две — три минуты, пока дворник отсчитал причитавшийся ему гонорар мятыми кредитками и мелочью.

— А сколько платить за операцию? — спросил дворник.

Врач назвал сумму. Крус улыбнулся. Он впервые улыбнулся за последнее время. Но это была улыбка горечи. Если он продал бы все, что у него было, и добавил еще свое жалованье вперед за двенадцать месяцев, он не смог бы помочь дочери. А врач ушел, прикрыв за собой двери, оставив больную девочку, которую еще не было поздно оперировать.

В тридцати километрах от города жил брат покойной жены Круса, железнодорожный служащий. Крус решил отправиться к нему одолжить деньги. Уходя из города, Крус попросил соседку присмотреть за девочкой, и та согласилась. А на рассвете неожиданно в город вошли советские войска.

Город волновался, гудел, не спал. На улицах прогуливались празднично одетые толпы, то тут, то там стихийно возникали митинги, реяли красные знамена.

Девочке становилось все хуже и хуже. Вдруг она посинела, глаза ее остановились... Соседка, сожалеющая уже о том, что взяла на себя такую ответственность, выскочила на улицу, чтобы просить о помощи.

У подъезда стояла покрытая дорожной пылью автомашина с советским летчиком. Растерявшись, женщина бросилась к летчику, нескладно, запинаясь, рассказала о случившемся. Могла ли поверить глазам своим соседка Круса: летчик вышел из машины, спустился в подвал и на руках своих вынес задыхавшуюся девочку.

Ее поместили в наш госпиталь. Маленькая, бледная, с аккуратно заплетенными косичками и серыми грустными глазами взрослой женщины, она сразу же стала

любимицей госпиталя. Я произвел ей операцию, к счастью, еще не поздно. Она доверчиво смотрела на нас, улыбалась, когда ей становилось легче, и любопытными глазами оглядывала палату, санитаров в белых халатах, врачей. К ней все относились ласково и нежно.

Девочка поправлялась, оживала. Через несколько дней она уже ходила и в теплые дни гуляла в саду.

Тем временем с железнодорожной станции возвратился старик. Он шел по улице усталый, запыленный, обожженный солнцем, и в уголках сухого, потрескавшегося рта его появились черты упорства и решительности. Спотыкаясь на цементных ступеньках, он сбежал в подвал и остановился, оглушенный и растерянный: В комнате никого не было. Постель дочери еще, казалось, сохраняла формы ее тела, одеяло валялось на полу. В комнате было пусто и мертво.

Мертво и пусто стало на сердце старика. Он не смог удержаться на ногах, сел, уронил голову на стол и заплакал. Но вошла соседка и обо всем рассказала. Он встал, выпрямился и злой огонь вспыхнул в его глазах. Вспомнились слова хозяина: «Очень неприятно! Русские ее погубят».

Крус выскочил на улицу с такой быстротой, словно его преследовали. У ворот он встретил своего господина, который на этот раз первый снял шляпу и протянул навстречу руки. Не руку, а именно руки!

— Приветствую тебя, друг мой! Ну, чем ты так озабочен? — и глаза фабриканта были уже не заносчивыми, а какими-то скользкими, угодливыми.

Дворник искал свою дочь. Он останавливал офицеров и красноармейцев, расспрашивал их, но его не понимали: он путанно излагал свои мысли. Он бормотал что-то о том, что какой-то красноармеец украл его дочь и спрашивал, кому следует пожаловаться.

— Стойте, стойте! Вы говорите, что у вас заболела дочь? — переспросил красноармеец, статный юноша, пытаясь понять путаную речь старика.

— Да, да!.. Она была больна и ее похитили... Ее увезли из дому ваши солдаты... Я буду жаловаться!..

Старик дрожал от гнева.

— У нас никто не похищает детей. Но если она больна, то следует ее искать в госпитале.

И красноармеец показал рукой направление, в каком находился госпиталь.

Прежде всего он потребовал, чтобы ему выдали труп ребенка. Он смотрел на меня глазами, полными ненависти. Но я отказался ему выдать труп. Я объявил, что дочь его жива, что ей произвели уже операцию, что она выздоравливает и что, следовательно, помощь ей была оказана своевременно.

Старик молчал. Тем временем в дверях появилась его дочь с аккуратно заплетенными косичками. Лицо его просияло, и он бросился ей навстречу. Сколько я ни старался успокоить старика, мне это не удавалось. Прийдя в себя, он стал что-то искать в карманах, вынул деньги, одолженные у брата покойной жены, чтобы заплатить мне, но я отвел его руку.

— Нет, мы не берем денег.

Это была первая встреча со стариком. Потом я его встречал ежедневно в дверях госпиталя. Он стоял, улыбающийся, сияющий, и каждому, кто выходил из госпиталя, горячо и поспешно пожимал руку. Я смотрел на этого обезумевшего от радости старика, которому вдруг открыли солнце, и думал о своей великой Родине.

VI. ПРОФЕССОР КРЫМОВ

Алексей Петрович Крымов в 1914 году был назначен консультантом-хирургом Югозападного фронта, а Цеге-фон-Мантейфель — консультантом-хирургом Северного фронта. Крымов служил в армиях генерала Брусилова.

Брусиллов писал в своих воспоминаниях, что его поражало то, что перед войной в Варшаве все главные военные посты занимали немцы. Немцы эти служили в России, но они не служили России. Они служили кайзеру. Цеге-фон-Мантейфель — остзейский немец. Он был высокого роста, синий мундир туго, как перчатка, облегал его крупную, мясистую фигуру. На груди иконostas орденов. Перед войной Крымов встретился с ним на вечеринке у одного из московских профессоров. Неожиданно Мантейфель встал, в руках у него искрился бокал с красным вином. «Господа,—провозгласил Мантейфель,— ради самих русских, во имя процветания цивилизации и культуры России, немцы должны править Россией. Они возвеличат и оплодотворят ее!»

Все возмутились наглым выступлением Мантейфеля. Со всех сторон закричали: «Как он смеет! Заставьте его извиниться!» Мантейфель удивленно развел руками, изобразив на лице недоумение. Что, собственно, взволновало так русских коллег? Он ведь только высказал свое частное мнение. Но хозяин дома тем временем распахнул дверь и, подойдя вплотную к грузному, лоснящемуся Мантейфелю, показал рукой на дверь. Мантейфель поспешно удалился.

В библиотеке Академии наук я набрал на книгу, в которой автор описал свою встречу с Мантейфелем на поле боя.

Окруженный свитой немецких врачей, Мантейфель взошел на бугор, куда свозили раненых. Тут он определял кровоточащие сосуды и поучал немцев из своей свиты. Солдаты корчились в муках, а он равнодушно и спокойно цитировал немецких ученых, вел оживленный научный разговор над кровоточащими ранами и сердцами. Надругательством и цинизмом веяло от его слов.

Консультант-хирург Крымов во Львове, к стенам которого рвались немецкие армии, по суткам работал в госпиталях. Кто-то из солдат в операционной схватил руку профессора и поцеловал ее. Крымов вырвал руку, словно ее обожгли, наклонился и сам поцеловал руку солдату. Взволнованно он сказал:

— Не ты мне, а я тебе, русскому солдату, должен целовать руку!



Судьба хирурга связана с войной, и Алексей Петрович испил горькую чашу войны до дна. Его жизнь пересекли крутые, дымные дороги: китайская война, русско-японская, первая империалистическая, гражданская, Великая Отечественная. Пять воен за пятидесятидвухлетнюю врачебную работу! Он написал свыше 30 научных работ, посвященных хирургии военного времени. Его работы о ранениях черепа, об аневризмах, о перитонитах, о газовой инфекции — это выдающиеся исследования.

Слушая лекции Крымова, обогащаешься опытом, не пересказанным, не вычитанным из книг, а собственным опытом хирурга, который заблуждался, прозревал, снова ошибался, но к хирургическим истинам сам прокладывал трудную и длинную дорогу.

Любопытная подробность хирургической биографии Алексея Петровича. Мы были на прогулке в Киево-Печерской лавре. Крымов, видимо вспомнив о чем-то, рассмеялся. Через минуту он рассказывал.

Здесь нашли в свое время мощи ребенка. Монахи объявили, что бездетные женщины, поцеловав мощи, обретут способность к деторождению. Моя старая санитарка вдруг заметила среди богомолков женщину, кото-

рой я сделал операцию полного удаления матки. Она сказала женщине: «Сколько ни целуй, все равно уже не забеременеешь. Матки ведь у тебя нет. В желудке, что ли, вынашивать будешь?»

Выслушав это, я заинтересовался другим:

— Вы и гинекологией увлекались, Алексей Петрович?

— Не увлекался. Я начинал с гинекологии. И только случай открыл во мне истинное призвание.

Алексей Петрович загадочно улыбнулся.

— Всею причиной. чрезмерно крутая лестница в больнице, где я сначала работал.

— Лестница?

— Да, лестница. В женских больницах Москвы в старину был такой закон неписанный: тот, кто оперирует, должен лично отнести больную в палату. Операционная помещалась на втором этаже, палаты — на первом. Я оперировал однажды купчиху, габариты которой намного превышали мои физические возможности. А лестница у нас была крутая, деревянная, по типу винтовой. Вот строителям этой лестницы я, собственно, и обязан тем, что обрел свое истинное призвание и расстался навсегда с гинекологией.



Перу Алексея Петровича принадлежит более 120 научных работ. Наиболее значительным трудом его следует считать монографическую работу: «Учение о грыжах», ставшую настольной книгой каждого хирурга. Крымов изучил происхождение паховых грыж и их разновидностей, предложил свою теорию образования грыж, впервые изучил образование и закрытие брюшинного отростка, разработал свои новые методы операций паховых и бедренных грыж, широко применяемые советскими хирургами.

Профессору Крымову принадлежит открытие лимфатических желез в околопочечной клетчатке. Он предложил свою операцию фиксации почки и печени, экспериментально проверил влияние швов на почечную ткань и изучил происхождение паранефритов — воспалений околопочечной клетчатки.

Восемь научных книг и руководств издал Алексей Петрович Крымов. Им написан также учебник частной хирургии, по которому обучаются тысячи студентов.



Молодой ординатор, доложил Алексею Петровичу о прибытии двух раненых. У массивных дверей вестибюля на носилках лежали двое солдат, прикрытых серыми шинелями. Лицо первого было наспех перевязано бинтами. Большое расплывчатое красное пятно темнело в центре повязки.

В перевязочной вид больного заставил ужаснуться врачей. Вместо носа зияла дыра, в которую свисали обрывки щек и верхней губы.

Профессор приказал приготовиться к операции. Тем временем сняли шинель со второго солдата. Солдат был мертв. Узнав об этом, Алексей Петрович приостановил подготовку к операции. Нелепая, несозревшая мысль бродила в голове.

Ничто так не уродует, как отсутствие носа. Не потому ли в старину преступникам отрезали носы? Это было особенно распространено в Индии. Поэтому индийские врачи часто пытались восстановить носы; их способ восстановления носа и теперь называют «индийским». Когда в осажденную крепость врвался враг, мужчины отрезали носы своим женам, чтобы победители отвернулись от них. Рабам Рима нередко отрезали носы. Тальякоччи, итальянский хирург, предложил свой способ восстановления носов, который называют «итальянским». Смерть человека — это еще не смерть. Продолжают жить, как бы сохраняя чудесную силу инерции, отдельные органы, клетки различных тканей. Много дней после смерти растут ногти и волосы. Доказано, что ткани погибшего организма могут жить бесконечно долго, если их культивировать на питательных средах. В голове Алексея Петровича все это пронеслось в несколько мгновений. И первая, неясная, только забрежжившая мысль озарилась, обрела контуры. Он объявил врачам:

— Мы пересадим раненому нос трупа.

Говорят: хирург — ваятель, однако он имеет в своем распоряжении материал, который менее покорен резцу, чем мрамор и глина.

Соблюдая все предосторожности, Алексей Петрович иссек нос трупа и пересадил раненому. Изуродованное лицо солдата, плоское, как лицо каменной бабы, преобразилось, приобрело естественные черты.

Однако успех операции определяется лишь позднее. Приживет ли ткань? Появятся ли осложнения?

Вскоре Крымов показывал больного студентам.

Студенты обнаружили, что нос солдата подозрительно розов. Кто-то улыбнулся, дав понять, что окраска эта указывает на известное пристрастие больного. Другой студент убежденно сказал:

— Нос — красный, географические контуры, припухлость. Предполагаю рожистое воспаление, — торопился студент, стараясь обнаружить всю полноту своих знаний.

— Прекрасно! — остановил его профессор. — Вы все сказали? Покраснение носа объясняется тем, что в нем восстановилось кровообращение. Нос прижил и, конечно, никакого рожистого воспаления здесь нет.

Я просмотрел десятки специальных книг, но не нашел подобной успешной пересадки носа от трупа человеку.



С профессором Крымовым мы посетили Аскольдову могилу. Благоухали цветы, в золотых лучах солнца тронутые осенней зрелостью трепетали листья. Я заметил грустные морщинки под глазами Алексея Петровича. То он оживленно беседовал, а то вдруг замолкал. Печальным полукругом на Аскольдовой могиле лежат надмогильные плиты. Здесь покоятся офицеры и генералы, павшие в боях за столицу Украины. Алексей Петрович вслух, как бы для того, чтобы запомнить навсегда, читал имена погибших. Потом мы прошли дальше, мимо лестницы, и ступили на тропинку, ведущую к крутым берегам Днепра.

— Где-то здесь они похоронены, — рукой показал Алексей Петрович. Теперь их могилы разорены... Немцы их разорили.

Я еще не понимал, угадывал только боль в его словах.

— Здесь были похоронены двое моих ребят, — добавил Алексей Петрович, сжав губы.

И тогда я вспомнил, как в клинике, в кабинете, кажется в связи с постановкой пьесы Корнейчука «Платон Кречет», у нас завязалась острая дискуссия о гуманности и профессиональном долге врача, и Крымов рассказал о самом большом своем горе.

Ребята его заболели скарлатиной. Днем и ночью он не покидал их, у постели он был не только отцом, но и врачом. В жестокой лихорадке еще не окрепшие сердца детей боролись со смертью. Бессонница измучила Алексея Петровича, но он не сдавался...

Вечером из клиники пришел санитар и сообщил, что привезли умирающего больного. Дежурный врач диагностировал непроходимость кишечника. Молодой ординатор, трезво оценив все, отказался сам делать операцию и доложил о больном профессору.

Алексей Петрович все понял. Ему было тяжело отлучаться от детей. Но за стенами этой комнаты в клинике метался больной. Профессор угадал трепещущее, гаснущее дыхание человека, услышал тот надрывный грудной крик, которым встречают надвигающееся видение смерти, и чувство врачебного долга вспыхнуло в нем с необыкновенной силой. Конечно, он должен быть на посту, в операционной, у своего стола. Но ведь и здесь, у постели своих детей, он также на посту... Профессор — хирург, в его руках оружие, которым можно спасти жизнь больного в клинике, а здесь оно ни к чему: скарлатину не лечат скальпелем. Здесь нужна только отцовская забота. Медицинская сестра заменит его.

Алексей Петрович встал со стула. Несколько секунд раздумывал. Вышел в переднюю, молча одел пальто, взял палочку и побрел в осеннюю слякоть, в гнилой туман, в котором тускло проступали пятна уличных фонарей.

Хирург выполнил свой долг. Он произвел операцию, назначил лечение и тут же вернулся домой. Желтые листья, вращаясь, плавно падали вниз, выстилали мокрую мостовую.

Дома он остановился в дверях, испытал чувство неясной тревоги. Необычайная тишина стояла в квартире. Детей он застал уже мертвыми...



Сын художника, Крымов продлил линию дарования отца в хирургии. Скальпель Алексея Петровича во многом повторяет кисть отца-художника.

Ежедневно, с неизменной точностью, в положенное время, ни минутой позже, профессор приходит в хирур-

гическую клинику на бульваре Шевченко. И здесь все по расписанию: утренняя пятиминутка, обход больных, лекции, лечебная и педагогическая работа. Сотрудники клиники разрабатывают научные темы: подсадка тканей, сонная терапия, алкогольный наркоз, аневризмы. Алексей Петрович руководит всем этим сложным научным механизмом клиники. А потом — заседания столичного хирургического общества, председателем которого он состоит уже много лет, ученого совета министерства, бесчисленные консультации в институтах, госпиталях, больницах.

В Алексее Петровиче Крымове поражают высокая жизненная сила, кипение, прекрасная негаснущая молодость. Она и в звенящем молодом его голосе, в смелом, безукоризненно точном движении скальпеля, в живой активности. Неустанно работает его творческая мысль: вот он уже задумал новую книгу — он ее обязательно напишет! — книгу, в которой проследит поступательное движение военной хирургии — от Китайской войны до Великой Отечественной. Вот он уже отредактировал новую диссертацию своего ученика. Вот он проводит конференцию, выступает на съезде хирургов в Москве, снова выезжает в Москву, чтобы принять участие в работах Академии медицинских наук.

В работе, в труде на благо родины молодеет профессор. Секрет этой молодости — в негаснущем научном творчестве.

VII. ЧУВСТВО ДОЛГА

Я хотел быть хорошим врачом. Но как это сделать? Один известный врач сказал: «Нужно быть честным».

Это правильно, но этого мало.

Профессор Филатов сделал открытие в области восстановительной хирургии. Созданный им «стебель» называли эпохой в хирургии. Филатов открыл широкие творческие горизонты перед хирургами.

Я спросил Филатова:

— Скажите, Владимир Петрович, как вы придумали свой стебель?

Он ответил не сразу.

— Видите ли, я люблю человека...

Сначала мне показалось, что мы говорим о разных вещах. Потом я понял, что ответ был по существу.

К ученому пришел человек с обожженным изуродованным лицом.

Врач хотел помочь несчастному. В мыслях о нем миновала не одна ночь. И вот именно это страстное желание помочь пробудило в ученом счастливую мысль. Чтобы творить, нужен не только строгий разум, но и горячее сердце.

Не должно быть врача с душой чиновника или бездушного ремесленника.

Но я знал врача с сорокалетним стажем, который все хотел бросить медицину и мечтал о карьере бухгалтера. Он любил подсчеты, цифры, линованные странички. Сорок лет он лицемерил, жил жизнью врача, которая не

была его жизнью. В нем не было к своей профессии ни любви, ни склонностей. Он совершал множество грубых медицинских ошибок, но главная ошибка — выбор профессии. Он не любил медицину так, как любил ее один из моих учителей. Когда этот профессор показывал студентам механизм перелома шейки бедра, он прodelывал в аудитории такой головокружительный пируэт, что мы думали, как бы профессор сам себе не сломал ногу. Осенью, как мальчик, он поднимал на улице каштаны, чтобы в операционной показать нам, что доброкачественная опухоль также подвижна, как каштан на ладони.

А как искал себя великий Дарвин? В биографии Дарвина любопытно именно это болезненное искание самого себя, внутренняя борьба стремлений и склонностей.

Отец Чарльза Дарвина был врачом и полагал, что сын унаследует его любовь к медицине. Но сын оставил медицинский факультет на полпути. Больные люди возбуждали в нем страх.

Чарльз увлекся музыкой. Он посещал церковные хоры, приглашал к себе певцов. Однако потом обнаружилось, что юноша не только не понимает музыки, но и вовсе не имеет слуха. Друзья говорили, смеясь, что бедному Чарльзу трудно было отличить завывание шакала от популярной песенки. Нет, музыка не для Дарвина! И вот увлечение музыкой сменяется увлечением... алгеброй. Алгебра! Ее обозначения представлялись ему загадочными. Математики, оказывается, выражают свои мысли цифрами, а не так, как смертные, словами. Для музыки — рассудил юноша — нужны уши, для алгебры — голова. Но алгебры хватило ненадолго. Он оставил алгебру, не найдя себя в ней. Новое увлечение Дарвина началось после встречи с Уитлеем, позднее другом Дарвина, который привил ему любовь к картинам и гравюрам. Дарвин покупал гравюры, посещал музеи, галереи, читал, увлекался, но, не обнаружив в себе дарований художника, быстро забыл о живописи. Далее последовало учение на богословском факультете, который также не открыл в будущем ученом истинного призвания. Напротив, в религии он обрел злого врага.

И лишь после всего пришло природоведение — наука, которая создала Дарвина, и наука, которую создал Дарвин. Это был тяжелый, мучительный путь исканий. И по-

думать странно, что именно так искал себя человек, обессмертивший имя свое великими открытиями.

Правда, гений Дарвина не был сразу замечен. Им не увлекались, напротив, на него нападали. Недаром одна из первых статей — рецензий на учение Дарвина заканчивалась словами: «Все, что в Дарвине ново — неверно; все, что верно, — не ново».

Чтобы стать врачом, нужно найти себя в этой профессии. Нужно иметь к медицине призвание и любить ее. Но смешно и трагично уподобиться врачу, который сорок лет врачевал, чтобы потом стать... бухгалтером.



Какую волнующую привязанность я встретил однажды! Знакомый врач-терапевт направил к нам в отделение больного мальчика с запиской: «Необходима неотложная операция. Аппендицит».

Мальчика привезли родители. Это был приемыш, но стариков он называл «папа» и «мама». Старики рассказали мне: лет одиннадцать-двенадцать тому назад они взяли в детском доме на воспитание двух детей — мальчика и девочку. Собственных детей у них не было.

На старике были длинный старого покрова пиджак, узкие брюки. К широкому засаленному воротнику прицеплен черный фабричной завязки галстук. На белом жилете висела тяжелая цепочка от часов, терявшаяся в боковом нижнем карманчике. Из-за вставных челюстей говорил он с присвистом, мягко, по-старчески. Очки на толстом носу держались низко, смотрел он поверх них, высоко поднимая брови.

У старушки было мягкое, доброе, сморщенное лицо, серые влажные глаза. На шее у нее висел медальон с портретом мужа.

— Оставим сыночка, Боря? — обратилась старуха к старику.

Мальчик лежал на диване и сквозь опущенные ресницы смотрел то на меня, то на стариков. Ребенка, конечно, оставили в больнице: я прямо предупредил их, что было бы преступлением забрать его.

— Нужна операция? — испуганно спросила женщина.

— Пока неизвестно.

Старики решили ждать установления диагноза.

Я внимательно наблюдал за мальчиком. Казалось, ни один симптом не оставался незамеченным. Но все же я не мог точно установить диагноз. Дело в том, что в этом возрасте иногда воспаление легких протекает, как острый аппендицит. И в моей практике встречались такие случаи. Тут же все было, как при аппендиците: боли в правой подвздошной области, болезненность при ощупывании этой области, напряжение стенок живота, температура, рвоты. В общем весь комплекс симптомов. Но вот эта краснота на правой щеке и изменения, незначительные правда, в легких, особенно справа, поколебали меня. Быть может, все же это воспаление легких?

Я вышел в коридор. В вестибюле ждут старики. Если это аппендицит, то операция необходима: в ней спасение. Если же это воспаление легких, тогда от операции мальчик может погибнуть. Что ж, выжидать? Но если это аппендицит, то выжидать нельзя, невозможно.

Несколько минут в нерешительности я простоял в коридоре. Что сказать старикам? Как им растолковать все это? Как объяснить? Как посвятить в свои сомнения? Всеми клетками я чувствовал свою ответственность.

Какую невероятную нелепость говорят: «врачебная специальность безответственна». Да, для безответственных людей.

Я вышел в вестибюль. Прислонившись к перилам, стояли старики и перешептывались. Когда я появился в дверях, они бросились ко мне. В глазах их застыл немой вопрос.

— Так вот что, — сказал я, стараясь быть спокойным, а они следили за каждым моим движением. Быть может они даже не слушали меня, а смотрели только в глаза, — глаза откровеннее и прямее речи. — Так вот что, — повторил я, сдвинув брови и стараясь не выдать встревоженности, — с операцией мы повременим. Теперь нет еще прямых показаний для вмешательства.

Они облегченно вздохнули.

Возвращаюсь в отделение. Теперь нет прямых показаний? А если это в самом деле аппендицит?

Ночь прошла беспокойно. Я много раз подходил к мальчику, наблюдал его и снова возвращался, омраченный всякими подозрениями. А может быть, аппендицит? И всякий раз вставала перед моими глазами трогатель-

ная родительская пара. И эти влажные испуганные глаза старушки...

Но на другой день я уже мог с уверенностью сказать, что у мальчика воспаление легких и, конечно, в операции не было нужды.

— Я умею ухаживать за больными, — торопилась женщина. — Дома у меня три примуса. На одном я приготавливаю компот, на другом — желе, на третьем — пудинг. Я умею предупреждать все желания. Кто еще может так ухаживать за больным, как я? Я очень благодарна вам, доктор! Отдайте мне сына.

Глаза у женщины были влажные-влажные, а старик почему-то снял очки, вынул платочек и стал старательно и долго протирать их.

Ответственность велика, но я не боялся ее. Из старой литературы мне известен факт, когда хирург, испугавшись кровотечения, бросил больного и выбежал на улицу. Чувство ответственности у него отождествлялось с чувством страха. Нужно не подчиняться сердцу, а подчинять сердце.

Работу хирурга считают «особенно вредной». Рузер и Попов нашли, что в утомленности хирурга наибольшее значение имеет эмоциональное напряжение. Сила переживаний у хирурга больше, чем у терапевтов, учителей, инженеров.

Мы отвечаем вдвойне: за свое личное несовершенство и за несовершенство науки. Опытный врач также не гарантирован от ошибок.

Тем острее мы должны чувствовать ответственность перед больными.



Английский врач Педжет писал: «Нет хирурга, которому не пришлось в течение своей жизни несколько раз укоротить жизнь больному в то время, как он стремился продлить ее».

Он писал об этом так, словно это неизбежно. Укоротить жизнь человеку? Ведь это то же, что и убийство! Поэтому у нас к нашим ошибкам должно быть особое отношение. Если ошибается бухгалтер, в конце концов, дело в цифре. Если ошибается механик, портится ма-

шина. Ошибка сапожника стеснит ногу. Но ошибка врача — это смерть человека.

Многие учились на ошибках. Это, пожалуй, страшно. Ошибки должны учить. Но мы не имеем права учиться на ошибках.

«Чтобы стать хирургом, нужно идти через кровь и смерть, нужно воспитывать в себе жестокость. Поэтому сердце хирурга — просто аппарат для кровообращения. А чувства? Они только портят дело». Я не мог согласиться с такой направленностью мыслей.

Вот случай: врача вызвали к больному с типичным аппендицитом. Хирург предложил операцию, но больной в то время был в городе проездом и ждал жены, которая должна была приехать с юга. До приезда жены он категорически отказался от операции. Когда, наконец, операцию сделали, состояние больного резко ухудшилось. Отросток слепой кишки был уже омертвевший, и через несколько дней при явлениях острой интоксикации больной умер.

Напомним слова одного хирурга: «Отсрочка оперативного вмешательства до появления угрожающих признаков... равнозначна вынесению больному смертного приговора».

Что должен был сделать врач? Настаивать? Угрожать? Проявить насилие?

Я думаю, если врач убежден в своей правоте, он может убедить и больного.

Другое дело поступок Моклера. Он рассказывает, что перелил кровь сорокалетней женщине от ее матери, шестидесяти лет, которой три года тому назад была произведена ампутация грудной железы по поводу рака, поразившего уже даже плевру. Нужно сказать, что кровь такой больной вообще малоценна. А самое важное — взятие крови у шестидесятилетней женщины, у которой развилось раковое истощение, по меньшей мере, ошибка, если не преступление. Разве Моклер не спекулировал на чувствах матери, обещая выздоровление дочери, облегчение ее участи?

Об ошибках нужно говорить, а не скрывать их. «Я считаю священным долгом педагога, — сказал Пиров, — немедленно опубликовывать свои ошибки и их последствия для науки в предостережение другим, еще менее опытным, от подобных ошибок...»



Думая о Люсе, я вспоминаю разговор с профессором Филатовым. Он сказал мне: «Когда я оперирую, кажется, я иду по канату над обрывом»...

Он говорил мне также о том, что профессия у нас тревожная, что врач всегда находится между жизнью и смертью человека и что мы крепко связываем свою судьбу с судьбою больного.

Трудно вообразить переживание хирурга, в действиях своих усмотревшего неточность или ошибку, но уже после того как все кончилось. Он видит, что состояние больного ухудшилось, он в мыслях повторяет всю операцию, восстанавливает ее детали в памяти, чтобы припомнить ложное движение, ход, а может быть, и выбор операции. Сколько ночей недосыпает он в муках. Как жестко спать тогда и как тяжело дышать, словно бронхи заполнены ватой...

Что же произошло с Люсей? Судьба ее надолго лишила меня покоя.

Эта девушка болела давно и к нам прибыла уже после нескольких операций, произведенных ей в разных городах. Все началось с того, что еще ребенком она упала с высокой железнодорожной насыпи спиной на камень. Подняться она не смогла. Подруги принесли ее на руках домой. Врачи установили перелом позвоночника, осложнившийся параличом ног. Вскоре явления паралича начали проходить, перелом сросся, и все можно было бы считать законченным, если бы не эта стойкая, болезненная, небольшая язвочка на пятке. На протяжении многих лет язвочка не заживала. Девушку несколько раз безрезультатно оперировали, а теперь она приехала к нам «испытать судьбу».

В двух-трех словах я должен объяснить, каким путем мы хотели помочь Люсе. Язву мы трактовали как трофическую, т. е. такую, которая возникла в связи с нарушением питания тканей. Естественно, если мы найдем пути улучшить питание тканей, то и язва быстро заживет. Как будто одним из таких путей является операция Лериша, удаление наружного слоя артерии, после чего наступает расширение сосуда и питание тканей улучшается. Мы решили произвести Люсе эту операцию. Операцию должен был сделать я.

Девушке было восемнадцать лет. Она была молода и жизнерадостна, очень хотелось помочь ей. Ведь она постепенно, не замечая этого, становилась рабом своего недуга.

На третий день после операции повязка промокла: началось нагноение. А на шестую ночь я, обходя палаты, в сумрачном свете коридорной лампы, скулыми лучами проникавшем в палату, увидел лицо Люси, поразившее меня своей бледностью.

В чем дело? Я понимал, конечно, что означает нагноение на таком большом сосуде, как бедренная артерия, да еще артерия истонченная. В последние дни я дрожал только при мысли о нагноении. Правда, можно было обнаружить признак, который освобождал меня от мучений совести. Я подразумеваю красные полосы, протянувшиеся от язвы на пятке к ране на бедре. Это были воспаленные лимфатические пути, указывавшие на то, что инфекция поднялась из язвы к ране, но не была занесена хирургом. Меня это полностью оправдывало, но все же нагноение произошло и смертельная опасность надвинулась.

Теперь наступила развязка. Очевидно, прорвалась артерия. При этой страшной догадке я бросился к Люсе. На расстоянии шага я заметил, что под ногой у меня что-то хлопнуло. Дрожь прошла по спине. Да, конечно, это кровь. В ту же минуту я нашупал лампу на столе и включил свет. Все было в крови: простыни, подушки, одеяло, стены, пол. Люся лежала спокойная, но смертельно бледная. Пульс не прощупывался. Нельзя терять ни одной минуты. Нужно что-то делать! Но что? Где санитарки? Где сестры? Я выскочил в коридор и позвал их. Потом снова возвратился в палату и крепко прижал бедренную артерию у больной. С трудом мы перевели Люсю в операционную.

Теперь нужно было действовать осмотрительно и точно. Отыскиваю сосуд и дважды перевязываю его крепкой лигатурой. Потом мы приступили к вливанию физиологического раствора. Но этого мало. Нужно перелить кровь, которой у нас тогда в запасе не было. Я все же заглянул в холодильник, в котором хранились колбы с консервированной кровью. Там было пусто.

Возвращаюсь в операционную. Люся попрежнему бледна, дышит она поверхностно, искра сознания иногда

прорывает пелену обморока. Медицинская сестра продолжает вливать физиологический раствор. Я становлюсь в голове Люсиной коляски, на душе у меня беспокойно. Еще не все сделано. Я бы сказал, — сделано мало. Но в чем выход? Где искать его? Я предчувствовал еще много испытаний: на этом не кончится, жизнь девушки еще не в наших руках. А Люся несколько дней назад говорила, что на этот раз обязательно выздоровеет, и тогда... тогда уедет на север работать радисткой. Это — ее мечта.

Тем временем неминуемо приближалась катастрофа. Ее можно было предвидеть. Но как предупредить?

Я осматриваю операционную. Голые стены, пустой огромный зал. В центре маленькая группка людей: врач, сестра, две санитарки. Все стоят молча, но все живут одними мыслями, одними чувствами. Я снова возвращаюсь к холодильнику, в котором хранилась кровь. Снова открываю белые дверцы, но в холодильнике пусто, нет опрятных животворящих колб, так нужных в эту трудную минуту.

Закрываю дверцы, вешаю ключ на гвоздик, иду к больной. Пройти в операционную можно только через длинный коридор. Иду медленно, раздумывая. Впрочем, разве положение безвыходно? Если в холодильнике нет крови, то это не означает, что нет выхода. Выход есть, нужно только проинструктировать сестру.

В операционной заканчивали вливание раствора. Теперь сестра стояла против Люси, опустив руки, жадно всматриваясь в ее лицо.

На этот раз я пришел с ясным намерением, сразу все согревшим: кровь девушке дам я. Тем более, что ее трагедию я уже давно связал со своей судьбой, и мне, как всегда, казалось, что я забочусь об очень близком, родном человеке. Правда, хотя все это и так: и близкий, и родной, но я чувствовал еще и вину перед нею, и это глубоко волновало меня. Не кто другой, а именно я произвел операцию, и после моей операции возникло несчастье. Если учесть аргументы, которые можно было бы выставить в мою защиту, то и тогда я виновен. А разве нельзя было предвидеть это осложнение? Разве с операцией нужно было так спешить? Разве, наконец, не в операции причина всего несчастья?

— Сестра, помогите мне, это сущие пустяки — четыреста кубиков крови.

— Может быть, стоит подождать до утра? Придут докторы... — робко возразила сестра.

— Будет поздно. Нужно спешить.

Сестра более не сказала ни слова. Она понимала, что это необходимо и ничто не поколеблет мое решение.

Вот и все. Свежая кровь, универсальная группа. Она была еще горячей. У верхнего края колбы пенилась, бурлила. Сейчас она потечет по усталым сосудам девушки, растревожит ее мозг, зажжет улыбку жизни на губах, и в глазах также вспыхнет огонек моей крови.

В голове моей стоял легкий шум, похожий на гудение проводов, капельки холодного пота выступили на лбу...

Сестра помогает переливать кровь больной. И на наших глазах лицо светлеет, губы приобретают живую окраску, появляется пульс.

Это были минуты, которые трудно забыть.



У нас — не обычный враг: он глубоко притаился в теле человека, засел в лабиринте клеток, плывет в крови, лимфе, соках. Нужно разгадать его, разоблачить, догнать и уничтожить:

Мы осматриваем больного с головы до ног, ощупываем, расспрашиваем. Мы вслушиваемся в его речь, замечаем не только то, что он говорит, но и то, как он говорит. Мы всматриваемся в его губы, когда они шевелятся: симметричны ли они, бледны, сухи ли. Мы смотрим в зрачки человеку, словно внимательно слушаем его, но мы замечаем, что они утратили округлость. Мы всматриваемся в цвет склеры: не изменила ли ее желтизна желчи. Мы следим за глазами больного: не блестят ли они, как при туберкулезе, не мутны ли и страдальчески неподвижны, как при раке. Не так легко обнаружить врага, глубоко засевшего в теле человека. У нас нет формул, по которым всегда можно найти точное решение. Мы должны быть наблюдательны и подозрительны. Вот почему мы присматриваемся к цвету кожи, крыльям носа, к оттенку ушей: нет ли этой предательской, смертельной синевы. Потом мы прислушиваемся к голосу сердца, к его торопливой речи.

Но бывают осторожные враги, подобно лисе замещающие след. Они не оставляют следов, доступных нашим

пальцам, глазам, ушам. Они исподтишка подтачивают человека, разрушают его. Тогда мы обращаемся к анализам: мы разыскиваем врага в крови, в тканях. То, что не улавливает наша рука, улавливают химические приборы и микроскоп.

Но в случае с этой девушкой мы где-то просчитались. Перелив ей свою кровь, я по существу еще не исправил положения.

Все дело в том, что крупнейшая питающая артерия перевязана, а это угрожает ноге: перевязать сосуд, значит обескровить ногу, лишить ее питания. А если это так, то что сказать о последствиях? Конечно, все могло обойтись благополучно. Я не могу вводить читателя во все подробности, но я делал ставку на коллатеральное кровообращение — обходные, добавочные пути. Поэтому ежечасно я подходил к Люсе, определял температуру ноги, следил, не появится ли эта пагубная чернота на пальцах — знак гангрены, омертвения.

О, это тяжелое ожидание! Оно похоже на ожидание приговора. Но вот появилась, наконец, эта страшная чернота. Я смотрю на нее пристально, не сводя глаз. Я не могу поднять глаз, так как встречу взгляд девушки. Это черное пятнышко напоминало облачко над морем, предвещающее грозу, бурю.

— Доктор, вы так часто посещаете меня, — сказала мне девушка, — что я невольно начинаю нехорошо думать...

Я поднял глаза. В моем кармане хрустнул карандаш — так сжал я кулак. Я ответил ей, что то, что я обнаружил, безусловно нехороший признак, но она должна лежать спокойно и ждать: ведь на своем веку она перенесла уже немало испытаний...

В коридоре встретил главного врача.

— Ну, как с Люсей?

— Плохо...

— Нелепый случай. А дерзать нужно было. Твоей вины здесь нет.

Я ничего не ответил.

Я вспомнил только горькие слова Чехова: «Ни одна специальность не приносит порой столько мрачных переживаний и потрясений, как врачебная».

Я понимал, что то, что я сделал, не было преступлением. Можно допустить только стечение обстоятельств.

Бурю ведь нельзя предупредить, если она приближается и все разрушает, ломает деревья, сносит крыши. И это была буря, в водоворот которой толкнула меня моя специальность.



— Скверно в больнице — смертью пахнет, — как-то сказал мой коллега, — и я даже начинаю привыкать к смерти.

Он говорил о том, что подчас человеческая драма не вызывает в нем эмоций. Он видел уже самое страшное. Поэт Некрасов, у которого был рак и которому никто не мог помочь, сказал: «Не страшно умереть, а страшно умирать». Но и к страданиям привык мой коллега, он очерствел и не скрывал этого. Он не улыбался больному, не обнадеживал, когда больному было плохо. Он говорил просто: «Ваши дела швах, дорогой». Ему примелькались человеческие страдания.

У коллеги было хроническое заболевание легких. А люди, если они долго болеют, становятся, в конце концов, раздражительными, желчными. Может быть, эта его жестокость — от усталости (а он всегда имел утомленный вид).

Однажды коллега сменял меня на дежурстве. В отделении стоял удушающий, сладковато-приторный запах гноя, а на дворе была весна. Через открытое окно ординаторской проникал пьянящий аромат цветов. В небе флотилией парусников проплывали легкие облака.

Коллега сбросил куртку, расстегнул воротник и, не надевая халат, грузно опустился в кресло.

— Снова этот проклятый запах! Знаете, он убивает во мне чувство живого. В молодости я любил всех этих весенних жучков, бабочек, стрекоз над тихой заводью. Ну, что вы нашли в зловонии, в этом вертепе страданий? На воздух, к деревьям, к цветам! Будьте ботаником, садоводом, выращивайте сочные плоды. Вот там настоящая жизнь!

Он умолк, склонив голову. В комнате слышно было его утомленное, шумное дыхание.

Конечно, запах гноя менее приятен, чем запах акаций. Но я вспомнил разговор с писателем, посвятившим меня в замысел своей повести о враче-ученом. Врач пят-

надцать лет искал способ борьбы с туберкулезом. Когда ученый с трибуны съезда, волнуясь, сообщил, что он, наконец нашел вакцину, убивающую палочку Коха, съезд приветствовал его, однако отметил, что это открытие имеет только историческое значение: социализм уже победил эту болезнь. Тогда ученый в ботанике обрел свое новое призвание. И я ответил коллеге, что садовником буду лишь тогда, когда не будет нужды во врачах.

Я был искренно удивлен, когда однажды увидел, как коллега промывал желудок больному. Он все морщился, плевался, неприятно кричал. Больной заметил это и стал просить врача оставить его в покое, в крайнем случае он сам промоет себе желудок.

У меня с коллегой, уставшим от болезни своей и от болезней других, были разные ассоциации. Я не скажу, что запах гноя приятен, но если у коллеги гной ассоциируется со смертью, то у меня он ассоциируется с борьбой за жизнь. В этом различие.

Коллега говорил: «вертеп страданий». Может быть, маленькая чеховская больничка, похожая на тюрьму, была именно таким вертепом. Вы помните: «Осмотрев больницу, Андрей Ефимович пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и весьма вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что можно было сделать, это — выпустить больных на волю, а больницу закрыть...»

Но такие больницы были в царской России. Тогда и врачи считали, что незачем мешать людям умирать, так как «смерть есть нормальный и законный конец каждого».

У нас нет подобных установок. Мы свидетели того, как жизнь побеждает. И если в прошлом Пирогов и Боткин, несмотря на все их гениальные открытия, не могли облегчить судьбы человечества, то это потому, что существовало самое ужасное — социальная несправедливость.

Мы построили больницы — дворцы. Я бывал во многих клиниках и видел больных, годами прикованных к постели, которых врачи поднимали все же на ноги.

Раненному в сердце в нашем отделении возвратили жизнь. Больному, истекавшему кровью, с остывшим дыханием, перелили кровь, и лицо его, захлестнутое смертельной бледностью, вдруг озарилось улыбкой. Я встре-

чал людей с неизлечимыми, казалось, заболеваниями, но их спасали в больнице, и они выходили из нее со счастливыми глазами.

Я особенно запомнил девушку Саню, потерявшую зрение. У нее был так называемый «паренхиматозный кератит». Она ненавидела эти два страшных слова. Они ограбили девушку. Они лишили ее солнца, улиц, природы, остановили движение, уничтожили формы и краски. Подобно неустойчивому кораблику, Саня блуждала в густом молочном тумане.

Ее поглотила жизнь звуков, химерная жизнь создаваемых ею же образов. Что может быть ужаснее потери зрения? «Береги как зеницу ока», — гласит поговорка.

Сане сделали операцию, наложили повязку на глаза и отвели в палату. Она переживала тяжелые минуты. Вся ее жизнь вдруг встала перед ней: несколько ярких лет, а потом... потом пустыня. Она вообразила, что это подруги, забавляясь, на минуту завязали ей глаза, и вот она, зрячая девушка, ходит с завязанными глазами, разбросав руки, и ищет. Как называлась эта игра? Грустно улыбнулась: «игра» эта длится уже несколько лет.

Проходили дни. Девушке хотелось немного приподнять повязку и взглянуть на мир хоть краешком глаза. Ведь она столько лет не видела ни отца, ни матери, ни подруг. Она жила среди них и не видела их. Она говорила с ними и не видела, как шевелятся их губы. Она слышала, как шумели деревья, только ощущала тепло солнца, но не видела, как восходит оно.

Когда прошел срок и снимали повязку, сердце девушки бешено колотилось. Несколько минут молчала. Ей тяжело было дышать, она старалась сдерживать себя. В полупрозрачном синем тумане двигались людские силуэты, мутно поблескивали начищенные медные ручки дверей. Проступали светлые контуры окон. А на стекле, словно пригуженные автомобильные фары, лениво передвигались солнечные зайчики.

Саня увидела снова! Зрение ее все улучшалось и улучшалось. Она с любопытством разглядывала даже стулья, столы, шкафы. Девушке показалось, что она возвратилась из далекого тяжелого путешествия, со страшного острова темноты в просторный мир света и красок.

Этим счастьем ее наградили в больнице.

Я видел сотни таких людей. Видел я их и в своей клинике, и в других клиниках. Какие же есть основания утверждать, что больница это — вертеп страданий? Здесь завязывается упорная, тяжелая борьба, стоящая страданий, а то и жизни. Но это борьба во имя жизни, и врачам радостно в ней участвовать. Они не одиноки в этой неравной борьбе, не одиноки потому, что за их спинами народ. Они не одиноки, как были одиноки врачи Чехова, сомневавшиеся в целесообразности существования их профессии. Зачем им было спасать людей, если возвратит им жизнь означало возвратит им страдания? И они опускали руки: незачем облегчать больным страдания разными лекарствами. Ведь только «страдания ведут человека к совершенству и, если бы не было страданий, жизнь людей была бы совсем пустою и похожей на жизнь амебы».

Что мог сделать врач? Чем он мог помочь, каким способом, пилюлями и порошками, если людей уничтожали голод и бедность?

Борьба была неравной. Врачи были одиноки. И многие из них, побежденные, обессиленные, уничтоженные, чувствуя свою беспомощность, становились циниками, ненавидели все и всех. Они черствели. Их не тревожили, не волновали человеческие страдания, они легко привыкали к ним, сроднялись с ними, ибо не видели вокруг себя счастья. Они приходили к выводу, что «страдания ведут к совершенству» и что поэтому они необходимы. Когда поступал в больницу человек, они говорили: «умрет». Если он уже к ним попадал, то для того лишь, чтобы умереть.

Анатом говорит о костях и мускулах, гистолог — о клетках, хирург — об операциях. А человека нет... Клетки заслонили человека. О Вирхове не без иронии было сказано: Вирхов разделил человека на клетки и органы, а теперь никак не может собрать его. Поэтому кое-кто прекрасно знает структуру сердца, но плохо знает сердце больного.

Нельзя потакать больному, безоглядно идти навстречу всем его желаниям. Настоящая мужественная чуткость в том, чтобы подчас не выполнить желание больного, а сделать то, что диктует врачебная совесть. Нередко бывает трудно сдерживать себя.

У одной молодой девушки был перелом костей го-

лени. Дома она хотела снять занавески с окна, упала и сломала себе ногу. Девушка очень переживала свое несчастье, хотя я, как умел, убеждал ее, что все окончится благополучно: срастутся кости и она хромать не будет. Когда ее привезли в больницу, я в тот же день наложил ей гипсовую повязку и произвел рентгеновский снимок, показавший, что отломки стоят прекрасно.

Я объяснил все это девушке и даже показал ей снимок. Девушка была впечатлительной, настроения ее быстро сменялись, и я не удивлялся, когда после смеха она начинала вдруг плакать, зарывшись головой в подушку. Ей все казалось, что она останется калекой: «Я буду хромать! Вы понимаете, что это значит? Я буду калекой!»

Я упорно не разделял ее горьких предположений, да и никаких данных не было для них. Девушка должна выздороветь.

Через несколько дней я разрешил ей ходить. Она встала с постели и, предполагая очевидно, что сразу же начнет ходить ровно и спокойно, вдруг взвыла от боли, так как сделала несколько резких и смелых движений. Нужно было видеть, что произошло с нею. Она бросилась на постель, билась, а когда я появился в палате, встретила меня в штыки: «Вы меня обманули! Вы подло меня обманули! Я понимаю теперь все, все! Вы наложили неправильно повязку, вы искалечили меня. Я знала! Вы плохой человек! Убирайтесь, убирайтесь! Слышите?!»

Я стоял как вкопанный. Мне плевали в лицо при всех. В палате было много больных, а я молчал и краснел. Я готов был ответить этой девушке не менее резко и грубо, но сдержал себя. Я не сказал ей ни слова. Правда, я только заметил, что она неверно оценивает свое состояние и что позднее она поймет это.

Когда больная выздоровела, она подошла ко мне, тронула мою руку и глубоко, виновато заглянула в глаза:

— Вы извините меня... Я оскорбила вас. Я это очень, очень переживаю...

Чувства у больного всегда обострены. Он особенно реагирует на каждое слово, и тогда забота и внимание врача, тактичность, его способность угадывать движение души больного могут сыграть решающую роль. Хирург, который все на свете считал сложным и трудно постигае-

мым, говорил мне, что наше дело — операции, а «разговорами» пусть занимаются психиатры. Это их хлеб.

Он не хотел понять, что каждому из нас в какой-то мере нужно быть психиатром, а если не психиатром, то психологом обязательно.

Где более чем у нас популярна чуткость? Она возникает там, где есть настоящая дружба, любовь к человеку.

Маленький, симпатичный доктор, приятель мой, ехал в трамвае. У него было слабое сердце, и вдруг он увидел круги перед глазами, зашатался и упал. Палочка и шляпа лежали рядом. Его подняли, посадили на скамью, а потом хотели проводить домой, но он наотрез отказался.

Он посидел на скамье несколько минут, потом встал и пошел к больному.



Я думаю о «неправде» врача. «Неправда» врача — вопрос, о котором стоит говорить.

Сразу же после окончания института я старался говорить больным много и обстоятельно. Одному из своих товарищей, не имевшему отношения к медицине, я сказал не без чувства профессиональной гордости: «У тебя инсуфициенция и стеноз трикуспидального клапана сердца». Он широко открыл глаза, смущенный тяжело-весной латынью. На простом языке это означает порок сердца. Мне нравилось усложненное, медицински высокомерное звучание этих слов и, пожалуй, я радовался тому, что самостоятельно установил диагноз, поторопившись сообщить об этом несчастному пациенту.

После этого друг мой захирел. Он буквально таял на глазах, осунулся, опустился. Он делал маленькие шаги, хотя длина его ног позволила ему делать шаги, по крайней мере в пять-шесть раз большие. Говорил он почти шопотом, так как боялся растревожить сердце. Все это продолжалось так долго, пока он не обратился к одному известному кардиологу, который сказал приблизительно вот что: «Чепуха! Небольшой шумок. Идите, работайте».

И товарищ выздоровел.

Кое-чему это меня научило. Что ж тогда, выходит,

нельзя быть откровенным с больным? Нужно лгать? А разве назначение лекарств умирающему больному не есть ложь?

Так вначале думал я, считая, что открыл истину. Но жизнь капризна, и ко всему нельзя подходить с одной меркой.

Я знал девушку, которая заболела туберкулезом. Это была молодая, крепкая физкультурница, с синими глазами, пышной золотой стрижкой. В ней буквально все бунтовало, цвело. Она была неплохой теннисисткой, прекрасно работала на брусьях и даже на республиканских соревнованиях получила приз. Так вот, эта девушка заболела туберкулезом. В ней было столько жизни, что она не поверила в болезнь. Какая, к черту болезнь может одолеть ее?

Но то, что однажды у нее вдруг появилась кровь в мокроте, все же заставило обратиться к врачу. Правда, девушка склонна была объяснить появление крови случайной причиной: это из десен, из носа, но уж во всяком случае не из легких!..

Когда я выслушал легкие, все стало ясно...

Я объявил девушке, что она больна серьезно и должна ехать в Крым на лечение.

— Да что вы! Лечиться? Я? Нет, нет, не поеду!

Если сначала я колебался, сказать ли ей правду, то теперь напротив, я энергично сгущал краски.

«Да, — сказал я, — вам необходимо ехать немедленно. У вас туберкулез, тяжелая форма. Вы можете еще спасти себя. А всякое промедление угрожает смертью».

Девушка выехала в Крым. Там она вела себя легкомысленно: купалась в море, часами грелась на солнце, пренебрегала режимом. И вскоре у нее появились каверны, которые свалили ее в постель.

Было бы большой ошибкой с моей стороны скрыть от нее правду. Может быть, я даже недостаточно резко открыл ей эту правду.

В других случаях, сколько ни обманывай, больному все равно ясно его состояние. Салтыков-Щедрин в последние свои дни писал: «Все врачи со мной больше разговаривают о вольнодумстве, чем о моем заболевании. Может быть, болезнь уже такого рода, что на нее нужно махнуть рукой. Что я умираю, это безусловно. Но ужасно то, что умирание происходит с такой нетерпимой медлен-

ностью. Напрасно говорят мне врачи, что мне лучше, — я в этом случае считаю себя более компетентным судьей».

Так говорил Салтыков-Щедрин, но я глубоко убежден, что где-то в глубине души он все же питал надежду. Пока человек жив, он всегда надеется. Большой писатель произносил слова, полные отчаянья и убежденности, но в глазах врача искал возражений.

В больницу однажды пришел на прием мужчина. Он подробно изложил мне свои жалобы и заключил тем, что смело предположил в себе тяжелое, безнадежное заболевание. Когда я исследовал его, уже с первых минут было ясно, что у больного рак. Я поднял глаза и наши взгляды встретились. Что-то было, повидимому, в моих глазах, так как военный вздрогнул, испытующе прищурился. Но я взял себя в руки и спокойным «докторским» тоном сказал:

— Ну, что ж. У вас старый воспалительный процесс. Немного подлечитесь, а потом...

— Что потом? — прервал меня он. — Вы все обманываете меня, доктор. Вы должны сказать мне правду. У меня дела, семья. Я не могу уйти, не сказав последнего слова...

Я уклонился от ответа. Собственно, я повторил ему все то, что сказал раньше, добавив, что если его не удовлетворяет мой ответ, он может обратиться к другому врачу. Тогда он сказал:

— Поймите, ведь вы совершаете преступление. Это же преступление!

Потом он изменил тон:

— Подумайте, доктор. Зачем играть в прятки? Ведь я не истерическая девушка. Сколько раз я видел смерть... Я никогда не боялся ее: ни в окопах, ни в походах. У меня крепкие нервы. Вы должны мне сказать. Для дела. Понимаете? Для дела!

Он поколебал мое упорство и я сказал ему правду.

Чем больше больной настаивает, чтобы ему открыли правду, тем больше он боится ее.

Когда меня вызывают к больному в палату № 15 (это палата для умирающих) и он, обратив ко мне мутный взгляд, спрашивает будет ли жить, я твердо и убежденно отвечаю: «Да, вы будете жить».

Больному можно внушить любую мысль. Даже врачу,

если он болен. Один врач, правда, ответил мне: «Не утешайте, я сам привык утешать». Но я знал врача, который страдал неизлечимой болезнью. Он сам должен был знать истинное положение вещей. Разве он не имел достаточных знаний, чтобы разобратся в признаках заболевания, тем более что почти ежедневно преподавал их студентам! Но мы всегда находили какой-нибудь аргумент, чтобы отклонить его совершенно справедливые догадки. Человек в его положении готов поверить в самое невероятное, лишь бы это окрыляло его надежды.

Не следует ли из всего этого, что «ложь» необходимо возвести в принцип?

Конечно, нет. В ней даже нет нужды. Коллега рассказал мне случай. К нему явилась женщина, жена скончавшегося недавно профессора К. Она бы не пришла к врачу вообще, если бы на этом не настояли дети. После смерти мужа ей все равно жить не хочется. Она все в жизни утратила. Что ж, очень хорошо, что у нее рак. Она счастлива, что все так быстро и просто закончится. Она не хочет жить. И рак ни капли ее не пугает. «Какой смысл скрывать от нее действительный характер ее страданий?» — подумал врач. Все дело заключается лишь в том, чтобы уговорить ее согласиться на операцию. Врач сказал прямо: «рак».

Я знаю случай, когда врача обвиняли в сокрытии правды. Это относилось к женщине с компенсированным пороком сердца. Она явилась к врачу за советом: можно ли ей рожать? Врач подумал, взвесил все и ответил, что можно. Роды прошли благополучно. Женщина родила девочку. Потом она захотела иметь еще одного ребенка. Прежнего врача в это время не было в городе. Она обратилась к другому, который категорически запретил ей рожать.

— Почему? — удивилась женщина.

— У вас порок сердца, — ответил врач.

— Вот как! Порок? Значит, в первый раз я рисковала? Почему же меня не предупредили об этом, почему скрыли от меня?

Если после всего меня спросят, как же быть с «ложью», я скажу, что я за то, чтобы щадить больного. Это должна быть правда или смягченная правда. Но одну неправду я готов поддерживать всегда — улыбку. Когда человеку тяжело, и приходит врач, улыбается, под-

бадривает, шутит, больному становится легче. Он чувствует в таком враче уверенность.

Больные простят врачу такую неправду.



Как только заболевает врач, он сразу же перестает быть врачом. Это превращение удивительно. Порой совершенно очевидные симптомы заболевания больной врач склонен объяснять случайными причинами. Врачи внушаемы, как и больные. С этой точки зрения следует посмотреть письмо больного Чехова.

«Впервые я заметил его у себя (кровохарканье. П. Б.) три года тому назад в окружном суде, продолжалось оно дня три-четыре. Оно было обильно. Кровь текла из правого легкого. После этого я раза два в году замечал у себя кровь, то обильно текущую, т. е. густо красящую каждый плевок, то не обильно; каждую зиму, осень и весну и в каждый сырой день я кашляю. Но все это пугает меня только тогда, когда я вижу кровь: в крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве. Когда же нет крови, я не волнуюсь и не угрожаю литературе «еще одной потерей». Дело в том, что чахотка или иное серьезное легочное страдание узнается только по совокупности признаков, а у меня-то именно и нет этой совокупности. Само по себе кровотечение из легких не серьезно: кровь льется иногда из легких целый день... а кончается тем, что больной не кончается, и это чаще всего. Если бы то кровотечение, какое у меня случилось в окружном суде, было симптомом начинающейся чахотки, то я давно уже был бы на том свете, — вот моя логика».

Для каждого врача очевидно, что кровотечение, описанное Чеховым, могло произойти только на почве туберкулеза легких. Но врачу Чехову это еще не было ясно: «Вот моя логика», — писал Чехов, но это была логика больного, всем своим существом протестующего против болезни, ищущего надежду и устремившегося на ее неуверенный, робкий огонек. Известен случай, когда профессор, у которого на операционном столе диагностировали неоперабельный рак печени, тешил себя надеждой, что это лишь воспалительный процесс, и продолжал работать, посещал клинику, делал обходы. Лицом к лицу

со своим недугом и врач теряет врачебную логику, и его знания служат ему для того, чтобы «защититься» ими от нависшей угрозы.

Я знал женщину-врача, которая, чувствуя беду, упорно искала подтверждения своим догадкам. Она хотела вырвать правду у коллег. Это было также стремление обрести надежду, ибо, добиваясь правды, она хотела услышать хорошую весть. Ей произвели соскоб матки и установили рак. Была произведена операция, матку удалили. Однако уже после операции ей сказали, что это был не рак, а воспалительный процесс. Исследование опухоли, мол, не обнаружило раковых клеток. Больная добивалась правды. Обычно после удаления раковой опухоли больные проходят курс рентгенотерапии. Ей также предложили облучение. «Значит, рак», — догадывалась она. Но хирурги говорили: «воспаление». «Если воспаление, то к чему было тогда оперировать? А раз операцию сделали, следовательно, рак» — рассуждала она. Впрочем, могли оперировать по ошибке. Она готова была уже простить эту ошибку, лишь бы оказалось, что у нее не было опухоли. Бедняжка, она измучила себя этими догадками и совсем запуталась, потеряла ориентировку. Я встретил ее последний раз на заседании хирургического общества: она была бледна, имела осунувшийся вид, синие круги под глазами, втянутые щеки. «Скажите, — обратилась она ко мне, — следует ли мне облучаться рентгеном?» Она испытующе смотрела мне в глаза. Если я скажу «следует», это будет означать, что у нее рак. Иначе зачем же рентген? Это была уловка. Сотая, тысячная... Но даже тогда, когда она добивалась нового косвенного доказательства, что у нее рак, она неустанно продолжала допытываться. Будто после всего еще оставались неясности.

Она хотела верить лишь в то, что ставило под сомнение роковой диагноз.



Как много жалоб поступает на врачей. Может быть, в самом деле они всегда виновны?

Вот письмо Люси. (Помните девушку, которую мы с таким трудом спасли от смертельного кровотечения?), Я не ждал от нее письма. То, что произошло с ней, было

так давно. Мне казалось, что все уже похоронено и забыто. Я и вспоминал о ней от случая к случаю, но всегда, конечно, с болью.

И вот вдруг письмо. Оно очень удивило и тронуло меня.

Люся радисткой не стала. Как только выписалась из больницы, она настойчиво принялась за учебу. Теперь уже она на третьем курсе медицинского института. Я не стану пересказывать ее письма, а приведу его почти полностью.

«Я и сама не могу объяснить, почему пишу Вам. Собираюсь долго — несколько лет, как видите. Я чувствовала, что написать Вам, посвятить Вас в кое-что, я должна...

После того как я покинула больницу, я думала, что для меня все утрачено. Вы помните, как я увлекалась радио, как мечтала о поездке на Север? Но то, что произошло со мною, сразу же все изменило. Я поступила иначе. Хоть я и была влюблена в радиотехнику, но моя болезнь, так долго продолжавшаяся и так печально закончившаяся, совсем по другой линии направила мои мысли. Я не выходила из круга неотступных вопросов: что произошло со мною? Почему так? Почему сосуды мои оказались неполноценными? В чем причина моих бед? Что такое вообще сосуды и нервы? Я много прочла книг за эти годы, поступила в медицинский институт, и вот я уже на третьем курсе. Представляю себе, как вы удивлены. Тем более что вы знали, что я предпочитала радиотехнику...

Когда я покинула больницу, во мне боролись два чувства; чувство ненависти к Вам и Вашей клинике и чувство удивления. Простите, если моя откровенность неудобна и резка. Сначала объясню причины ненависти. Я многое потеряла в больнице и считала, что виноваты в этом Вы... Что там было — легкомыслие, ошибка, неопытность, неосведомленность, — я не задумывалась. Так или иначе, но после Вашей операции мне стало хуже... Может быть, я бы и не утвердилась в этом мнении, но я обратилась потом к врачу, все ему детально рассказала, и он сказал, что виноваты Вы. Да, представьте, он так и сказал. В нашем городе этот врач имел плохую славу. В душе я была уверена, что им руководили не совсем чистые побуждения. Он этим как бы ста-

вил себя выше других. То, что сказал он, было по существу призывом к преступлению. Я готова была проучить Вас. В тот же день я написала подробную жалобу прокурору и письмо в газету, но ни жалобы, ни письма не отослала. Почему? Быть может, потому, что все же уважала вас. Я видела, как вы тревожились, волновались. Вы приходили ко мне и днем и ночью. Столько теплоты и желания помочь было в Ваших поступках, что я не смела думать о Вас плохо. И потом кровь, которую Вы дали мне... Вы ничего не сказали тогда, но мне об этом сообщила операционная сестра Нина Михайловна. Как я после всего могла думать, что Вы мне навредили, экспериментировали на мне? Нет, я не могла так думать о Вас...

А теперь в институте я многое поняла. Мне стало ясно, что медицина — не точная наука и что врачи часто, подобно слепым, ходят наощупь. Как много еще неясного, неизученного! Нужно преодолеть множество препятствий, и в этом движении, в этой борьбе я также приду участие.

Вот кажется и все, о чем я хотела Вам написать...»



Многие считают, что врач *обязан* вылечить. Не просто лечить, а излечивать.

В клинику, в которой я работаю, пришел молодой отец провести свою трехлетнюю девочку. После операции, как, впрочем, и до операции, состояние ее оставалось тяжелым. Когда отец узнал об этом, он ворвался в ординаторскую, взволнованный и бледный, с поднятыми кулаками:

— К мсей дочке прикасалась рука хирурга, эта рука должна ее вылечить!

Так думают многие.

Невольно вспоминаются мудрые стихи поэта Саади:

«От смерти спасет ли вас врач? Ведь ему
Она ежечасно грозит самому...»

От нас требуют: излечи! Ведь ты назвался врачом!
Этого требуют все, кто переступает порог больницы. Наш

народ — победитель. И если вдруг болезнь валит человека, никто у нас не может примириться с этим. Уж слишком кипуча и цветуща жизнь, чтобы подчиниться смерти.



Это произошло в Северной Осетии. За мной прискакал невысокий молодой осетин в мягких кавказских сапогах с короткими голенищами. Он легко соскочил с коня — зазвенело серебро на пояске — подтянул подпруги и хлопнул ладонью по кожаным, перетянутым посредине ремнем, подушкам седла.

— Человек умирает в селении. Садись, доктор!

Я застал больного в тяжелом состоянии. Он лежал в левом углу маленькой сакли с глинобитным, чистенько подметенным полом. Лежал он на деревянном лежаке, в многочисленных цветных подушках. У лежака на полу — полустертая шкура козла. К окну, обращенному в сторону горы Адай-Хох, прижался столик; на нем — зеркальце, огарок свечи, бутылка с осетинской водкой и две граненные рюмки.

— Агасту!¹ — приветствовал меня старик в широкой войлочной шляпе и рыжем коротком бешмете, очевидно, отец больного. — Псмоги, умирает Мусса...

Больной корчился, стонал. Я даже не видел его лица: он упрятал его в ладони и не разнимал рук. Распознав заболевание, я предложил немедленно отвезти больного в больницу.

Старик посоветовался сначала с женой, вошедшей в саклю после того, как я осмотрел больного, а потом с больным и тут же принял мое предложение. Он заставил меня выпить водки: «Не выпьешь, Мусса не выздоровеет». И хрипло добавил: «Вужник², дохтур!»

Ночью началась гроза. Она была страшна в горах. Молнии ежеминутно прорезали хмурую темень ущелья, гремел гром, словно поблизости раскальвались и рушились целые горы, а тучи все напоззали и напоззали на вершины.

Когда прояснилось, показалась огромная луна, и в ее бледном сиянии мертво светились вершины, зачарован-

¹ Здравствуй!

² Спасибо.

ные, неподвижные, таинственные. Испуганная одинокая тучка торопилась на север, догоняя толпу своих сестер.

На утро пришли грозные вести о наводнении. Зима в том году была снежная. Таяние снега на вершинах и льда на Сказском и Цейском ледниках значительно усилилось после ливня. Бурная горная река Цей-Дон переполнилась, искала новых русел, на горных поворотах размывала ущелье, сносила на пути сосны, играя ими словно щепками, размывала дорогу, разрушала мосты. Все мчалось вниз с бешеной скоростью в речку Ардон, чтобы влиться в мутный и бурный Терек.

Произошли огромные разрушения, пострадала не только дорога, но и селение, горные рудники Бурдон, Нузал, Садон, Зарамаг, Мизур. Со снеговых гор одна за одной катились лавины, часто возникали обвалы, гремевшие словно орудия: обветренная, обожженная солнцем порода обрушивалась, раскальваясь и срываясь вниз по каналам камнепадов.

Утром ущелье выглядело, как поле боя: валялись сваленные грозой сосны, несколько деревьев были расщеплены молнией, камни выворочены, на уступах задержалось много песка, камней, смятой травы, сорванного кустарника. Много изменений произошло в природе в эту бурную ночь.

Внизу у мостика, уцелевшего каким-то чудом, мы встретились с человеком в мокром, грязном костюме. Он поздоровался и передал мне помятый голубой конверт. Письмо адресовалось мне. В нем было всего несколько слов. Врач-терапевт ближайшей больницы извещал, что больной, направленный мною, прибыл, но хирурга больницы не застал: он уехал в Алагир. На пути между больницей и селением Мизур были огромные разрушения. Хирургу дали телеграмму, но не уверены, что он доберется скорее, чем могу прибыть я.

Со мной был старый санитар. Он согласился сопровождать меня. Посыльный сказал, что идти нужно через перевал. Он сам сначала пытался пройти по дороге, но вскоре вынужден был вернуться. Поэтому он пробрался к нам не по дороге, а по тропинке, знакомой ему еще с детства, когда он пас в горах скот. Он также пойдет с нами. Лошадьми мы проедем несколько километров, чтобы сохранить силы, а дальше пойдем пешком. Он, ко-

нечно, не тревожил бы таким трудным переходом доктора, но ведь необходимо как-то помочь человеку.

Захватив веревки, мы отправились в путь. Ехали быстро, и только на узкой тропинке, над обрывом лошади шли медленно, храпели, стараясь ступать подальше от края. Внизу под ногами бушевал Цей-Дон, мчался по крутым ущельям. Сверху он был похож на взбунтовавшуюся змею. Мутный пенный поток гудел монотонно, и, казалось, работали жернова гигантской мельницы. Холод от Цей-Дона, подхваченный воздушным течением, достигал нас, остуживая разгоряченные тела.

Тропинка обрывалась у крутого подъема. Тут мы оставили лошадей, связались веревкой и медленно, осторожно пошли вверх.

Было свежо. Кружились над нами птицы. Мы пробирались по уступам над глубокими обрывами, и веревка, связывавшая нас, делала нашу судьбу общей.

— Успеем? — спрашиваю я.

— Успеем, — отвечает проводник.

— Успеем, — бормочет санитар Закаев, улыбаясь загоревшим, морщинистым лицом.

Мы подошли в «камину». Это была горная щель. Боковые стены ее поднимались на высоту одиннадцать-двенадцать метров, ширину она имела до метра. Багряная скала поднималась небольшими выступами, на которых пушистой каймой лежал нетронутый снежок. Щель напоминала две плоскости огромного пресса, не успевшие сомкнуться.

Карабкаемся вверх плечо к плечу. Перебросив ноги мостом, опираясь, с одной стороны спиной, а с другой — ступнями, берем высоту вершок за вершком. Когда приблизились к верхнему краю «камина», проводник ловко забросил ноги на край щели, вытянулся, опрокинулся на живот, оттолкнулся руками и встал на ноги. Потом он помог мне и Закаеву взобраться на край.

И снова в путь. Тропинок уже здесь не было. Нужно просто выбирать проходимые места между камнями. Миновав прозрачный горный источник, мы повернули влево и пошли по пористой серой марене, пока не вступили в полосу снежного фирнового поля.

Снег был покрыт крепкой ледяной коркой, и передвижение наше ничем не осложнилось. Но чем выше, тем снег становился более рыхлым, и мы проваливались по

пояс. Наши движения напоминали движения пловцов: с большим трудом мы вырывали из снежных ям окоченевшие руки и ноги, ложились лицом вниз и так ползли, подбадривая друг друга. Вывалявшиеся в снегу, мои спутники напоминали больше шаловливых ребят, чем людей, выполняющих свой долг.

Позади осталась черная гора Шау-Хох, похожая на спящего льва. Слева от нас гордо возвышались вершины Лагау, Кальпер, Адай-Хох, белоснежные конусы, ярко обозначившиеся на синем небе. Но нам некогда было любоваться красотами вершин. Мы были убеждены, что хирург больницы прибудет лишь через несколько дней, а дорога каждая минута. Нам нужно идти быстрее вперед. Когда мы снова связывались веревкой, я спросил Закаева, стягивавшего второй узел на поясе:

— Вы знаете больного, Закаев? Кто он?

— Кто? Мусса Дзалаев, сын Хаджи Дзалаева. У Хаджи было десять дочерей и один сын. И этот сын — Мусса. Он работает учетчиком на колхозном поле, около станции Веслан.

— И хорошо танцует, — добавил проводник.

— Он танцевал на национальном празднике в ауле, где был доктор, — напомнил старик.

В самом деле, я вспомнил танцора (это было в день моего приезда), очень подвижного, легкого, хотя он был высок и на первый взгляд казался неуклюжим. Он танцевал на площадке у древней полуразрушенной квадратной башни из красного камня. Разметав руки, как орел крылья в полете, он кружил словно безумный, дико выкрикивая: «Асса!», поминутно обгоняя девушку. Девушка в противовес мужчине плавно проплывала по кругу, не затрудняя себя ни одним сколько-нибудь резким движением. Лицо ее было сосредоточенным, спокойным, движения округлыми и мягкими. Она — воплощение спокойствия, кокетливого равнодушия. Он — темперамент, ветер. Мусса Дзалаев и девушка танцевали под гармонику, на которой играла, как и повсюду в Северной Осетии, женщина.

Все это в один миг возникло в моей памяти.

— Горцы все хорошо танцуют. Это в крови, — улыбнулся Закаев.

Чем выше мы взбирались, тем становилось холоднее. Но чем выше, тем радостнее было нам: рождалось упор-

ство в преодолении новых препятствий, нетерпение. До перевала оставалось немного. Пробраться напрямик было тяжело, — очень уж крут склон, — и мы решили обойти его. По дороге встретили несколько «жандармов» — невысоких остроконечных выступов, доставивших нам немало хлопот.

Еще несколько усилий — и мы уже спускаемся вниз по ту сторону перевала в другое ущелье. Снова глубокий, пушистый снег, потом ледяная корка, камни. В шерстяные носки заползал снег, он таял, и высокогорные ботинки становились еще более тяжелыми.

Ливень принес много бед. В хорошее время можно было бы по дороге добраться на лошадях до больницы в течение часа-полтора, а на этот переход мы уже потратили более семи часов. Если к вечеру доберемся до больницы, то наши усилия, пожалуй, увенчаются успехом. Проводник говорил, что дорога в направлении Мизура разрушена еще больше, а до Мизура километров двадцать. Хирург больницы находится в Алагире. Это еще восемьдесят километров. Можно предположить, что эти восемьдесят километров пути не разрушены, и он легко доберется до Мизура. Ну, а от Мизура? Ведь там перевал круче и сложнее нашего. Нет, конечно, врач не успеет прибыть в больницу раньше нас.

Связка наша рассыпалась. Веревку через плечо нес Закаев. Время от времени мы просто садились на склон и катились вниз, — настолько он был крут. Переход казался бесконечным, тем более что усталость уже давала себя чувствовать. От ультрафиолетовых лучей лица наши побагровели, а от необыкновенной белизны снега глаза слезились. В глазах моих товарищей я видел множество воспаленных, красных сосудиков.

Внизу, почти на самом дне ущелья, увидели мы, наконец, красную крышу больницы. Больница стояла неподалеку от селения и напоминала камень, сорвавшийся с горы и задержавшийся на склоне.

— Больница! Больница! — радостно закричал Закаев. Мы ускорили шаг.

Около кровати больного я увидел человека в небрежно надетом халате. Он был небрит, синие круги под глазами, напряженные вены на лбу и потное лицо свидетельствовали о большой усталости. Когда я вошел, он поднял на меня глаза и прищурился удивленно. Глаза

его лихорадочно поблескивали. Вдруг позади себя я услышал взволнованный голос Закаева.

— Это вы, доктор? Как вы пришли в такое время?

Врач улыбнулся. Это был хирург больницы. После получения телеграммы он решил во что бы то ни стало добраться. Машиной доехав до Мизура, он прошел перевал, еще более малопроезжимый и страшный, чем наш. Старик мне много рассказывал об этом перевале.

Меня познакомили с хирургом. Закаев рассказал ему о нашем переходе.

— Как? Вы сумели пройти перевал? — удивился коллега.

— Меня более поражает то, что вы прошли перевал более трудный! — ответил я.

— Как же, больному угрожает смертельная опасность, — сказал он.

— Именно смертельная опасность, — подтвердил я.

... Через несколько минут мы уже стояли в операционной. Это была удивительная встреча двух врачей у постели больного. Я ассистировал хозяину, отдавая дань старшинству. Усталость свалила нас только после операции и стакана доброго вина, когда Мусса был уже вне опасности.



Я должен рассказать о другой встрече врачей у постели больного. Она состоялась в Париже в предместье Гарен-Ранси.

Когда Фердинанд Селин окончил медицинский факультет, он поселился именно в этом предместье. Табличка на дверях оповещала о новом враче.

Он был одержим одной мыслью: как-бы заработать побольше денег. Ему надоело есть дешевые овощи. Справедливые слова:

«Возможно ли высоко ценить рассудок,
Коль царствует над ним желудок?»

Селину наплевать на все эти раздутые от чрезмерного употребления картофеля животы, прогнившие легкие, искалеченные хребты. Ему нужны деньги.

Однажды его вызвали в дом, в котором на разных этажах лежали двое больных. Мужчина умирал от рака. У женщины были осложненные роды. Врач был очень

доволен. Он измотался в погоне за гонораром. Нет, он уже не выпустит из рук этих двух больных!

У роженицы он застал акушерку. Акушерка пыталась возражать врачу, ловить его на промахах. Она с нескрываемым нетерпением ждала ошибки, погрешности со стороны врача, чтобы потом весь гонорар за услуги получить самой. Селин понимал эту игру. Он парировал удары. Часто осаживал ее.

Но Селин не хотел выпустить из рук и второго больного. Улучив удобную минуту, он быстро спустился к нему. Но тут, у постели умирающего, он встретил врача Оманона — постоянного домашнего врача больного. Оманон злобно взглянул на запыхавшегося Селина и выругал его последними словами. Как же, Селин намеревался перехватить гонорар за визит!

Селин удалился. Он вернулся к своей роженице, которая истекала кровью. Теперь он останется здесь до конца, до последней минуты. Он не позволит, чтобы этой грязной акушерке достались его сто франков. Нет, он так не оставит роженицу.

По дороге к роженице Селин злобно выругался.

— Он забрал таки мои двадцать франков, свинья!

Это была также встреча двух врачей у постели больного.

Но что в них от настоящей человечности?..

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
Вместо предисловия	3
I. Записки полевого хирурга	12
II. Андрей Волгин	143
III. Подарок	180
IV. Подвиг ученого	197
V. Крус увидел солнце	210
VI. Профессор Крымов	215
VII. Чувство долга	222

Редактор М. И. Снежин.
Техредактор А. Д. Гитштейн.
Корректор С. Н. Маховер.
Обложка худ. А. Е. Миткевича

БФ 03199 Заказ 928 Тираж 12000
Подписано к печати 28/IX 1949 г.
Учетно-издательских 13 листов.
Печатных листов 16.
Цена 6 руб. 50 коп.

4-ая Республиканская полиграф. ф-ка
г. Киев, пл. Калинина, 2